

ISSN 0132-0637

Октябрь

9 2001

2001

Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

2001

СЕНТЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ.

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга третья 3

Игорь ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Сумерки сарматов. Стихи 103

Петр АЛЕШКИН.

Русская трагедия. Повесть 107

Владимир БЕРЕЗИН.

A chi Italia? Рассказ 154

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Виталий РЕМИЗОВ.

«Делай, что должно...» Государственному музею Л. Н. Толстого — 90 лет 166

Воспоминания, документы

А. Л. ТОЛСТАЯ.

Дневник 1903 года. Вступительная статья, публикация
и примечания Н. А. Калининой **169**

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ.

«...равенство всех людей — аксиома» **178**

Борис КОЛЫМАГИН.

За пеленой дождя **184**

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.

Детям до восемнадцати **186**

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора
Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

Инеcса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов,
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила
Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
850 экземпляров журнала.**

**Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24,
приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.07.2001. Подписано к печати 10.09.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 5790 экз. Заказ № 1904. Цена 52 руб.

ООО «ОИД «Медиа-Пресса».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

ВЕРСИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, ФАКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

КНИГА ТРЕТЬЯ

XXI

Есть оседлость жизни (в отличие от кочевой, азиатской), и есть недвижимость, то есть принудительный, навязанный силовым и духовным давлением застой, когда простой люд оказывается оттесненным царствующими династиями и дворцовой элитой от познания и строительства общественного бытия, от мировой тенденции развития, взаимоотношений естественных и рукотворных (в противоборстве между собой) закономерностей. Когда я говорю о застойных, недвижимых условиях бытия, то прежде всего имею в виду восточноевропейское славянство, своих ротозействовавших предков и ротозействующих современников, которые настолько прочно, а по сути на тысячелетие были закрепощены пришедшими к нам (то бишь «призванными», как это трактуют наши достославные академические светила) Рюриковичами, то есть во всех отношениях были лишены самых элементарных, естественных, хочу напомнить, прав человека на проявление самобытности. Оседлый народ — народ вольный, его благополучие зависит от вложенных им инициативы и труда, он свободен в сохранении своих традиционных представлений на устройство жизни, и те тенденции мира, в рамках которых направлялось общее развитие, являлись для него выборочным материалом, из которого он брал все то, что представлялось достойным, полезным, и отвергал то, что противоречило его изначальной природной заданности, и таким образом без насилия, без ломки, без перегибания через колено происходило выравнивание общемировой народной жизни. В рамках естественных закономерностей так оно и протекало и могло бы и должно было протекать дальше, но с помощью выработанных фараонами древнего Египта рукотворных, хищнических (господство и рабство) закономерностей этот установленный природой порядок вещей был не просто нарушен, а задавлен или, вернее, раздавлен силой меча и так называемого духовного (божественного) слова. В рамках рукотворных (фараоновских) закономерностей, когда главенствует в жизни не свобода, а насилие, когда люди озабочены не содержанием труда, не упорядочиванием быта, а поисками способов выживания и когда общение их (безвыездное общение) ограничивается лишь батрацким полем, деревней, в лучшем случае двумя, тремя, барщиной, на которой сосредоточивались и истощались их силы, в человеке не только замирало творческое начало жизни, являвшееся основой основ его естественных потребностей, но от подобного огра-

ничительства притуплялся, скудел ум, вырабатывались и входили в жизнь самоубийственные привычки или правила (церковно или священно положенные), руководствуясь коими, любой народ, как это подтверждается исторической и текущей действительностями, превращается в податливую, безликую и беззащитную массу, жадущую лишь кумиров-поводырей (вождей, царей, императоров), без которых он уже вроде бы и не может представить своего земного существования. Возможно, я несколько ошибаюсь, но, мне кажется, христианство (особенно это касается европейских народов), именно христианство заложило в фундамент общественных отношений вполне четкий и долгосрочный водораздел, если так можно выразиться, между оседлостью жизни как историческим явлением и ее недвижимостью, навязанной людским сообществам, как уже говорилось выше, силовыми и духовными (от царствующих особ и их элитных окружений) притеснениями. К первой категории я отношу все то, что оказалось в зоне влияния католичества, ко второй, принудительно недвижимой,— то, что отошло к православию, то есть не под папско-римское, а под византийское начало. Теперь трудно определить, что непосредственно послужило причиной для подобного раскола единой, казалось бы, Церкви (главным образом, единого христианского фундаменталистского учения), возможно, лишь ритуальная обрядность службы, то есть угодничество Богу (в ущерб общемировому восприятию веры), но, может быть, борьба за верховенство в новейшей по тем временам (с явным потенциальным могуществом) сфере власти над личностями, народами, включая и королевские, и великокняжеские дворы, однако, возможно, и нечто третье, связанное с экономическими интересами (богатейшая Византия в ту пору явно претендовала на беспрекословное первенство, чем вызывала недовольство в Европе и приближала свое небытие),— да, теперь трудно установить подлинную причину церковного раскола, но, поскольку таковой состоялся, стал очевидным и тяжелейшим фактом истории и поскольку он получил значение исторического водораздела между антиподными системами бытия, его нельзя уже обойти стороной как нечто локальное, связанное лишь с религиозной деятельностью предстоятелей борющихся Церквей. В зоне католического влияния и сегодня далеко не все так благополучно, как это современные политики, историки, философы, церковники стараются преподнести нам, народы западного мира испытали не меньше страданий, чем восточноевропейское славянство или, скажем, славянство вообще (вспомним хотя бы цезарские походы, истребление кельтов, притеснения франков, бриттов, галлов, крестовые походы, религиозные войны, костры инквизиции, с помощью которых происходило обезглавливание коренного люда этого континента Земли), но вместе с тем простолудинство, оказавшееся покрытым католичеством, получило в силу определенных условий известные преимущества в устройстве общественных отношений, созидании общественного бытия. Во-первых, почти на четыре столетия прежде, чем произошло это в православном мире, крестьянство было освобождено от крепостничества, каждое хозяйство — или почти каждое — получило надел земли (само собой, в частную собственность), и, таким образом, насильственное затормаживание, то есть насильственная недвижимость жизни, как бы само собой плавно перешло в оседлость, иначе сказать, все вернулось к тем апробированным условиям бытия, которые давали простому человеку хотя и относительную, но все же свободу действий; простой люд мог перемещаться не только по просторам королевства или герцогства, но и достигать Средиземноморья, соприкасаться со многими великими достижениями цивилизации (древнеегипетской, древнегреческой, римской) и перенимать то, что представлялось задавленной к тому времени Европе прогрессивным и могло служить всестороннему развитию жизни. Наверное, нет нужды углубляться здесь в процесс государственного устройства (по типу римской державности, добавим для уточнения, ибо властители при всей своей оглашаемой самостоятельности обычно любят опираться на прецедент), однако обратимся к самому что ни на есть наглядному примеру, который при всей своей кажущейся простоте отражает всю глубину происходившего, как,

впрочем, происходящего и теперь, процесса. Я имею в виду литературу, искусство, живопись, музыку, зодчество, то есть все то, что приобщает человека к общемировым ценностям развития. Цивилизация (в том относительно благородном понимании, к какому я вынужден прибегать здесь) медленно, но верно, шаг за шагом поднималась с юга на север и покрывала европейский простор. А ведь и на Западе были точно такие же курные избы, как и у нас; но именно с появлением признаков оседлости, то есть послабления жизни, когда для католического простолюдинства открылась возможность более широкого общения (на рубеже тысячелетия христианства, может, чуть позже), деревенские поселения, как и малые и большие города старого континента, заметно начали менять облик, и не только архитектурный, и обновление это, однажды начавшись, уже не прекращается и по сей день. Такому повороту событий способствовало еще и то обстоятельство, что предстоятели папского католического престола (в отличие от православного) не перешагнули рубеж европейской церковной самодержавности, а дошли только до его порога и были остановлены, с одной стороны, хозяевами королевских дворов, претендовавших на абсолютную самостоятельность (английский, французский, испанский и т. д.), а с другой — амбициозностью кардиналов, должных вроде бы подчиняться папскому верховенству, но на деле действовавших либо в согласии со своими светскими властями, либо, напротив, в конфронтации (часто негласной, подковерной, полной коварных интриг и предательства) с ними. При подобной ситуации трудно было даже такой мощной структуре, какой являлась да и сегодня является католическая Церковь, достичь поставленной цели, и ситуация эта не только была на руку простолюдинскому большинству, но и служила некой индугльгенцией на свободомыслие, которое в свою очередь оказывало влияние на развитие умственных способностей как личностей, так и народов. У простолюдинов восстанавливалось еще недавно поправное достоинство, они вольно или невольно входили в сферу цивилизованных отношений, сферу цивилизованного бытия, и хотя эти внешние признаки и сегодня продолжают удивлять нас и пробуждать воображение, но давайте не будем обольщаться, ибо любое достигнутое благополучие обычно оборачивается адекватными этому благополучию бедами, не менее болезненными, чем испытания бесправием и нищетой. Наверное, кому-то может показаться, что я идеализирую западный мир и преклоняюсь перед ним, но это далеко и далеко не так, ибо и мы, и народы Запада одинаково живем в условиях многотысячелетнего хищнического бытия, одинаково страдаем от этой навязанной со времен Древнего Царства народам системы общественных отношений, и здесь речь не может идти о какой-либо идеализации; просто-напросто тот отрезок исторического пути (от тысячелетнего рубежа христианства) был по-разному пройден католичеством и православием, иначе говоря, одни народы извлекли из него пользу (пусть хотя бы и временную, промежуточную) и смогли восстановиться в своих естественных правах (правах на свободу действий), тогда как другие, задавленные царской и церковной державностью, оказались застолбленными (замороженными) на том уровне развития, на каком и застал их непримиримый церковный раскол.

XXII

Наглядность есть одна из форм познания как исторической, так и текущей действительности. На Западе от курных изб сохранились только музейные экспонаты как свидетельства прожитых эпох, и если в тогдашней простолюдинской жизни отталкиваться от этих музейных экспонатов, то без каких-либо усилий можно представить всю многовековую цепь происходивших материальных, нравственных и социальных перемен; в Англии, Франции, Германии, Испании сегодня и города, и села, и люди далеко не те, что некогда ютились в курных избах, тогда как «благословенный» православный мир как был, так и остается в

неподвижности; и хотя жилища наши вроде бы уже не курные, но архитектурно, то есть по внешнему виду, а вид этот может говорить о многом, если не обо всем,— архитектурно остаются избенками под соломой, словно из тысячелетнего инкубатора, по окна вросшими в землю (вернее, оконцами, а не окнами), с пухлыми завалинками, со скособоченными воротами и заборами, просевшими курятниками, саманными баньками, дощатыми сортирами на задах и разными иными пристройками, только утяжеляющими общую унылость и нищету. С каждым новым столетием (столетием крепостничества) восточноевропейское славянство не наращивало, не обретало, а только теряло вкус к жизни; задавленный двойной, как я уже говорил, кабалой российский крестьянин вынужден был замыкаться в своем деревенском крепостном мире, он почитал Бога, молился Ему, надеялся на справедливость, ждал, верил, но главным Богом, то есть главным судьей и распорядителем его жизни, оставался самодур-помещик, вернее, тот крайний (в шеренге стоявшей над ним власти) притеснитель, который (ввиду своего чужеродства, то есть помещенный на кормление) видел в крепостных только покорный рабочий скот. Конечно, я понимаю шаблонность такого высказывания, когда вроде бы повторяются лишь прописные истины, но ведь истории народов, равно как и всемирная, и состоят из прописных истин, которые сколько ни перефразируй, остаются либо прожитой, либо текущей реальностью, отражающей если не общий, то по крайней мере обобщенный ход становления личностей, народов, человечества в условиях хищнического бытия; да и что нового можно открыть в крепостничестве (разве что еще одну неоглашенную изуверскую частность?), но — дело не в открытии нового, а в попытке представить (наглядно представить) католицизм как господствовавшую силу в западном мире и православие — в мире славянства, чтобы в сравнительном анализе посмотреть, насколько под влиянием светской и духовной власти меняются нравственные ориентиры народного бытия. Я вполне допускаю, что не везде в России существовали драконовские методы царского, церковного, помещичьего своеволия, были и так называемые свободные анклав, но ведь исключения лишь подтверждают правило, а правилом было глухое, беспробудное, бесправное крепостничество. От него, от этой непосильной кабалы русские люди уходили в Сибирь, в скиты, в отшельничество, их настигали, возводили посады, церкви, волостные и городские управы, а люди бежали дальше, к морю, за море, на Аляску (о чем-то же это должно говорить нам!), и если мы сегодня гордимся огромной территорией: дескать, какими мудрыми были наши предки, то есть все те же Рюриковичи и Романовы, в обретательстве земель сумевшие превзойти всех других правителей мира,— то гордиться тут нечем; Сибирь присоединялась к Московии не кровавыми экспансионистскими походами (хотя не обошлось и без таковых), но обживалась славянским свободолубием, которое, к сожалению, проявлялось не в противоборстве с престольным чужеродством, с чужеродно-помещичьим засилием, а смиренным и одновременно вызывающим бегством с родных земель. Такова правда истории, то есть такова та самая прописная истина, которая вроде бы ни о чем уже не говорит нам и, как любой шаблон, способна вызывать лишь нравственную оскомину, дескать, опять одно по одному. Но ведь и система господства и рабства, насчитывающая за своими плечами более ста восьмидесяти веков, как и все хищническое мироустройство, тоже является заезженным, да, можно сказать и так, шаблоном, однако оттого, что стержневую основу жизни мы отнесли в область прописных истин (вместо того чтобы досконально разобратся в ней), человечество не только не выиграло ничего, что позволило бы ему, распознав пагубность рукотворных закономерностей, выйти (или вернуться) на стезю поправных естественных прав личностей и народов, но, напротив, саморазверзнув перед собой трясины социальных и нравственных бед, погрузилось в нее. В предыдущих томах повествования я не раз обращался к идиллической — «славные Гипербореи» — системе славянского бытоустройства и подкреплял эти обращения выдержками из исторических и философских работ Геродота и Тацита (их-то, думаю, едва ли кто посмеет

обвинить в предвзятости); немало было сказано о трансформировании (под напором хищничества) этого славянского быта, так что мне остается здесь только добавить, что ни готы (Русь Первая, царь Германорих), ни гунны, покрывшие пеплом славянские земли, ни авары (свирепый хан Боян), три столетия разъезжавшие в междуречье Днепра и Волги на колясках, в которые вместо лошадей впрягали славянских женщин, ни хазарское, половецкое, печенежское, татарское нашествие не надломили так русский характер (в смысле осознания достоинства), как это сделали Рюриковичи, пришедшие к нам «со всей Русью», то есть со всей своей пиратской дружиной, чтобы обосноваться среди добродушных и беззащитных (после пятивековых азиатских разорений) славянских племен. То, что семь столетий творили варяжские «князья» (пираты они и есть пираты) на славянской земле, и затем триста лет Романовы, не поддается никакому разумному толкованию, и если кто-то захочет уличить меня в декларативности, то заранее хочу ответить этим ретивым оппонентам, что меня в данном случае интересует концептуальность исторического процесса, а не персонификация тех отдельных и пусть даже ярких событий, которая в лучшем случае приводит к пониманию частных, вырванных из общего потока жизни, в то время как стержневая (рукотворная, хищническая) основа остается за пределами исследовательского внимания. Могут также сказать: нет примеров, нет ссылок на исторические свидетельства — значит, нет и веры в сказанное. Но разве тысячелетнее беспробудное крепостничество — не пример, не доказательство рюриковического и романовского произвола? Разве не Рюриковичи со дня появления, когда на новгородской площади не запеклась еще кровь казненных славянских старшин, да, разве не они торопливо положили в основу будущей российской действительности двойной стандарт жизни: для себя — варяжский и для смердов (коренного люда) — окольцованный силовым и духовным бесправием; и разве не они лишили простой люд каких-либо имущественных прав, отняли землю, луга, леса, реки, и не они, не Рюриковичи, наглухо перекрыли доступ славянам к любым управленческим структурам власти? Жизнь при Рюриковичах, как и при Романовых, принявших из рук в руки (словно тронное наследие) крепостничество, была таковой, что люди не выдерживали обрушивавшегося на них великокняжеского и церковного давления и, доходившие до отчаяния, поднимались против установленных и продолжавших устанавливаться порядков. Уже при княжении равноапостольской Ольги в Киеве возникли антихристианские (антижидовские, как характеризует их историк С. М. Соловьев в своем тридцатитомном труде «История России с древнейших времен») бунты, которые подавлялись с истинно варяжской бесчеловечностью; вспомним древлян, пытавшихся защититься от безмерно рэкетирствовавшего князя Игоря (он был убит при повторном взимании дани), месть все той же княгини Ольги непокорным древлянам, когда более тысячи обманно собранных у могилы Игоря живых древлянских мужиков (собранных будто бы для примирения) были по взмаху великокняжеской (равноапостольской) ручки обезглавлены и брошены на съедение волкам и воронам. Облагороженная местью, как заметили еще летописцы и продолжают вторить им современные мужи науки, княгиня Ольга разорила и пожгла древлянские города, поселения и, отправив богатый собранный полон на невольничьи рынки Востока, двинулась дальше (с теми же будто бы упреждающими целями) наводить порядок у кривичей, родимичей и т. д., а по сути показать, сколь крепка на расправу рука у представителей великокняжеского престола. Более ста лет начального правления варяжских узурпаторов власти славянские анклав (или племена, как их называют академические светила знаний, искусственно разбивая единоплеменный народ на некие самоуправляемые родовые или почти родовые сообщества) подвергались Олего-Святославо-Игоревым рэкетирским набегам, до тех пор, пока не было окончательно сломлено их сопротивление, но после этого первого кровавого столетия явились второе, третье, четвертое и так далее, отмеченные уже не только силовым, вернее, не столько силовым, сколько церковным давлением, включавшим в себя призывы к смире-

нию и покорству судьбе; период этот, период отчаянного противоборства языческого верования с христианским учением (религии жизнеутверждающей с религией аскетизма, самоистязания плоти и безволия перед властью и Богом) менее всего освещен в нашей истории, словно его вовсе не было, а промелькнул только некий миг общественной уравновешенности, не оставивший никаких следов ни благополучия, ни страданий. В западном мире не любят вспоминать о мрачном Средневековье, за которым последовала (подразумевается — сама собой, стихийно) эпоха Ренессанса, эпоха расцвета почти во всех областях жизни, и прежде всего в сфере дворцовой, но не народной, как это пытаются доказать, культуры; в православном мире, мире славянства, особенно восточноевропейского, таким мрачным Средневековьем (с отставанием почти на пять столетий) как раз и был период так называемого затишья, когда завершалась начатая Рюриковичами в первом столетии своего правления ломка всех и всяких национальных славянских традиций, то есть, короче говоря, подводилась черта под разрушенной уже оседлостью жизни и устанавливалась та насильственная не подвижность народного бытия, которая и стала господствующей социально-нравственной формулой существования. Мы не знаем подробностей, каким образом протекал тот страшный процесс перекройки добронравного и свободолюбивого характера славян (смердов), но по выходу из этого темного Средневековья (у нас тоже был свой мини-Ренессанс, помеченный семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым веками) народ предстал неузнаваемо надломленным, растерянным перед жизнью и неспособным ни к какой или почти ни к какой самозащите.

XXIII

Чтобы хоть чем-то оправдать или обелить разорение славянских общин (разорение зачатков славянской государственности), историки, то есть комментаторы исторических событий, изобрели термин «собрание русских земель». Однако реальная действительность показывает, что их не надо было собирать, ибо они всегда представляли собой единое пространство, жители которого общались на одном языке, развивались по единому самобытному сценарию, то есть составляли единый, расселенный на огромной Восточно-Европейской равнине народ со своим целостным характером и своими целостными представлениями о человеческом бытии, о бытии вообще, так что если бы не азиатские, а затем европейские нашествия, то есть если бы нашим предкам удалось создать свою, славянскую (вместо навязанной византийской) государственность, мы были бы сегодня совсем другим народом, чем этим, каким предстаем, не осознающим ни своей инертности, ни своего странного безразличия к престольному чужеродству, которое за века так и не удосужились не только сбросить с себя (народ — сила, народу все по плечу), но даже как следует поразмыслить об этом. Простолоудины, как известно, бывают обычно крепки задним умом; они готовы десятилетиями рассуждать о жизни, будто и в самом деле не проявлением воли, а предположениями о возможном, но не осуществленном движется и выравнивается жизнь; какую оплошность допустили наши предки-славяне в тот далеко отстоящий теперь от нас переломный период, мы можем только догадываться, поскольку перволетописцы, видевшие, воспринимавшие и судившие о состоянии бытия из своих лампадно-заиконенных келий, зафиксировали лишь кровавые противоборства за великокняжеский стол, словно жизнь действительно-таки состояла только из этих противоборств и не было вокруг народа, страдавшего и от дворцовых разборок, и от великокняжеских и церковных притеснений, то есть не было русского Средневековья, перемоловшего в своих затишных, о коих уже шла речь выше, столетиях стержневую основу самобытного славянского бытия, — да, летописцы-монахи не оставили нам ничего, что могло бы приоткрыть завесу над поведением наших предков-простолоудинов. То сопротивле-

ние, какие славянские анклавные (древляне, кривичи, родимичи и т. д.) оказывали варяжским насилильникам, по сути дела, нельзя назвать сопротивлением; движение было стихийным, разрозненным, подавлялось с жестокостью, и жестокость эта отбивала охоту к бунтам. Страх перед мечом, страх перед Господом, внушаемый церковниками, сковывал даже малейшую инициативу (отсюда и характеристика этого периода — затишье), а если и были исключения, то к ним прежде всего следовало бы отнести семисотлетнее противостояние Новгорода варяжскому экспансионизму. Новгородцы боролись сначала с Киевом, потом с Москвой, отстаивая свою независимость, и если бы в то время их поддержали другие славянские анклавные, результат был бы иным, чем оказался в действительности. Некоторые историки склонны утверждать (и утверждение это положено в основу нашей историографии), что новгородцы отнюдь не добивались вольности, а только хотели иметь нужного им, своего князя и что в этом нет никаких противоречий относительно общепринятой к тому времени на Руси системы власти; они прогоняли князя-ставленника и приглашали своего, и если явление это рассматривать по внешним признакам, то можно было бы и согласиться с подобной шаблонизацией, но, на мой взгляд, за желанием новгородцев иметь своего князя отчетливо просматривается, прежде всего, неприятие престольного чужеродства. Именно это ставит новгородцев в нашей истории на пьедестал независимости, поднимает на ту высшую ступень понимания чужеродства как престольной власти, ведущей к разорению, то есть на ту высоту, с которой уже не по-церковно-трафаретному, а реалистично начинают просматриваться и прошлое, и настоящее, и будущее славянского бытия. И хотя понимание это не оформилось в общеславянскую идею освобождения от чужеродства на престоле, но оно, несомненно, было главным двигателем во всех столетиях в деле великого противостояния. Ведь новгородцы с первого дня появления Рюриковичей были в состоянии войны с ними (известный бунт после казни славянских старшин), и если перспектива свободы связывалась у них с идеей «своего князя», то есть идеей национально-ориентированного правителя, то это-то как раз и было неприемлемо для варяжских узурпаторов власти, вызывало у них раздражение и гнев, обычно завершавшиеся карательными походами. Почти все киевские великие князья, а затем и московские ходили с мечом на Новгород. За семь столетий рюриковического правления Новгород пережил столько кровавых карательных походов, что их хватило бы на уничтожение десятка карфагенов, но непокорные горожане всякий раз вновь поднимались на борьбу, пока предпоследний из сей варяжской династии московский царь Иоанн Грозный не учинил в мятежном граде так называемую варфоломеевскую неделю (не ночь, как на Западе, а неделю) и затем населил опустевший славянский первоград царепокорными москвитянами. Вообще Иоанн Грозный является вершиной той пирамиды власти, которая на протяжении семи веков создавалась Рюриковичами, иначе говоря, тем сосредоточенным проявлением славянского неприятия, носителями которого были все или почти все великие и невеликие князья-чужеродцы, престольно рассевишиеся на нашей земле; он ненавидел славянство как некую мешавшую ему самодержавно править силу, и, чтобы хоть как-то прикрыть эту свою общую ненависть, избрал объектом нападок Новгород и новгородцев (с одной стороны, действуя в традициях предшественников, а с другой — высвобождая свой державный гнев). С точки зрения дворцового видения событий, то есть с точки зрения нашей официальной историографии, новгородцы и впрямь выглядят некими, говоря языком современности, сепаратистами, противниками «собирательства русских земель», но позволительно будет высказать здесь и другую точку зрения, возможно, более реалистическую, согласно которой могло бы открыться совсем иное видение истории. Если Иоанн Грозный является вершиной пирамиды власти (кстати, и ее завершением), которая выстраивалась варяжским троночужеродством, то Новгород вправе претендовать на идентичную вершину в семивековом противостоянии этому чужеродству; рюриковическая пирамида власти рухнула, едва достигнув пика своего значения, рухнула от своей необузданной державно-

сти, то есть под напором обстоятельств, порожденных самой этой державностью, тогда как новгородское противостояние престольному чужеродству хотя и было вроде бы подсечено под корень, однако, как показывает действительность, не кануло в небытие, а продолжало и продолжает жить не только в сердцах и душах новгородцев, но и в сердцах и душах всего славянского люда, что немало сегодня тревожит взошедших на российский престол новочужеродцев. В народе поднимается патриотизм, который вполне можно было бы назвать новгородским, назревает то неприятие престольного чужеродства, которое еще не воплотилось, как и прежде, в действенную всеславянскую идею, а только находится на пути (в общегосударственном масштабе) к воплощению, но так называемые демократические преемники Рюриковичей и Романовых уже набатно трезвонят во все церковные и нецерковные колокола, пугая народ некоей грядущей трагедией (от патриотизма, надо полагать, от желания народа иметь «своего князя»), чтобы на волне страха вновь загнать простолюдинское большинство в новопозолоченное ярмо рабства. Историческая наука не дает ясного ответа, была ли, к примеру, какая-либо связь между великокняжеской (затем и царской) политикой подавления новгородского патриотизма (думаю, понятие не противоречит истине, ибо чем же тогда является борьба с чужеродством, тем более престольным?) и политикой почти вотчинного (по крайней мере на грани этого) разделения захваченной славянской земли на некие если не удельные, то близкие по значимости к этому понятию княжества, которые; с одной стороны, находились вроде бы в подчинении великокняжеского престола, а с другой — представляли собой трамплин, с которого можно было, удачно вооружившись, занять этот самый великокняжеский престол. Историки полагают, что такая система государственности, когда все и вся, в том числе и главный престол, балансируют на грани самостоятельности и самостийности, имеет свой смысл; над каждым удельным и неудельным правителем нависала угроза отстранения от власти своими же сородичами (ольговичи против святославичей, ярославичи против ростиславичей и всеволодовичей и т. д.); исходя из этого, каждый князь имел свое воинство (дружину), что позволяло ему одновременно противостоять и великому князю, и соседним вотчинникам, и эта княжеская разобщенность если и была некоей дворцовой необходимостью, но она же, во-первых, раздробляла славянство по княжеской принадлежности и, во-вторых, являлась главной причиной не только поражения новгородцев в их противостоянии престольному чужеродству (в таких условиях новгородский патриотизм просто-напросто не мог оформиться в общенациональную идею), но и поражения Руси в столкновении с татаро-монгольскими ордами. Наверное, все мы должны были вынести урок из этой трагической истории, но не вынесли и сегодня опять видим страну на грани удельно-княжеского балансирования. Ежедневно со всех возможных кафедр и амвонов нововластители вроде бы призывают нас к единой державности, к сплоченности, но делают все, чтобы сплоченности (чреватой взрывом патриотизма) не состоялось, так что, хотим или не хотим этого, история повторяется, и мы вот-вот вновь окажемся на том же круге вращения, на котором еще не истлели косточки жестоко обманутых властителями прежних поколений славян.

XXIV

Романовы, приняв из рук в руки от Рюриковичей безжизненно почившую в крепостничестве Россию (в некотором развитии пребывала только дворцовая жизнь, тогда как всё основное население — смерды — находилось в насильственном застое, в известной нам недвижимости), не только не сделали ничего, чтобы облегчить кабальное бремя, наложенное варяжскими узурпаторами власти на славянское крестьянство (да ведь и цари, начиная с Алексея, все поголовно были выходцами из немцев-варягов), но, напротив, расширив крепостничество до государственной значимости, то есть прибавив к барской повинности по-

винность государственную, начали отрывать людей от каторги пахотной (барщины) и отправлять (часто в цепях, под конвоем) на каторгу к заводчикам и строителям (типа светлейшего князя Меншикова, ставившего на невских болотах Петров град Парадиз). Как нечто величественное, уже возвышался в центре России (символом ее могущества) выстроенный Иваном III Московский Кремль с его дворцами, соборами, княжескими и патриаршими подворьями, уже всюду по городам и весям золотоотливно маячили церковные купола, поднимались вековеченные тяжелой кирпичной кладкой мужские и женские монастыри (казематы для самоистязания плоти и государевых заточений), белыми греческими колоннами прорезывались сквозь лесные чащи барские усадьбы, и вокруг всей этой властно довлеющей красоты (мы и сегодня, как на поклон, ходим к этим памятникам старины и восстанавливаем их, словно некие неповторимые шедевры зодчества, забывая, кем и для чего выстраивались эти шедевры и какую зловещую роль сыграли в нашей славянской судьбе), — да, вокруг этой довлеющей красоты, будто сироты, порожденные безотцовщиной, ютятся инкубаторно однотипные, со времен Рюриковичей, приземистые российские деревеньки. На фоне живописной природы, которая особенно выразительна в средней полосе равнинной державы, на фоне хлебных полей по раскатистым взгорьям, обрамленным березовыми и дубовыми рощицами, проселочных дорог, вьющихся меж этих хлебов и рощиц, деревни кажутся оплотом жизни, приютом «трудов, спокойствия и вдохновенья»; они, как добротные мужики, вошедшие в пору крестьянской зрелости, и в самом деле представляются настолько несокрушимыми в своей принудительной оседлости, что успели разве лишь почернеть от стуж и ветров, и мы, издали глядя на них, не думаем о крепостничестве, убогости и нищете; в нас поднимается то странное чувство, как сказал поэт, которое одновременно и роднит нас с глубиной прожитых веков (тут уж не до вопросов, какими были наши предки, главное, были и донесли до нас и язык общения, и нравы, и все другие — миролюбие, добронравие, гостеприимство — дорогие нам традиции идиллического славянского бытия), и пробуждает гордость, и мы, очарованные этой испытанной жизнестойкостью наших, да, именно наших предков (в отличие будто бы от других народов), поддаемся некоей свойственной людям вообще ностальгии, уводящей нас от восприятия реальностей бытия. Века пронесли над российскими деревеньками, не затронув крестьянского (крепостнического) уклада их жизни; их заливали дожди, засыпали снега, потом они опять обрамлялись зеленью полей и лесов, и точно так же (к великому сожалению) ни социальные, ни нравственные бури, из эпохи в эпоху терзавшие нас, не разрушили в нас этой вдохновляющей (при виде хлебных полей и деревень) ностальгии. Да ведь и во мне невытравимо живет эта ностальгия, за пределами которой остается то главное (суть жизни крестьянина, жизни любого простого человека), что всегда лежало и лежит в основе всех пережитых и переживаемых нами бед. Они неохватны, эти наши беды, их невозможно ни перечислить, ни хронологически упорядочить для более глубокого понимания их корневой основы, ибо, рознясь между собой во временном отношении и по степени насилия, то есть бесчеловечности и жестокости к простому люду, они при ближайшем рассмотрении исходят из одного источника — власти; меняются властители, меняются и приемы насилия и ограбления простолюдинского большинства, так по крайней мере свидетельствуют и наша историческая, и текущая действительность, в которой смена правителей (одних чужеродцев на других) не только не приносит хоть какого-либо облегчения коренному российскому люду, но, напротив, лишь усиливает давление (по физическому, почти патологическому неприятию славянства), поскольку нищим, обездоленным народом править куда как легче, чем народом, живущим в достатке и способным реально смотреть на окружающий мир и воспринимать его. Может, я ошибаюсь, но исторические факты говорят нам, что как Рюриковичи, так и Романовы, заполонившие своим чужеродством российский престол (а позднее и коммвожди, и демократические перестройщики), боясь своего народа, его сплоченности и естест-

венного, да, именно естественного патриотизма, ничего лучшего не придумали, как, с одной стороны, ужесточить рэкетирство по отношению к своим подданным, а с другой — искать поддержку у закордонных царствующих особ; во времена татаро-монгольского ига да и почти столетие после освобождения от него великие московские князья считали за честь ездить в Орду за ярлыком на правление, а заодно и приводили азиатское воинство для подавления взбунтовавшихся смердов; во времена правления Романовых призывали немцев, большей частью немцев, для решения внутренних российских дел (элитные клубы, англо-франко-германские миссионеры, создававшие атмосферу западопоклонства, — явление, обостренно повторяющееся ныне при демократах). Боясь своего народа и не всегда полагаясь на закордонное вмешательство, чужеродные наши власти искали все новые и новые пути для ослабления народной воли, и одним из способов такого ослабления явились рекрутские наборы то в солдаты, то к заводчикам на рудники, в литейные цеха, откуда они уже никогда не возвращались. Объяснялись такие меры просто — государевыми нуждами (это уже позднее обелители и героизаторы истории стали называть их государственной необходимостью), и во исполнение этих «государевых нужд» из деревень начали выгребать самую работоспособную, можно сказать элитную, крестьянскую молодежь, чтобы усеять ее костями и свои, и закордонные поля сражений (при экспансионных походах на чужие земли и подавлении свобод соседних народов); чтобы полнее осознать это труднообъяснимое явление, думаю, нет нужды перечислять так называемые героические эпизоды нашей истории — взятие Азова, Очакова, Измаила, завоевание Прибалтики, итальянский поход Суворова и его знаменитый переход через Альпы; героизм героизмом, я не отрицаю его, русские воины одержали достаточно славных побед, но русский народ при этом не получил ничего, кроме усиления крепостничества; если бы все эти ратные успехи проявились в схватках за достойную жизнь народа (сил для такого поворота событий, как видим, было вполне достаточно) — это одно, и совсем другое — класть жизни за царя и процветание дворцово-помещичьей (столь же чужеродной славянству, как и сам царь) элиты. В обобщенном представлении картина крестьянских страданий (я сосредоточиваюсь на этом понятии потому, что до середины двадцатого столетия Россия оставалась на девять десятых крестьянской) вольно или невольно связывается с неким прореживающим деревенские общины и ослабляющим их дворцовым механизмом, который, эпохально прокатываясь (и при Рюриковичах, и во времена Романовых, и в новейшие времена, то есть при большевиках и демократических перестройщиках) по российскому крестьянскому многолюдству, оставлял лишь изреженные после себя и обессиленные людские сообщества, боявшиеся даже помыслить об изменении устоев своего подневольного бытия. Дворцовая жестокость особенно проявлялась в годы царствований Петра Первого и Екатерины Второй. Обелители или героизаторы тех событий, а иначе и не назовешь их, взахлеб, то есть всем своим могучим академическим хором, тут же взялись утверждать, что петровская и екатерининская эпохи явились величайшим достижением русского народа; тут и победы над турками и шведами, и строительство Санкт-Петербурга, и завоевание Прибалтики, и освоение корабельного и литейного дела, и начало великого просветительства через наштигованную немецкими знатоками Академию наук, через онемеченные театры, да всю онемеченную атмосферу жизни княжеско-дворянско-помещичьих особ, коим, чтобы не попасть под самосуд толпы в год нашествия Наполеона, пришлось срочно нанимать учителей русского языка. С расстояния прожитых столетий такая характеристика тех событий может и впрямь показаться достоверной, тогда как рассмотрение их с позиций народного бытия может привести совсем к другим оценкам. Петр Великий мотивировал свои действия достижением общего блага, но он не только не достиг этого провозглашенного «общего блага», а, напротив, привел лишь к еще большему унижению российский славянский люд. Санкт-Петербург, покоящийся на костях русских людей, уже с самого начала возводился для определенных царских (княжеско-

дворянски-помещичьих) нужд, в то время как глубинная Русь, замороженная в своем беспросветном крепостничестве, даже не могла представить себе той концентрации роскоши и барства (и чужеродства), какой уже через четверть столетия достигнет сей петровский (будто бы на славу России) Парадиз.

XXV

Такой разнобой в восприятии петровской эпохи неслучаен, поскольку основан на двух совершенно противоположных взглядах на исторический процесс развития, двух правдах — народной и дворцовой, одна из которых, дворцовая, ее точнее было бы назвать тронной, основана на клишировании библейской (сколько ни парадоксально выглядит это) героизации событий, то есть деяний царей, императоров во имя будущего, подчеркиваю, будущего общего блага народов; но ведь этот библейский трафарет ничего общего не имеет с действительностью, ибо ни один из этих льстивых посулов за тысячелетия так и не воплотился в жизнь; клишированная характеристика событий, большей частью кровавых (в конце концов нет более кровавой книги, чем Библия), обычно предполагает, как свидетельствуют века, и клишированные ответы, и если деяния Петра Первого рассматривать в рамках этого общемирового явления (а иначе просто невозможно), то великого российского императора в его усилиях по достижению общего блага, естественно, ожидала та же участь, что и всех его великих и невеликих (в тысячелетиях) предшественников. Именно при Петре Первом государственное казнокрадство достигло такого размаха, какого Россия не видывала ни при Рюриковичах, ни при Борисе Годунове (разве что коммунисты и перестройщики смогли перешагнуть этот рубеж); именно при Петре Первом бесчисленно возникали бунты, особенно на юге России, люди пускались в бега и, собираясь в разбойные шайки, промышляли на жизнь этим древнейшим (с библейских времен) опасным и доходным ремеслом. Втаптывать в грязь настоящее во имя будущего — занятие, не достойное истории; петровская эпоха явилась, по сути дела, молохом для народа; историки и философы в один голос твердят, что блага требуют жертв и что утраты, понесенные обществом в петровских войнах и реформаторстве, как раз и были залогом будущего государственного и общественного (впрочем, этой формулы придерживаются и нынешние демократы) благоденствия. Возможно, если после подобных усилий народ и страна действительно получили бы ожидаемое «общее благо», страдания простолюдинского большинства можно было бы считать оправданными; но этого не произошло (да и не могло произойти, если придерживаться библейских трафаретных выкладок), народ остался на том же уровне нищеты и несправия, на каком пребывал со дня появления на славянской земле Рюриковичей, и в том же состоянии недвижимости, в каком держали его сначала варяжские узурпаторы власти, а затем и так называемые «избранные» немцы-императоры и императрицы, полагавшие, что коренной люд пригоден лишь для войн и работ, то есть представляет ту живую массу, из которой можно черпать и черпать все, что требовалось для дворцового благополучия. Петр Первый да и обрусевшее (из чужеродцев) боярство точно так же ненавидели русский народ, как ненавидел его Иоанн Грозный, наглядно проявивший себя в расправе над новгородцами; это он, Грозный, начиная речь перед духовенством и боярством в Александровской слободе, сказал с нескрываемым откровением, что «русский народ виноват перед нами, Великими Князьями» и что «мы достаточно уже натерпелись от него», и слова эти затем воплотились в его карательном новгородском походе. Петр Первый не произносил подобных слов, но, вздыбливая Россию, с достоинством продолжал кровавое дело своего предшественника. Ему не нужны были граждане державы, которыми управлял и о благополучии которых (по классической формуле государственности) должен был заботиться, а требовались лишь солдаты для войн и работники, клавшие животы на рудниках и у литейных печей, чтобы войска не

нуждались ни в ружьях, ни в ядрах, ни в пушках. Страна была, можно сказать, до макушки обложена налогами (налог на урожай, на живность, на окна, на трубы, на бороды и т. д., до абсурда); но, кроме всех этих притеснений, Россия наводнялась иноземцами, в то время как коренной славянский люд оттеснялся от всех жизненно важных, жизнеобеспечивающих рычагов управления. В истории известно, что притоком чужеродцев в Россию особенно славилась эпоха Бориса Годунова. Этот просвещенный, как его называли на Западе, русский монарх (видимо, за определенные заслуги перед европейцами) от каких-то неведомых нам щедрот награждал дворянством не только прибывавших в Россию обанкротившихся европейских вельмож, но и их слуг, наделяя их деревнями и землями, то есть помещая на кормление, как говорили тогда (отсюда и пошли помещики, кичащиеся своим высокородным чужеродством); для чего он делал это, в истории остается невыясненным; в конце концов не из одной же любви к чужеземству (иначе сказать, по родству), скорее по политическим мотивам, ибо чужеродцы менее всего могли претендовать на что-либо на славянской, на какую у них не было никаких прав, земле, но они разбавляли коренной люд своим чужеродством и выступали той сдерживающей народ силой, на какую царский двор всегда мог положиться в критические моменты своего правления. Биографы Петра Первого полагают, что любовь будущего царя к иностранцам (прежде всего к немцам) началась у него с общения с жителями немецкой слободы; возможно, общение это и наложило некий отпечаток на его царские деяния, но неприятие славянства как нации, выросшее будто бы из любви к чужеродству, никак не может (по размаху царской мстительности) служить объяснением его поступков и дел. Он, как и все его предшественники и последователи, да и всякое престольное чужеродство, силовым и ползучим способом проникающее во власть, действовал в традициях, заложенных еще Рюриковичами, которым любой иноземец представлялся гением в сравнении со славянином-смердом (все это отчетливо просматривается и в боярстве, и особенно в церковной иерархии); Петр с личностью назначал немцев, голландцев и прочих западноевропейцев на государственные и армейские посты, и они, эти гении-иностранцы, хотя и были поднатворевшими в своем «цивилизованном» образе жизни, но в их российских делах откровенно проглядывали холопское низкопоклонство перед государем и безразличие к народу. Славянский люд более чем во все предыдущие столетия не допускался к рычагам управления государством, своей жизнью, а вынужден был пребывать на седьмых и десятых ролях, носить европейскую одежду, сбривать бороды, то есть отступать от своей самобытности и превращаться в немцев, голландцев и прочих наезжих закордонных гостей-миссионеров. Историки считают, что именно в этом и состоит заслуга Петра Великого, что он будто бы пробуждал Россию от затянувшегося летаргического сна; реально же он просто-напросто добывал те крохи славянской самобытности, те отзвуки идиллического бытия, которые еще сохранялись в народе после семисотлетнего правления Рюриковичей и были залогом единства, силы и основательности. Он делал то, что вполне можно назвать шаблонизацией, или ошаблониванием, наций, то есть продолжал воплощать в жизнь идею всех фараоновских и постфараоновских властителей, положивших в основу своих правлений, своих царствований смешение народов в безнациональную и безродную массу (поистине в Иванов, не помнящих родства), неспособную ни на какую самостоятельность. Основанием для подобного осуждения петровских деяний может служить его расправа над взбунтовавшимися стрельцами. Академические умы, рассматривая сие кровавое событие, всеми силами старались (как стараются и сегодня) оправдать царя, в роли палача отсекающего головы славянским защитникам Отечества, и в меру возможностей (чтобы уж совсем не выглядеть русофобами, кем они являлись на самом деле) опорочить стрельцов, превратив их в поборников дремучей старины, стеной стоявшей на пути России к благам западноевропейской цивилизации. В дополнение к этой версии, а теперь уже и в центр ее ставится, по сути дела, самая банальная борьба за власть Петра с Софьей (а позднее с сыном Алексеем),

будто бы стрельцы в заговоре с Софьей собирались свергнуть Петра с престола; при этом историографы лишь вскользь упоминают, что недовольство стрельцов вызвано насаждением иноземных полковников в стрелецкие полки (смещались, естественно, славянские). Этот незначительный вроде бы эпизод при внимательном рассмотрении перерастает в стержневую основу бунта. Недовольство стрельцов иноземщиной, принявшейся по указу Петра «наводить порядок» в стрелецком войске, было глубоким и оправданным; кроме того, они видели, как правящий двор наводнялся чужеземными «светилами», жаждавшими наживы и славы (но это были только цветочки, а ягодки явились позднее — с приходом вождей революции и перестройщиков-демократов), видели страдания народа от такой дворцовой политики, страдали от нее сами, ущемлявшиеся в правах и достоинствах, я не исключаю, осознавали, какую угрозу таило в себе западничество (западная хваленая хищническая цивилизация), и, памятуя о семисотлетнем противостоянии новгородцев Рюриковичам, то есть престольному чужеродству, решились на отчаянный шаг — бунт против царя. Да, главным, что подвигло стрельцов на столь смелый и рискованный поступок, было именно патриотическое чувство, какого правители более всего обычно боятся в народе, но отнюдь не заговорщические цели Софьи, рвавшейся на престол. В конце концов все дело для Петра заключалось не в Софье, которую он без каких-либо осложнений заточил в монастырь, завершив таким образом престольное противоборство, а именно в патриотическом подъеме, способном перекинуться на народ, постоянно находившийся (по крайней мере на юге) в преддверии всеобщего возмущения. Казнь стрельцов можно сравнить разве что с рюриковической казнью славянских старшин в год «призвания» на новгородской земле; со стороны варяжского узурпатора власти это был, во-первых, акт обезглавливания завоеванного народа и, во-вторых, акт устрашения, чтобы с первого дня смерды знали, какая власть явилась к ним; эти две цели легко просматриваются и в петровской казни стрельцов, что как раз и дает основание утверждать, что Петр Первый на престоле был прямым последователем семисотлетней политики Рюриковичей.

XXVI

Есть прилюдные наказания, и есть устрашающие народ, народы действия, какими правители пользовались и продолжают пользоваться для укрепления своей власти; Александр Македонский, к примеру, после первой же одержанной победы над персами велел поставить тысячу крестов на песчаном побережье Красного моря и распять на них ни в чем не повинных (по крайней мере перед ним) пленных воинов; в Европе действия эти обозначились кострами инквизиции, на которых прилюдно, на площадях, сжигались так называемые ведьмы и еретики, то есть мыслившие иначе, чем власти, и не желавшие поступиться своей свободой люди, воспринимавшиеся ватиканской церковью (в согласии, естественно, с королевскими дворами, породненными между собой престольным чужеродством) потенциальными возмутителями спокойствия, чреватого народными бунтами. Российским примером устрашения, если брать ранний период, была рюриковическая казнь славянских старшин, затем мстительные походы княгини Ольги на древлян и Владимирского князя Андрея Боголюбского на Киев, а в позднейшие времена — Ленин со своим развязанным чекистским террором, сталинские Соловки и ГУЛАГи, и между этими бесчеловечными свершениями, как в исторической обойме устрашения простолудинских масс, лежит кровавая расправа царя Петра над стрельцами. Бунтовщиков, как тогда называли этих русских воинов, скованных по рукам и ногам цепями, привезли на подводах в Москву в сопровождении их семей, как и было предусмотрено ритуалом, в центре Красной площади уже возвышался приготовленный для казни эшафот, возле которого стоял молодой царь с засученными рукавами и поднятым топором, и, как только возвели на эшафот первого стрельца, он одним махом, как заправ-

ский палач, отрубил ненавистную славянскую голову; голова отлетела на брусчатку, брызнувшая из шеи кровь залила камзол, руки, и Петр, не ожидавший, видимо, от себя такой лихости, не без удивления и удовлетворенности обернулся на топтавшихся за его спиной иноземных господ, получивших от молодого царя чины, звания и готовившихся теперь услужить ему в новом и неожидаемом для них качестве. Но Петр не сразу передал топор этим иноземным господам-слугам, а, войдя в раж и опьяненно повеселев, продолжал еще некоторое время отсекать головы стрельцов, пока не почувствовал, что весь в крови, что (может быть, от крови же) отяжелел топор; передав его первому своему подручному Меншикову и велел принести для себя свежий камзол, затем смешался с жаждавшими приобщиться к страшному кровавому делу «птенцов гнезда Петрова», как позднее историки и философы поименуют титулованных при дворе господ-прислужников (кстати, сопровождавших Петра во всех его бесшабашных попойках), и, восхищаясь ловкостью одних и возмущаясь робостью других, выходивших (в роли палачей) к эшафоту, был исполнен величия от вида совершавшегося им дела. Казнь длилась до ночи на виду у толпы москвичей, окруживших эшафот; о чем они думали, какие душевные силы терзали их, история не оставила свидетельств; известно лишь, что никто из народа не осмелился остановить царя или выкрикнуть хоть что-либо в защиту казнимых, людская масса только вздрагивала, когда очередная голова падала на брусчатку, и опять наступало молчание. Лишь возле подвод бились в истерике матери, жены, ревом ревели дети, цепляясь за кормильцев, которых стражники буквально вырывали из их рук; тут же ходили священники с крестами, причащавшие обреченных и призывавшие их к покаянию, но голоса этих святош, как и голоса стрельцов, прощавшихся с семьями, не были слышны за общей суетой и кандалным звоном цепей. Утром следующего дня, оправившись от двойного похмелья (пролитой крови и выпитого вина на пиру в Кремлевском дворце), Петр велел развесить по Москве на крюках мертвые головы стрельцов и затем, приказав не снимать их до его возвращения, укатил в Европу набираться ума у сентиментальных немцев и прагматичных голландцев. На что рассчитывал юный царь, отправляясь в сей (воспетый позднее историками и философами) закордонный вояж, оставив Москву с развешенными на крюках стрелецкими головами, трудно сказать; в истории запечатляются лишь поступки, совершаемые личностями и народами, но не душевное, нравственное состояние этих личностей и народов (оно обычно воспроизводится позднее, иногда спустя столетия, и соотносится скорее с логикой, чем с действительностью), так что никто не может теперь сказать, какими соображениями руководствовался Петр, пересекая в царской карете (в сопровождении эскорта солдат и слуг) столь любимую им неметчину; всякий здравомыслящий человек на его месте не мог бы рассчитывать даже на сколько-нибудь радушный прием после содеянного, двери королевских приемных (если разговоры о европейской цивилизации были бы не только разговорами) должны были захлопнуться перед ним, но они не захлопнулись, а, напротив, распахнулись, и обстоятельство это наводит на определенные размышления. Видимо, Петр хорошо знал (осведомленный своими слугами-чужеродцами) об антиславянских настроениях в Европе и был убежден, что европейцы, всего лишь столетие назад готовившие (в согласии и под покровительством Ватикана) крестовый поход против России (выше о нем уже говорилось в подробностях), не только одобряют его варварско-азиатскую расправу над стрельцами, но и воздадут должное как общеевропейскому герою (что затем, спустя три столетия, повторится с генсеком Горбачевым). Царь был весел, остроумен, как человек, совершивший нужное и доброе дело, и прием, оказанный ему европейцами, только сильнее утвердил его во всех тех чувствах славяноненавистничества, какие он впитал, общаясь еще с жителями московской немецкой слободы. Он хотел быть европейцем, возможно, и Россию мечтал видеть европейской державой, искренне полагая, да, именно искренне полагая (опять же по внушениям жителей немецкой слободы и вельмож-холуйствовавшей при дворе иноземщины), будто

славянство издревле было породнено с Азией и что этот древнейший европейский народ, занимавший некогда пространство от Днепра до Рейна, от Балтийского моря до Средиземного, и в самом деле не имел ничего общего с Европой и европейцами (по католико-православному расколу), и он, Петр, волею судьбы вставший во главе этой азиатской или, в смягченном варианте, полуазиатской державы, Богом призван приобщить русский народ к западной цивилизации. Само по себе желание это, возможно, в чем-то и было оправданным, ибо российскому люду, погруженному Рюриковичами в семисотлетнее беспросветное крепостничество, пора было встряхнуться и сбросить с себя вековое ярмо застоя, но царь, разгоряченно взявшийся за сие благое дело, не понимал, не хотел или не мог понять, что то, что роднило его с Европой (славяноненавистничество, в русле которого он вольно или невольно оказался), было оскорбительным для народа, и без того уже потерявшего свою самостоятельность, и не могло быть принято им. Откровенно говоря, мы не знаем, чего действительно добивался Петр, строя для барства свой Парадиз, названный позднее «окном в Европу», захватывая (для своего же императорского престижа) Азов и Прибалтику (историки позднее назовут это «выходом к морю») и одновременно доводя подданный народ до крайней нищеты и бесправия, — да и еще раз да, мы не знаем, судя по этой противоречивости, что было главным для российского монарха-реформатора, объявившего целью своих реформ достижение «общего блага», которое, воплощаясь в жизнь, превращалось в благо для кучки вельможных (придворных) иноземцев и рюриковических (от иноземства же), находившихся еще в силе высокородных отпрысков. Конечно, было бы глупо отрицать роль Петра в истории России; на его счету немало достойных начинаний, которые, впрочем, можно было бы осуществлять не вопреки воле народа, а в согласии с ней (что могло бы действительно поставить российского монарха в ряд великих реформаторов); но этого не произошло да и не могло произойти, потому что только внешне казалось, что цели народа и трона в достижении общего блага объединены самой сутью аристотелевской формулы, тогда как между этими социальными антиподами лежала (как лежит и теперь) разделяющая их пропасть; народ не мог понять царя уже потому, что, кроме непосильных притеснений, ничего не получал от его иноземно скопированных нововведений (ведь нельзя гнуть народ через колесо, вводя новшества, ибо такое действие всегда чревато противодействием), тогда как Петр искренне возмущался тем, что народ отвергал предлагаемый им европейский уклад жизни; цивилизация, еще раз повторяю, требует жертв, и себялюбивый и сомнительный российский монарх готов был, не оглядываясь, пожертвовать половиной своих подданных ради ожидавшегося им мифического благополучия тех, кто сумеет выжить в обилии проводившихся реформ. Я понимаю, что высказываю лишь предположение, поскольку тронная истина обычно бывает либо безвозвратно утрачена (что как раз мы и имеем в случае с Петром), либо хранится за семью печатями, так что ни с какой стороны не подобраться к ней; однако следует заметить, что любое предположение, если оно направлено на познание истины, выстраивается не на песке, а на фактах истории; Рюриковичи, вводя христианство в самобытный (языческий) славянский быт, то есть ломая через колено устоявшийся в народе уклад жизни, тоже полагали, что добиваются общего блага, но в результате получили сильнейшее сопротивление вплоть до кровавых побоищ, а народу дали лишь беспросветное крепостничество; исторический прецедент должен был бы чему-то научить наших правителей, берущихся экспериментировать над народом, но у тронов своя выучка; вожди пролетарской революции, объявившие своей целью (как и царь Петр, и десятки, сотни правителей до него) достижение райской жизни, тоже взялись было через колено ломать устоявшуюся в России народную (именно народную, а не дворцовую) жизнь, но усилия их вылились в жесточайший тоталитаризм, многократно превзошедший режим самодержавия, а теперь, с воцарением на престоле демократов-перестройщиков, история опять встает на тот же круг вращения, держа в руках заготовленное уже новокабальное ярмо для народа.

XXVII

Россия, как ни парадоксально прозвучит это, начиная с правления княгини Ольги и Великого князя Владимира (Владимира-Солнышко, Владимира-крестителя), то есть с основания нашей государственности, постоянно находилась в состоянии реформирования, которое обуславливалось, с одной стороны, борьбой за верховную власть (каждый новый правитель считал своим естественным долгом вносить изменения в существовавший до него порядок), а с другой — заботами о тронном могуществе, памятуя, что такая забота была ключом к долголетию их дворцового барства, и сколько бы историки и философы ни возвеличивали подобное дворцовое реформаторство, когда суть господства и рабства, то есть суть хищнического мироустройства, оставалась незыблемой, — такое реформаторство сравнимо разве что с мыльными пузырями, которые, не успев покрасоваться, произвести впечатление, лопаются и превращаются в изначальную пенную массу. Такова природа реформ, если следовать реальному восприятию действительности, но если верить констататорам исторических событий, то есть их своеобразной трактовке (как явление это подавалось и продолжает подаваться нам), то картина настолько меняется в самой своей сути, что в памяти остается лишь понятие обновления жизни, то есть начало процесса, когда люди, возбужденные новыми и новейшими посулами правителей, ждут чуда и готовы на любые жертвы, чтобы не упустить этого чуда, и то, что итогом подобного реформирования обычно бывает не чудо, а новая волна репрессий и притеснений, связывается уже не с идеей реформ, а с личностями (или окружением царствующих личностей), взявшимися будто бы не за свое дело. Личности (царствующие личности) осуждаются, на смену им приходят другие с обновленными уже, то есть более лестными, посулами, и жизнь народа, как, впрочем, и дворцовая жизнь входит в свою привычную колею хищнического (господство и рабство) мироустройства. Для славянства первым таким реформаторским уроком, как уже говорилось выше, было крещение Руси, из которого все мы за тысячелетие рабства так и не вынесли ничего; вторым по значимости следует считать вводимый (с еще большими посулами и большим насилием) петровские новшества (затем будут третьи, четвертые, то есть от коммунистов и демократов), и если мы хотим до конца понять и оценить деяния «великого монарха-реформатора», то рассматривать их следует не в отдельности, как принято в официальной историографии, а в единстве всего этого (словно бы перманентно заложенного в исторический процесс развития) явления. Конец царствования Петра так же логичен, как и логична вся его реформаторская деятельность, протекавшая вроде бы под идеей достижения общего блага, но направленная лишь на укрепление могущества власти, и тут вряд ли можно согласиться, что со смертью самодержца почтили в бозе и все его великие и невеликие начинания. Ведь дело не в том, что Петр расколол российское общество (я имею в виду не народ, остававшийся в недвижности, а дворцовую и околдворцовую элитную прослойку, вечно мыкавшуюся в поисках такой идеи, которая могла бы, с одной стороны, удовлетворить троны в их притязаниях на бесконтрольное и беспредельное господство, а с другой — тягу народа к справедливой и основательной жизни), — да, дело не в том, что Петр расколол российское общество на поборников западной цивилизации и защитников русской старины, то есть национальной самобытности, а в том, что соединил понятие «западничество» с грядущим благодеянием для России (каково это благодеяние, теперь мы уже хорошо знаем), а понятие славянофильства — с замшелой стариной, за которую (разумеется, по своему невежеству) держится русский люд. Однако петровская характеристика народа — это далеко еще не истина, ибо чаяния русского люда заключались отнюдь не в сохранении так называемой замшелой старины (что, впрочем, с легкой руки Петра Первого ему приписывают не одно уже столетие), а в сохранении основательности жизни, точнее естественных прав человека на достойное существование, и пора уже прекратить это измыывание, это передергивание (относительно

простолюдинских масс) исторических фактов; народ, как и во времена Рюриковичей, оставался в своей замкнутой неподвижности и понятия не имел, что его крепостнической нищетой и невежеством пользуются политики в достижении своих карьерных целей; выступая его защитниками, но ничего не предпринимая для облегчения его жизненных условий, они, то есть деятели, рвавшиеся к власти, успешно поднимались на ступень славы и величия, даже воцарялись на тронах (коммвожди, вожди от демократии) и, самокороновавшись, обычно с еще большим усердием укрепляли дворцовую жизнь, словно никогда никаких обещаний не давали народу. В деятельности правителей, короновавшихся на российский престол после Петра, так ли, иначе ли, но легко просматривается преемственность петровских реформ, с той лишь разницей, что никто уже не задавался целью достичь общего блага; правителей вдохновляло лишь одно — дальнейшее укрепление тронной власти, и в достижении этой заветной цели они оглядывались на реформы своего «великого» предшественника, и, думаю, не случайно в царствование Екатерины Второй, этой откровенной немецкой ставленницы, воссевшей на российский престол, разразилась кровавая пугачевщина. Восстанием было охвачено более трети России, и хотя оно проходило вроде бы под предлогом возвращения на царский трон убиенного Екатериной Петра Третьего (народ хотел видеть в Емельяне Пугачеве доброго и справедливого правителя), но вместе с тем оно имело определенную социальную направленность и в какой-то мере (возможно, в стержневой основе) являло собой продолжение стрелецкого (патриотического) бунта. Восстание, как и следовало ожидать, было жестоко подавлено, на площадях городов прошли казни сподвижников Пугачева, а сам самозванец был прилюдно четвертован на площади перед Кремлем (в данном случае мстительность Екатерины можно сравнить лишь с мстительностью княгини Ольги), и это устрашающее действо, когда у всех в памяти была еще жива картина петровской расправы над стрельцами, надолго отбило у простолюдинских масс охоту к масштабным выступлениям против власти. Историки отмечают, что точно так же, как и при Рюриковичах, между начальным и конечным периодами их правления, так и при Романовых, между царствованием Екатерины Второй и октябрьским переворотом семнадцатого года, в России воцарилось то относительное затишье, когда народ, смирившись вроде бы со своим несправедливым положением и приняв его как некую богоданность или богоизбранность, был вполне удовлетворен жизнью; власти властвовали, помещики барствовали, Церковь глаголила о смирении и терпимости, крестьяне трудились, содержа на довольствии (на кормлении) всю эту алчную до богатства и славы надстройку, шли в солдаты, чтобы отдать жизнь за «царя и отечество», и все это, базировавшееся будто бы на породнении барства и нищеты, представлялось (как, впрочем, многим представляется и теперь) идеалом российского быта. По крайней мере большинство ученых мужей дают именно такую характеристику тому (шестнадцатый — девятнадцатый века) периоду нашей национальной истории (отсюда и определения: великий — к Петру и Екатерине и освободитель — к Александру Первому и т. д.), хотя никакого затишья, тем более идиллического, не было, власть продолжала угнетать народ, держа его в крепостничестве, то есть в нищете и несправии, а простолюдинские массы, словно бы взяв, образно говоря, тайм-аут в тысячелетнем противостоянии трону, искали новую возможность в отстаивании своих исконных (естественных) прав на самобытное (вольное, независимое) существование. Царско-холопская заданность академических (от иноземщины) знаний проявлялась еще и в том, что они отнесли и продолжают относить так называемый церковный раскол (никонианство) к числу религиозных явлений, к некому русскому религиозному фанатизму, каким было охвачено такое количество православных верующих, что трагедию их нельзя считать только трагедией «заблудших личностей», как это принято в официальной историографии, ибо она без преувеличений, как увидим дальше, обрела характер национальной катастрофы. Чуть забегая вперед, скажу, что никонианство хотя и сводилось вроде бы к упорядочению церковной обрядности и

некоторым новшествами в проведении служб (чтению проповедей, к примеру), но все эти нововведения базировались не на традиционной православной основе, а на заимствовании западных (главным образом немецких) образцов, что и послужило тем видимым поводом к расколу, каким не преминули воспользоваться как церковные священнослужители (низового порядка), так и прихожане, еще со времен захвата Рюриковичами славянских земель испытывавшие неприязнь к проявлениям иноземства. Борьба за чистоту православной Церкви, которую возглавил писатель и историк того времени протопоп Аввакум, была, по сути дела, борьбой против тронного засилия (престольного чужеродства), против крепостничества, то есть всей той бесправной жизни, в какую русский люд был поставлен еще варяжскими узурпаторами власти и в какой удерживался Романовыми (из рода двоих прибывших в Россию на заработки братьев-немцев, поименовавшихся Юрием и Захарием), и если по-серьезному оценивать раскольниковое движение в России, то аналогом ему может служить лишь семисотлетнее противостояние новгородцев престольному чужеродству да еще бунт стрельцов против петровского засилия иноземцев.

XXVIII

Эпоху Петра в равной степени можно было бы назвать эпохой Меншикова (или Меншиковых — по размаху казнокрадства и славяноненавистничества); эпоху Алексея Михайловича, предвестника петровского реформаторства, с тем же основанием правомерно было бы окрестить именем царского воспитателя и сподвижника боярина Морозова, столь же, как и Меншиков, отличившегося в казнокрадстве и негативном влиянии на самого самодержца; разница между двумя этими властвовавшими парами только в том, что царь Алексей Михайлович, вззошедший на престол в шестнадцатилетнем (как позднее и его сын) возрасте, был вместе с Морозовым лишь начинателем западноклонных реформ в России, тогда как Петр довел их до высшей точки, не считаясь ни с социальными, ни с нравственными страданиями народа, во имя которого вроде бы добивался достижения общего блага. Для историков и философов сопряженность Петра с Меншиковым являет собой тот выгодный (или скорее оправдательный) пример единения народа и власти (дескать, не только личности благородных кровей, но и простые смертные способны достигать правительственных высот), который хотя и косвенно, но все же должен говорить нам, что алчными до богатства и славы бывают не столько даже цари, сколько простолюдины, выбивающиеся из грязи в князи; связка Алексея Михайловича с боярином Морозовым по всем статьям представляется тем же историкам и философам ординарной (барин с баринем всегда найдут общий язык) и потому остается словно бы приглушенной в хронике исторических событий трехсотлетнего романовского правления. Мы знаем только, что Морозов был крупнейшим для своего времени феодалом-промышленником, владел восемью тысячами крестьянских дворов и имел промышленные села и земли в тринадцати уездах; положение это позволило ему жениться на сестре царицы княгине Милославской, то есть породниться с царем, а породнение в свою очередь открыло путь к месту первого советника при дворе. К этому следует добавить, что он был человеком даровитым, дерзким, коварным, несколько лет фактически управлял государством и на этом посту заслужил прозвище хищника за свое ненасытное казнокрадство; действительно ли такой советник мог верой и правдой служить царю, как пишут о нем историки, склонные к обелению (по библейскому образцу) и героизации дворцовой жизни, или выжимал, как мы бы сказали теперь, из своей службы достаток и славу для себя, истина скрыта от нас, как тысячелетиями скрывается всё, что происходит во дворцах и храмах, а если какой-то отблеск правды и просачивается сквозь века, то для деяний боярина Морозова он заключен в оценке современников, считавших пребывание его при дворе Алексея Михайловича тяжелейшим наказанием

для России. Карьера его завершилась так же трагически, как и карьера «светлейшего князя» Меншикова; усердствуя в насаждении западопоклонства, то есть в услужении царю в этом, по сути, преступном для России деле, он провел несколько так называемых финансовых (по немецкому образцу) реформ по увеличению прямых и косвенных налогов, против которых прежде всего поднялись москвичи (известное московское восстание 1648 года), и так как тронные особы для усмирения народа обычно ищут козлов отпущения, то на этот раз жребий (в связи с давно уже назревавшим всеобщим недовольством) пал на боярина Морозова. Он был отстранен от двора, лишен всех чинов, званий, нажитых богатств и заточен в монастырь, но я не собираюсь здесь писать житие этого «серого кардинала» при дворе (мне кажется, нет и не было правителя, возле которого не терся бы подобный «серый кардинал»), ибо личность эта не заслуживает такого внимания, хотя в связке с царем и выглядит фигурой знаковой и зловещей. Это он представил царю молодого монастырского подвижника из Мордовии Никиту Минова (будущего патриарха Никона) из каких-то, может быть, своих карьерных соображений; крестьянский сын (возможно, такой же, как и Ломоносов), облаченный в монастырские одежды, произвел на царя благоприятное впечатление (прежде всего религиозными познаниями и благочестием), оставлен в Москве и назначен архимандритом в Новоспасский монастырь, считавшийся родовой усыпальницей Романовых. Возможно, не без содействия боярина Морозова архимандрит сблизился с царем, вошел к нему в доверие и через два года был возведен в сан новгородского митрополита, а спустя еще четыре года избран (с подачи царя и боярина Морозова) патриархом. По гоудуновской традиции жаловать титулами и званиями иностранцев царь Алексей Михайлович награждал дворянством всех, кто прибывал из «просвещенной» Европы в Москву на заработки; особенно же (видимо, по родовым пристрастиям) привечал немцев, и с его легкой руки, как можно предположить, окончательно оформилась в столице та самая немецкая слобода, в которой молодой Петр обретал навыки и любовь к чужеродству. В мировой историографии существует два взгляда на развитие общественных отношений и становление общественного бытия; одни ученые склонны считать, что мир движется усилиями личностей (чем влиятельнее личность, тем весомее ее вклад в историю), тогда как другие, зараженные своей амбициозностью, приписывают всё деятельности народных масс. Если брать первое положение, а оно в нашей историографии является доминирующим, то следует признать (это, собственно, и делают академические светила), что в эпоху царствования Алексея Михайловича, как и во все другие эпохи, социальная и нравственная жизнь россиян целиком и полностью зависела от своеволия (разумения, как трактуют историки и философы) коронованных особ и их высокородных (из дворцового окружения) холопов, и таким образом западопоклонство, то есть любовь к немцам и к неметчине, царя Алексея может объясняться лишь его «разумением», иначе говоря, передовыми (то есть непонятными народу) взглядами на исторический процесс развития и оправдываться ими. Но так ли было все на самом деле и нет ли в этом научном трафарете некой скрытой (хотя и вполне определенной) заданности? Ведь церковный раскол, о котором идет здесь речь, трагические последствия которого до сих пор не преодолены, не был инициирован только тремя правившими личностями: царем Алексеем Михайловичем, боярином Морозовым и патриархом Никоном; в той или иной мере он назревал давно, вернее, был подготовлен событиями всех предыдущих столетий, противостоением народа и власти, и нужна была только спичка, чтобы разгорелся общероссийский пожар неповиновения и неприятия. Историки и философы считают, что со стороны царя, боярина и патриарха была лишь допущена ошибка, поскольку они, игнорируя настроения масс, принялись за внедрение западопоклонных реформ, тогда как народ не был готов к принятию таких новшеств, а за ошибку — какой спрос, это же не злодеяние; их, то есть вышеназванную тройку реформаторов, надо не осуждать, а иконостасить за их историческую (якобы историческую) прозорливость. Но я придерживаюсь иного мнения

и полагаю, что развитие человечества, включая все народы, все национальные формы бытия, зависит от действующих мировых тенденций, вытекающих непосредственно из противоборства властителей и народов, и коль скоро, как показывает история, властители со времен Древнего Царства одерживали верх с помощью выработанных ими условий хищнического (господство и рабство) мироустройства, то и объяснение разбираемых здесь деяний российских реформаторов следует искать не столько в личностях, хотя от них тоже зависит немало, сколько в навязанной нам византийщине, в тысячелетнем престольном чужеродстве, из которого выросло, как вырастает и теперь, столь любимое нашими правителями западоклонство. Каждый, кто и сегодня попадает в Кремль, то есть приобщается к власти, неизменно становится заложником ее вековых традиций; в основе же российских тронных устоев, как об этом уже говорилось выше (и отсчет которых следует вести со дня появления Рюриковичей на славянской земле), лежало и лежит породненное (клановое) чужеродство, так что молодого патриарха Никона (несмотря на его якобы крестьянское происхождение) не могла обойти та же участь «приобщения» к политической и светской жизни высокопоставленных дворцовых персон. Вольно или невольно он вошел в круг тех царских забот, коими (как это и бывает обычно) был озабочен монарший двор, и, чтобы не отстать в холопстве, да, именно в холопстве, если называть вещи своими именами, от суетившихся вокруг трона высокородных вельмож (возможно, не без совета боярина Морозова), вынужден был внести и свой вклад в обуявшее всех царское реформирование. Вклад его, если судить объективно, не был столь великим, каким его выставляют историки и философы; Никон лишь внес исправления (по немецкому образцу) в богослужебные книги, унифицировал (опять же по немецкому образцу) церковную обрядность и ввел проповеди; но оказалось, что и этого было достаточно, чтобы народ поднялся против церковных нововведений. Однажды уже пережившие духовную ломку — крещение Руси, — предки наши, исповедовавшие язычество, то есть жизнерадостную, жизнеутверждающую религию, вдруг словно почувствовали новое посягательство на свои жизненные устои и поднялись против никоновских реформ. Высшее духовенство, как и следовало ожидать, встало на сторону патриарха и царя, в то время как священники в приходских церквях, находившиеся ближе к народу и знавшие его беды, сплотившись вокруг протопопа Аввакума, решительно встали на защиту старины. Протест их выросал в угрожающую силу, было видно, что назревал не столько даже церковный, сколько социальный конфликт, и на этом основании историки называют возмутителя-протопопа главным виновником потрясшего Россию церковного раскола.

XXIX

Отношение к Никону и поныне остается двояким. Как приверженец западоклонства он выставляется образцом для наших заскоружлых, бронеобложившихся канонами церковных иерархов, так называемых хранителей «чистой веры», но в то же время, едва речь заходит о старовеерах, разбросанных ныне по всем континентам Земли, патриарху-реформатору не могут простить драматизировавшего Россию церковного раскола; что касается протопопа Аввакума, с которого никто в официальной историографии не снимал и не снимает вину за раскол, то в глазах общественности он давно уже обрел ореол борца (мученика), защитника славянской самобытности в ее социальном и духовном проявлениях. Но, на мой взгляд, двойственность в толковании и восприятии этих двух противостоявших друг другу исторических деятелей основана лишь на внешних, видимых фактах развития, тогда как при глубоком постижении сути происходившего становится очевидным, что и патриарх Никон, и протопоп Аввакум были убежденными (каждый в своем), целостными личностями, бескомпромиссно отстаивавшими свои взгляды и полагавшими, что никто, кроме истории, не может рассудить их (по какому пути идти России, предаться ли западоклонству или

отстаивать свой, близкий к идиллическому уклад жизни); различие старозаветника Аввакума с патриархом Никоном заключалось лишь в том, что протополстарозаветник доказывал свою правоту из сырых монастырских ям, куда заточался властями, предпочитал страдания и смерть компромиссу и примирению, тогда как Никон, отстаивая интересы царя (интересы многовекового престольного чужеродства), обращался к народу с высотой своего патриаршего сана, то есть с высоты церковного барства, куда его, крестьянского сына (якобы крестьянского) вознесла судьба. Думаю, вряд ли кто может сегодня с определенностью сказать, насколько искренне он служил Богу (скорее всего точно так же, как и боярин Морозов — царю), но что касается самообеспечения и самовозвеличивания, тут не может быть двух мнений; за три года патриаршества он сумел так обогатиться (о чем свидетельствуют исторические факты), что состояние его начало уже превышать состояние царя, и в его бесконтрольном ведении, то есть в крепостничестве (опять же всего лишь за три года патриаршества), насчитывалось уже более ста двадцати тысяч крестьянских дворов. Известно, что ни богатство, ни власть не знают границ; богатство порождает страсть к наживе, власть — к расширению и укреплению достигнутого; еще ни один правитель, становившийся во главе светской или духовной власти, не избежал этого соблазна, как не удалось избежать его и патриарху Никону; он был хорошо осведомлен о притязаниях христианской верхушки (особенно в католичестве, но и не только) на полное главенство духовной власти над светской (церковная — от Бога, светская — с церковного благословения), и хотя ни одному из ватиканских предстоятелей за всю историю не удалось достичь этой цели (лишь византийские православные иерархи одновременно сочетали в себе и духовную, и светскую власть, что было воплощено и в гербе этой державы — двуглавом орле), однако сие обстоятельство не только не смущало Никона, но, напротив, подогревало в нем страсть к восхождению на всероссийский божественный престол. Сначала он лишь вынашивал сей коварный план против своего благодетеля — царя Алексея Михайловича, затем сформулировал и огласил (ко всеобщему недоумению и удивлению) свои соображения о приоритете церковной власти над светской (Господь вечен, цари смертны) и, не получив поддержки, вернее, не дождавшись ее ни со стороны отцов-иерархов, ни со стороны царя и его приспешников (что было и естественно, и закономерно), решился демонстративно принять на себя титул «великого государя». Алексей Михайлович не сразу отреагировал на эту дерзость патриарха; он перестал посещать его службы, избегал с ним каких-либо встреч и бесед, некогда скреплявших их дружеские, почти родственные отношения, словом, давал понять, что крайне недоволен выходкой патриарха и ждет от него покаяния, но Никон не собирался отступать от назначенной цели; он полагал, что завоеванного им авторитета (богатства и крестьянских душ) достаточно, чтобы удержаться на предстоятельском посту, и, основываясь на этом своем соображении, принародно, словно бы в укор царю, заявил, что вынужден оставить патриарший престол и отправиться в Воронежский (Ново-Иерусалимский, основанный им же) монастырь. После роскошных патриарших палат, после всего того золотоотливного блеска, каким он был окружен в соборах и домашних покоях (ведь церковные предстоятели всех рангов только призывают прихожан, «рабов Божьих», чтить нищету, тогда как свою святопомазанную жизнь окружают неисчислимым, да, именно неисчислимым богатством), — после золотоотливного блеска кремлевских палат, где все дышало божественным великолепием, словно сам Господь, потеснившись, уступил небесные апартаменты своему земному наместнику, аскетическая монастырская келья произвела на патриарха угнетающее впечатление; по отзывам современников, доходившим до Кремля, он предался молитвенным бдениям, надеясь, видимо, что будет услышан не только Богом, но и царем и самодержец, смягчившись (и признав его церковную правоту), с почестями вернет его в Москву и вновь возведет на патриарший престол, однако Алексей Михайлович, окруженный боярством и сановитым церковным духовенством, жаждавшим

предстоятельской власти и «топившим» Никона, не мог простить патриарху его коварства. Из Москвы, из Кремля он зорко следил за опальным патриархом, и когда Никон, разуверившись в милосердии царя, поняв, что от самодержца ему ждать нечего, решил самовольно вернуться на патриарший престол, Алексей Михайлович не только запретил ему въезд в столицу, но и ужесточил его пребывание в монастыре. Однако и Никон, несмотря на все свое мученическое состояние, на утрату, какую понес, дерзнув возвыситься над светской властью (мы не знаем, поколебалась или не поколебалась в этот период его вера в Бога), не снял с себя титул «великого государя» и не снизошел до покаяния. Среди дворцовой элиты и церковных иерархов началось брожение, всем было очевидно, что надо что-то предпринимать, чтобы «убрать» будораживший общественность религиозный нарыв, и на церковном соборе 1666—1667 годов с Никона был снят патриарший сан, и решением этого же собора он был сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. Судьба некогда крестьянского (якобы крестьянского) сына была решена, но церковный раскол на этом не завершился; он только начал набирать силу, предвещая России великое потрясение. Однако Никон уже не участвовал в нем. Новая ссылка оказалась для него еще более невыносимой, чем первая, и, хотя он не был посажен в яму, как дважды это проделывалось с Аввакумом, а был лишь приравнен к рядовому монашеству, не прошло и года, как он стал засыпать царя просьбами, чтобы его перевели в родной ему, как он считал, Воронежский (Ново-Иерусалимский) монастырь. В посланиях по-прежнему не было раскаяния, бывший патриарх умолял царя лишь в том, чтобы ему, отдавшему лучшие годы служению Церкви, позволено было провести остаток дней в спокойствии и молитвах, то есть в той обстановке монастырского благочестия, какое могла дать только родная (основанная им же) обитель, и где хотел бы, соединившись с Богом, завершить свой земной путь. Но атмосфера тюрьмы, даже монастырской, есть атмосфера тюрьмы, только еще более отягощенная бесконечными (с утра до вечера и полуночными) молитвенными бдениями и истощением плоти (хлеб, вода, сочиво по праздникам), и хотя считается, что аскетизм примиряет человека с обстоятельствами жизни (в обывательском толковании: со смертью), позволяет очиститься от земных скверн, утешение сие не могло умиротворить опального патриарха; он чувствовал, что нравственные силы оставляют его, и в преддверии конца все настойчивее и настойчивее обращался к царю со своей последней просьбой; когда же, наконец, от самодержца пришло разрешение о переводе в Воронежский (Ново-Иерусалимский) монастырь, бывший владыка Русской Православной Церкви, угодный, а затем негодный царю реформатор был уже настолько болен, что не мог двигаться; его старческую, почти скелет да кожа, плоть на руках вынесли из кельи, уложили в сани, и на середине пути от Белозерского Ферапонтова монастыря к Воронежскому он тихо скончался, не успев исповедаться, как положено по-христиански, и никто не слышал его последних слов ни в назидание церковным служителям, ни в назидание потомкам. Можно было бы сказать, что он унес с собой тайну церковного, а на мой взгляд, общеславянского раскола, но это было бы неверно, было бы выдумкой, построенной на логической сцепке событий; на самом деле он не унес никакой тайны, ибо ее не было, а все заключалось лишь в желании и стремлении к власти, какой любому правителю всегда не хватало и не хватает теперь; достижение этой цели сопровождалось, с одной стороны, угодничеством (в данном случае царю и его политике западопоклонства), а с другой — обуявшими Никона амбициями божественного всевластия. Я убежден, что ни царь Алексей Михайлович, ни боярин Морозов, ни тем более патриарх Никон не думали, к чему приведет их раскольническая деятельность; царь полагал (и на то были у него основания), что может подавить любое волнение в народе силой, для чего стоит только убрать с арены действий главного смутьяна, протопопа Аввакума (что, впрочем, и было сделано в пик расцвета никоновских реформ); боярин Морозов видел именно в царе, которым он, как ему казалось, целиком и полностью управлял, защиту своих и общебоярских интересов, а патриарх Никон, ослеп-

ленный свято-пастырским величием, даже отдаленно не мог предположить, чтобы его церковная паства посмела не принять боговнушенного ему пастырского слова. Но ход жизни, ход истории получил совсем иное и более реалистическое направление; царские (морозовские) и никоновские реформы разбудили народную память, когда языческая вера заменялась христианской, и хотя крещение оказалось тем главным ярмом рабства, какое под посулы райской жизни было возложено на восточное славянство (на смердов), деяние это воспринималось уже как древность, пронизанная «чистотой веры», а нововведения — как сила, призванная разрушить и эту еще остававшуюся у народа самобытность. Но смешение понятий в народном восприятии нельзя принимать за абсолютную истину, ибо парадоксы в истории — явление и древнее, и естественное; наступление на церковную обрядность было истолковано простым крестьянским людом как наступление на жизнь (да так оно, в общем-то, и было), и в то время как бездыханное тело опального патриарха ввозили ногами вперед в распахнутые ворота его родной обители, чтобы тихо предать земле, раскольническое движение (уже независимо от усопшего Никона) набирало свои драматические обороты.

XXX

В научной терминологии часто встречаются такие тавтологические высказывания, как, например, «история творит историю», «жизнь творит жизнь», имеющие вроде бы, с одной стороны, никакого отношения к познанию истины бытия, а с другой — вроде бы заключающие в себе глубочайший, недоступный человеческому разуму смысл естественности происходящего; можно не придавать значения подобной терминологии, но в то же время и нельзя не придавать, поскольку именно в ней заложено обелительное начало рукотворных (пришедших на смену естественным) закономерностей. Русский православный церковный раскол часто приравнивают как раз к вышеназванным историческим трафаретам, дескать, никто в нем не виноват, ибо «жизнь творит жизнь», и все этим сказано; но в таком случае мы лишаем себя сути явления и превращаемся в ротозеев, наблюдающих за волнением океана, лишь отдаленно сознавая, насколько страшна эта темная пучина, разбивающая корабли и поглощающая сущу. Православный церковный раскол — это часть (и продолжение) мировой истории, замешанной на противоборстве правителей и народов, и если, сняв религиозный налет, посмотреть на него в обнаженном виде, то без каких-либо усилий можно заметить, что явление это представляет собой лишь звено в общей цепи всех тех поработительских тенденций, какие, взяв старт со времен Древнего Царства и нарастая с нарастанием эпох, продолжают и по сей день, но уже в глобальном масштабе, претворяться властителями в жизнь. Протопоп Аввакум, которого историки и философы чаще всего относят к категории людей хотя и одаренных от природы, но дремучих в своей приверженности к старине (в данном случае к славянской), не умеющих и не желающих будто бы заглянуть в будущее, короче говоря, к представителям тех, кто и сегодня противостоит прогрессу и цивилизации, — Аввакум только по внешним признакам мог казаться подобным реакционером, тогда как по оставленным им трудам можно судить, что он был для своего времени не только начитанным, но и глубоко образованным человеком, и если не смог достаточно четко сформулировать опасность, какая исходила от насаждавшегося хищничества (для него это выражалось в западопоклонстве, в онемечивании православной церковной обрядности), то, как видим, задолго еще до двадцатого века предостерегал русский народ о грозившей (с «просвещенного» Запада) национальной катастрофе. Вообще деятельность любого исторического лица обычно бывает связана не только с общим (с древнейших времен) направлением развития, но и со всеми главными (в данном случае общеευропейскими) тенденциями мироустройства. Аввакума и его движение в защиту старины мы привыкли рассматривать лишь как явление, вытекающее из узконациональных (скорее даже церковных) интересов, и такой подход ни у кого и сегодня вроде бы не вызывает сомнений, но мы ошибаемся, вы-

нося русский православный раскол за рамки общемировых тенденций развития, ибо есть связующая цепь жизни, которая звеньями своими уходит в далекую древность, и всё, что сиюминутно вершат правители и народы в ту или иную эпоху, неизменно несет на себе печать веков. Мы не можем судить, насколько мятежный протопоп знал и понимал историю; вряд ли он имел точное представление о фараоновской державности, некогда вышедшей из Египта на захват обетованных земель (под этой державностью гибли государства, закабалялись народы), но, как и многие деятели того времени, понимал, что в жизнь народов внедряется развращающее начало и единственной мерой защиты от этого «дьявольского наущения» может быть только ревностное сохранение старины. Есть еще обстоятельство, на которое следовало бы обратить внимание при оценке деятельности протопопа Аввакума. Европа, перенасыщенная герцогами, графами, баронами, то есть всей той высокородной элитой при королевских дворах, которая, стремясь обрести «место под солнцем», готовила (с благословения Ватикана) самый мощный за всю историю крестовый поход против восточного славянства, и в какой бы тайне ни держался этот зловещий замысел фараоновских потомков-новодержавников, но все пространство от Балтийского до Средиземного моря было наполнено слухами о «великой миссии», и слухи эти, доходившие до православных монастырей и церковников, не могли не волновать мятежного протопопа. Кстати сказать, поход не состоялся в связи с открытием Америки, куда и кинулись европейцы захватывать обетованные земли (что в свое время, собственно, и спасло Россию от полного разорения), но в эпохальном своем значении события только разворачивались, а это уже не могло ничего изменить в толковании и восприятии старозаветчиками царского и никоновского западопоклонства. Возможно, я несколько преувеличиваю значение протопопа Аввакума в истории как личности, убежденной в правоте своих деяний, однако упорство, с каким он переносил страдания, отстаивая свои взгляды, готовность пожертвовать жизнью за общеславянские интересы, не могли базироваться только на религиозной основе (религиозном фанатизме, как подают это академические светила знаний); лишь глубокое понимание всех жизненных обстоятельств, назревавших в пору царствования Алексея Михайловича, боярина Морозова и патриарха Никона, предельная озабоченность за будущее русского народа как самобытной национальной общности давали ему столь великие силы переносить налагавшиеся на него тяготы. Как деятель своего, да и не только своего времени, он был не реакционно-национальным, а прогрессивно-патриотическим лидером, ибо только в русской самобытности видел спасение (в торжествующем хищническом мире) простого крестьянского люда. Он выступил с протестом в самый разгар никоновских реформ, когда дворцовый синклит во главе с царем Алексеем Михайловичем буквально аплодировал смелости патриарха, и, естественно, сразу же навлек на себя гнев царской и иерархической церковной верхушки, обычно подыгрывающей предстоятелю. Нерасторопность церковных иерархов и самопоуенность их почти божественным величием, с какой они собирались объявить протопопа-смутьяна еретиком, осмелившимся выступить чуть ли не против самого Господа, позволила Аввакуму обрести многочисленных сторонников среди низовых (приходских) священнослужителей, которые в свою очередь явились передаточным звеном для прихожан, страдавших не только от крепостничества, но и от церковного гнета, и таким образом параллельно с дворцовым недовольством, осуждавшим Аввакума, возникло еще большее недовольство в народе, не желавшем принимать никоновских реформ; не вполне, может быть, осознавая свои действия, народ дружно выступил в защиту старины (защиту своих давно уже поправных прав), и размах этого протеста, всколыхнувшего дремавшее крестьянство, заставил царя и церковных иерархов применить к протопопу-смутьяну самые жесткие меры. Протопоп был заточен в монастырь, посажен в яму, а следом за ним и большинство его сторонников, но сопротивление никоновским реформам, то есть неприятие царского и церковного западопоклонства, на этом не закончилось; возможно, это как раз и был тот случай в истории, который характеризуется понятием «насилие по-

рождает насилие», то есть в ответ на притеснения светские и церковные народ выставил свое неслышимое (да, о расколе только так и можно сказать) упорство и готов был стоять в этом своем упорстве до конца. Чтобы не вызывать у оппонентов каких-либо относительно этого труда сомнений или возражений, хочу пояснить, что я рассматриваю русский православный церковный раскол не в подробностях, какие предшествовали и сопутствовали этому драматическому периоду истории (подробности довольно широко освещены в многотомной «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева), а в его целостной стержневой основе, суть которой, как это кажется на первый взгляд, не совпадает с персонализированным изложением историка, то есть с детализацией той возни вокруг «исправления церковных служебных книг» и введения единого хорового молитвенного пения (больше всего крестьянский люд почему-то возражал против хорового пения и поучительства через проповеди, полагая, что сие таинство должно совершаться незримо, Богом), но если посмотреть внимательней, вернее, если задаться целью достичь истины, то первое, что откроется исследователю взгляду, это прямая идентичность двух, казалось бы, противоположных подходов к сути и оценке разбираемого здесь события. Если вникнуть в сущность тех диалогов между царем и патриархом, Церковным Собором и патриархом, протопопом Аввакумом и высшим православным предстоятелем, какие С. М. Соловьев приводит в своей многотомной «Истории России...» (в текст включена даже реплика Никона, охарактеризовавшего Церковный Собор как сборище жидов), — то окажется, что они сами по себе мелочны и пусты (по типу «дурак — сам дурак»), и странно, что столь высокопоставленные российские правители снисходят до банального оскорбительства; но в то же время, как и обычно бывает в основе дворцовых интриг, четко просматривается смертельная, да, почти смертельная схватка за единогосподство; иначе говоря, раскол расколом, а власть властью, и борьбой за обладание ею как раз и характеризуется дворцовая составная раскола. Что касается участия народных масс в сугубо церковном будто бы расколе, то тут существует только один знаменатель (он же и стержневой, глубинный, он же и обозримо-поверхностный, как если бы и в самом деле все заключалось лишь в хоровом молитвенном пении и поучительских проповедях) — пробудившееся народное самосознание. Итак, церковный раскол для кремлевских обитателей — это очередная схватка за власть; церковный раскол для народа — это возможность проявить свою волю к свободе и самобытности, и размах охватившего крестьянскую Россию движения, растянувшегося на столетия и не завершившегося по сей день, говорит сам за себя. В исторической науке, как известно, нет и никогда не было ни основательности, ни объективности; одни деятели (реакционного толка, как правило) возвеличиваются в ней, их ликами и бюстами заполняются иконостасы и пьедесталы, тогда как другие, отдававшие жизнь за национальные интересы, выносятся за рамки истории, словно их никогда и не было, и к подобным деятелям, вынесенным за черту истории, был в свое время многими нашими выдающимися историками (да и нынешними) отнесен и протопоп Аввакум. С. М. Соловьев, к примеру, в тридцатитомном сочинении по истории России всего лишь позволил себе упомянуть Аввакума в общем списке священнослужителей, выступивших против Никоновских реформ; чем это обосновано, можно только догадываться, ибо с личностью Аввакума связано пробуждение славянского самосознания, славянского патриотизма, а это не нужно было ни тогдашним властителям — царям, ни позднейшим — коммунистам, ни теперешним — демократам-реформаторам.

XXXI

От протопопа Аввакума, как и от опального патриарха Никона, церковные иерархи и царствующий Дом Романовых требовали смирения и покаяния, и точно так же, как патриарх, но, возможно, с еще большим усердием протопоп стоял на своем; это раздражало и Церковь, и светскую власть, и все же после того, как на Церковном Соборе Никон был лишен патриаршего сана и заточен в мо-

настырь, гонители Аввакума смягчились и разрешили ему вернуться в лоно Церкви, полагая, что мятежный протопоп, не одну зиму и не одно лето просидевший безвыходно в сырой яме на воде и хлебе, остепенится и отступится от своих убеждений. Но этого не произошло. Не произошло, на мой взгляд, по двум причинам. В то время как лишенный патриаршего сана Никон томился в монастырских застенках, церковные нововведения его не были отменены, и Аввакум, борющийся не столько против Никона, сколько против реформ, не находил повода ни для смирения, ни для покаяния; к тому же реформы Никона он воспринимал не столько как церковное, сколько как социальное зло, направленное на разрушение славянской самобытности, как на некое унижающее русский народ западопоклонство, и с высоты этих своих воззрений (может быть, не так четко выраженных, как они изложены мной здесь), составлявших для него идеал веры и правды, он принялся с еще большим упорством возражать против никоновских реформ. Наверное, если бы он не сознавал, что выражает настроение народа, задавленного крепостничеством, и не чувствовал поддержку приходских священнослужителей (по всей России в церквях провозглашали анафему никоновским нововведениям, народ волновался, втягиваясь, можно и так сказать, в русло религиозного фанатизма), протест его не обрел бы столь масштабный характер, когда вся крестьянская Россия готова была подняться и бежать — в Сибирь, в леса, в степи, за кордон (да так оно, собственно, и произошло), чтобы уйти от чужеродного насилия. Протопопа Аввакума вновь заточили в монастырь (в яму на хлеб и воду), а его сторонников из приходских священнослужителей по указу царя Алексея Михайловича живьем сожгли, загнав в бревенчатый сруб и заколотив в нем окна и двери. Событие это, к сожалению, почти никак не освещено в нашей истории, словно такового и вовсе не было, а если и случилось что-то подобное, то вину следует возлагать не на российского «просвещенного» самодержца, а на человеконенавистника боярина Морозова, считавшего доблестью поглумиться над простолюдными. Придерживающиеся такой интерпретации событий историки и философы, мягко говоря, преступно заблуждаются, оставляя за чертой внимания самое, может быть, знаковое для познания истины явление. Весть о сожжении царем и церковными иерархами приходских священнослужителей, протестовавших против никоновских реформ (против западопоклонства), живо облетела Россию и послужила началом к массовому сожжению и самосожжению зараженных уже протестным фанатизмом православных крестьянских общин. В то время как на европейском Западе догорали последние костры инквизиции и Ватикан, образумившись (или скорее посчитав, что задуманное «святое дело» — обезглавливание народных масс — было уже завершено и что пора остановиться), все чаще и чаще отказывался от этого иезуитского насилия, в России с «легкой руки» самодержавного правителя запыхали по городам и весям деревянные церкви, часовни, часовенки, набитые перепуганными, не знающими, что делать, людьми, схватывались огнем целые деревни вместе со стариками и младенцами, повсюду шныряли царские и церковные провокаторы, призывавшие (в рамках будто бы протеста) народ к самосожжению, а те, кто не поддавался на провокации, бежали иногда целыми селениями в Сибирь, о чем уже говорилось, в леса, в степи, в закордонные страны. Чужеземные правители наши, по сути дела, начали необъявленную войну с народом, которая, эстафетно передаваясь от одной царствующей (или властвующей, как теперь) особы к другой, продолжается и сегодня как некая «святая» будто бы заданность на истребление славянства. Во времена коммунистического режима на деревенских людях (да и не только деревенских) была обрушена так называемая «эпидемия раскулачивания», завершившаяся колхозным рабством (народу навязывалось благо, которого он не хотел, предчувствуя новый разорительный обман, и реформаторство это вновь погнало людей — одних под конвоем на Соловки, в Магадан, других — в Ташкент за хлебом, будто российские черноземы и в самом деле истощились уже настолько, что не могли прокормить своего извечного пахаря); в нынешнее десятилетие, десятилетие так называемого «демократического

переустройства», народ, да, именно народ вновь оказался «козлом отпущения» (колхозы разорены, фермерские хозяйства не обустроены, сельский люд брошен на произвол судьбы, и хотя люду этому, оказавшемуся и без земли, и без работы, бежать уже некуда, кроме как в города, тоже задыхающиеся от безработицы, но, как и во времена раскола, времена раскулачивания, деревни пустеют, земли зарастают кустарником, травой, люди мучаются, голодают, мрут на богатстве — земля — это уже и богатство, и власть,— к которому не знают, как подступиться, а правящее кремлевское чужеродство, занятое дележом народного добра и власти, как и во все предшествовавшие столетия и тысячелетия, не видит и не хочет видеть мученических страданий своих подданных). Есть некий исторический парадокс, что народы на всем эпохальном пространстве жизни встречали в штыки любые вводившиеся или, вернее, навязывавшиеся им новшества; ученые мужи полагают, что происходит это от заскорузлого невежества, словно народы действительно-таки настолько глупы, что не в состоянии понять того реформаторского блага, к какому правители пытаются (по своему будто бы «благородству») приобщить их; сегодня население почти всех стран и континентов выступает против глобализации, то есть против сосредоточения в одних руках (в руках одного народа, давно уже объявившего себя богоизбранным) всех средств жизнеобеспечения, воспринимая это как грядущее мировое господство, но возмущенные массы, как и всегда, объявляются невежественными, и, чтобы подавить в них это их «невежество», ведущие державы мира посылают свои мобильные войска в бунтующие регионы. Целенаправленность нововведений обычно сопровождается лестными для простолюдинства посулами, которые никогда не выполнялись и не могут быть выполнены (разве власть позволит что-либо сделать в ущерб себе?), на кон кладется, говоря языком картежников, не козырная карта, а фальшивка, которая сейчас же исчезает, как только бывает сорван куш, но народы (и прежде всего славянские), к сожалению, не задавались и не задаются вопросом, насколько можно и насколько нельзя верить правителям, которые все от малого до великого самодержцы,— да, насколько можно и насколько нельзя верить сим самодержцам, пытающимся любым способом (не силовым, так зомбиобработкой) внедрить в устоявшуюся жизнь людей свои условия (или условности) бытия. Если народ не приемлет, а правители настаивают (как это происходило всегда и происходит теперь с внедрением хищнического мироустройства, прикрытого фиговым листком демократии), то это не означает, что народ глуп, а правители, предлагающие ему блага, занимаются почти бескорыстным благодетельством; не вернее ли в данном случае будет сказать, что властители, как правило, пекутся более о своем благе, чем думают о народе, и силовое навязывание яснее ясного говорит нам об этом. Православный церковный раскол, а точнее, трагедия восточного славянства не растрогала и не озадачила царя Алексея Михайловича; он проводил политику западопоклонства, и в русле этой тронной политики ему важно было сохранить «лицо» перед Западом (перед неметчиной, родиной его предков), и костры сожженцев и самосожженцев, полыхавшие по стране, только рельефнее высвечивали его самодержавный монарший облик перед «просвещенной» Европой. Хотя, повторяю, церковный раскол был явлением далеко не религиозного порядка, но, чтобы навсегда скрыть его социальную сущность, он был почти сразу же окантован «ризой церковного фанатизма», сожженцев, самосожженцев окрестили старообрядцами, противопоставив их таким образом набожным, покорным мирянам, и царское и церковное гонения на них плавно, словно сами собой, были переведены в область народного неприятия. Затем движение объявили сектантским, а то, что в сие сектанство было втянуто больше половины населения страны, уже никого не волновало. Россия потеряла самую здоровую и работоспособную часть крестьянства, однако в чужеродных правительственных кругах, как и в научных и церковных, это никого не беспокоило; староверов, которые боролись и продолжают бороться не столько за чистоту веры, как это преподносится нам, сколько за сохранение национальной самобытности, национального достоинств-

ва, отобранного Рюриковичами и Романовыми,— староверов превратили (через непрерывное двухсотлетнее опорочивание) в неких религиозно-социальных отщепенцев, готовых положить жизни за свою приверженность к старине, в некий груз, тормозящий общее движение к «прогрессу», иначе говоря, на этих русских людей, осмелившихся впервые в славянской истории столь решительно (я исхожу из массовости и сплоченности движения) выступить в защиту своей самобытности, своих национальных интересов, наложили клеймо религиозных фанатиков, и хотя клеймо это остается незримым, но оно действует и порождает у несведущих (исторически несведущих, а таких большинство) иногда косвенную, иногда прямую неприязнь ко всему староверческому движению. Гонения на аввакумовцев, можно и так их назвать, начавшиеся в семнадцатом веке, с разной степенью усиления и ослабления продолжались затем и в восемнадцатом, и в девятнадцатом, и в двадцатом, вынуждая славян покидать исконные земли и искать приюта в сибирских глухомяях и на чужбине. Какие выгоды извлекли наши чужеродные правители из этой устроенной ими очередной славянской трагедии, трудно сказать (очевидно, извлекли, если рассматривать содеянное ими в русле тысячелетне-здуманного новофараоновскими державниками славяноистребления); но русский народ, расколовшийся на староверов, нейтралов и так называемых прогрессистов, до сих пор не может ни осознать своей национальной целостности, ни собрать воедино свой разорванный на клочки патриотизм.

XXXII

Конечно, борьба восточных славян с оккупировавшим их престольным чужеродством (во всех ключевых областях, или сферах, жизни, следует добавить) далеко не исчерпывается только приведенными здесь примерами; еще во времена правления княгини Ольги, этой первооставщицы на Русь православно-византийской веры, утвержденной затем Великим князем Владимиром (Владимиром-Солнышко, как окрестили его тогдашние бояре, приписав затем это народной молве),— да, еще во времена правления равноапостольной княгини Ольги, как утверждают Карамзин и Соловьев, ссылаясь, разумеется, на достоверные источники, в Киеве возникали антижидовские бунты и жидовские погромы, что на языке исторических фактов может означать лишь одно — неприятие славянством чужеродного вмешательства в их жизнь. Я не думаю, чтобы наша история, история восточноевропейского славянства, особенно отличалась (скажем, по драматизму) от историй всех других европейских, да и не только европейских народов, ибо любые национальные образования в той или иной степени подвергались и продолжают подвергаться насилию со стороны некогда вышедших из Египта на поиски обетованных земель фараоновских державников; в атрибутах этих насильников были и силовые (нашествия), и ползучие (путем обманного проникновения) методы захвата власти, и повсеместно, где прокатывался каток хищнического (господство и рабство) мироустройства, возникали протесты, бунты, войны, уносившие тысячи и тысячи простолюдинских жизней, не говоря уже о разрушении городов, культур, цивилизаций. Мы привыкли полагать, что наибольшие потери (если не сказать, неисчислимы) человечество несло от нашествий и войн, в которых сталкивались (вернее, их сталкивали) народы, и никто и никогда даже не пытался подытожить страдания, разорения, исходившие от закабалительных деяний широко расселившихся теперь по миру престольных чужеродств; потери эти — потери от противоборства народов и властителей — многократно превосходят итоги ратных побоищ и отличаются от них тем, что носили и несут не единовременный, то есть не разовый, характер, а растянуты (в своих истошающих страданиях) на века, что сравнимо лишь с долгой и мучительной смертью хоть человека, хоть малого или большого людского сообщества. Наша история, история восточноевропейского славянства, может быть разделена на два периода — дорюриковический, когда стержнем развития явля-

лась национальная самобытность, основывавшаяся на идиллических представлениях о жизни, и рюриковическо-романовский, когда чужеродство, захватив власть, вытравляло и продолжает вытравлять из нас все исконно-славянское, что делало нас миролюбивым, добронравным, великим народом. В свою очередь рюриковическо-романовский период характеризуется двумя для народа противоборствами — с врагом внутренним (престольное чужеродство) и врагом внешним, во все времена то с Востока, то с Запада посягавшим на наши земли. Но и нашествия по целям и заданности тоже распадаются на две категории — стихийные (типа гуннского, аварского, татаро-монгольского) и целенаправленные, определявшиеся европейской политикой славяноистребления (немецкое рыцарство, шведы, французы и опять немцы, взявшие в очередной раз идею Карла Великого — *Lebensraum* и двинувшиеся на Восток). Гунны, какими бы страшными ни изображались в истории, движение их (пусть хотя бы формально) имело экологическую подоплеку; орды Аттилы хлынули с востока на запад лишь для того, чтобы очистить землю от «скверны» — всех жилых и нежилых построек, крестьянских изб, дворцов, храмов, называя их живыми могильниками, рассадниками зла и разврата; конечно, кровавые деяния азиатов нельзя оправдать никакими экологическими заверениями, да к тому же не исключено, что Аттила, как и все подобные ему завоеватели, грезил мировым господством, но затея его, словно волна, которая прокатилась по океану, натворила бед и успокоилась затем в глади бескрайних вод, не принесла народам тех нравственных (разумеется, и политических, и экономических) страданий и разрушений, какими обозначились (для тех же народов) столетия и тысячелетия престольных чужеродств. Авары — это как хвост к комете, как постгунновское попугайство, ибо завоевания их носили тот же бесцельный характер, вернее, представляли то непродуманное даже на шаг вперед движение, когда все от свирепого хана Бояна (в данном случае прозвище от народа) до последнего ратника были заражены жаждой обогащения; грабеж и убийства — вот два бога, которым они поклонялись и которые были вплетены в венок их величия. Они впрягали, о чем уже рассказывалось в предыдущей книге, в колесницы славянских женщин и раскатывали по нашим просторам, пока не исчезли, как гласит пословица, «аки обры». Совсем иная цель была у варяжских пиратов, которые, как и фараоны Древнего Египта, обнаружив идиллическую беспомощность славянских племен, впились, словно клопы-кровососы, в это славянское (исторически обоснованное и пагубное в условиях хищнического миропорядка) добронравие и всеми правдами и неправдами (в том числе и легендой о «призвании») продолжают удерживаться у власти как незаменимые тронные и околотронные богоизбранники, даровавшие будто бы нам, смердам, «великую» (кабальную, крепостническую) государственность. Я не хочу возвращаться к описанным уже здесь деяниям (злодеяниям) Рюриковичей и Романовых; только простой перечень их не смог бы вписаться в самое многотомное издание по истории (да и подобный рассказ был бы лишь рассказом о дворцовых интригах, дворцовой и храмовой жизни); однако любая история — это ведь история не только дворцов и храмов, где рядом с торжеством барства торжествуют коварство, измены, схватки за богатство и власть, но и народа, поставленного, с одной стороны, в кабальные условия помещичьего произвола, крестьянской нищеты и крепостного бесправия, а с другой — в условия самозащиты от врагов внутренних и врагов внешних. То, что славянскому люду (смердам) пришлось испытать за тысячелетнее престольное чужеродство, является несравнимой величиной с тем ущербом, какой был нанесен вместе взятыми нашествиями гуннов, аваров, татаро-монголов; Рюриковичи, а затем Романовы (следом большевики, а теперь демократы) были настолько отчуждены от народа, что даже в самые трудные времена, когда, казалось, земля уходила из-под их тронов, вспоминали о нем лишь как о механизме защиты, который обычно заводился (и заводится) зомби-патриотическими посулами, и затем, по использовании, вновь возвращается в положение застоя, тотальных бедствий и тотального бесправия. Я уже говорил выше, что все азиатские наше-

ствия (в том числе хазарские набеги, набеги печенегов и половцев) были явлениями стихийного порядка, тогда как вторжения с европейского Запада носили откровенный, если не сказать большего, славяноистребительский характер (ведь не случайно еще Александр Невский, выводя новгородские и псковские полки на лед Чудского озера, предупреждал славянский люд, что погибель России грядет с Запада, а не с азиатского Востока); вопрос только в том, знали ли о коварных стратегических замыслах европейских королевских дворов Рюриковичи и Романовы, и если знали (а незнание тут исключено, поскольку все европейские правители, включая и наших, российских, представляли собой единый породненный династический дом), — да, если знали, то почему, во-первых, скрывали это от народа, над которым европейские фараоновские новодержавники, жаждавшие новых обетованных земель, повесили тысячетный дамоклов меч, и почему, во-вторых, эстафетно лизоблюдничали — сначала перед ханской Ордой, хотя при желании нетрудно было сбросить с себя это трехсотлетнее иго, затем перед европейскими королевскими дворами, ублажая их политическими, экономическими, торговыми уступками и подставляя русских солдат (возможно, опять же по договоренности, как было и в русско-японскую войну, и в первую мировую) под шквальный огонь западноевропейских и японо-американских ружей и пушек. Первые симптомы общеевропейского славяноистребительства восходят еще ко времени Карла Великого. Создав в центре Европы Священную Римскую империю, прямую наследницу развалившегося к тому периоду цезарского Рима, сей новоиспеченный европейский цезарь положил в основу своих тронных деяний захватническую политику великой средиземноморской предшественницы и точно так же, как могущественный стратег этой предшественницы, присоединял огнем и мечом Европу к своему Риму (по трафарету фараоновских державников, некогда вышедших из Египта на захват обетованных земель), Карл Великий, выдвинув идею *Lebensraum*, то есть расширения жизненного пространства за счет славянских территорий, направил свои железные (казавшиеся непобедимыми по тем временам) легионы на Восток. Возможно, все заключалось только в том, что лавры Цезаря не давали ему покоя (по крайней мере большинство историков и философов сходятся именно на таком объяснении), но скорее всего он действовал по той инерционной заданности или, иначе сказать, в русле тех рукотворных тенденций развития, в каких еще со времен Древнего Царства предопределено было действовать всем могущественным и немогущественным властителям мира, и в каких, эстафетно передавая друг другу сии тронные навыки, действуют правители и сегодня, прикрываясь вроде бы новыми, а по сути лишь чуть подновленными идеями «общего благоденствия». Так же, как стратеги Римской империи смотрели на многочисленных кельтов, которых надо было уничтожить, чтобы завладеть Европой, смотрел на многочисленное славянство и Карл Великий, обосновавший или, вернее, выдвинувший теорию раздробления и закабаления (вплоть до уничтожения) мирно жившего и ничего не подозревавшего добронравного люда, и хотя мало что из этого коварного замысла удалось осуществить ему, но провозглашенная им идея оказалась настолько живучей, что и сегодня не оставляет в покое государственных мужей Европы. Трудно поверить, чтобы великие киевские, а затем московские князья не были осведомлены о замыслах Карла Великого; но при всей своей (большей или меньшей) осведомленности они не предприняли ничего (как позднее и перед татаро-монгольским нашествием), что сохранило бы славянское единство и позволило бы выставить заслон западноевропейскому экспансионизму. С одной стороны, чтобы обезопаситься, они стремились породниться с европейскими королевскими дворами, а с другой — наивно и бездумно полагались на отдаленность своих вотчин от разворачивавшихся на территории западных славян военных действий. Политика эта, как известно, только отдаляла опасность (да и что еще могло предпринять престольное чужеродство?), но не ограждала от нее, что и было подтверждено затем ходом истории. Невозможно также поверить, чтобы Великие князья (имеются в виду последние из династии Рюрико-

вичей) и водворившиеся на престол вслед за ними Романовы не имели никакого представления о готовившемся европейскими королевскими дворами (естественно, под папским патронажем) «великом» крестовом походе на восточноевропейских славян (в целях будто бы восстановления истинной христианской веры, а в действительности — обретения новых обетованных земель); вся Европа тогда была наполнена слухами о предстоящей «святой миссии», и если слухи эти доходили до наших православных монастырей и приходских священнослужителей, то маловероятно, чтобы о них ничего не ведали тогдашние кремлевские правители. Выходит так, что протопоп Аввакум со своими сподвижниками знал (хотя и не из достоверных источников), а царь Алексей Михайлович, боярин Морозов и патриарх Никон, проводившие политику западопочтения (то же лизоблюдство, что и во времена Золотой Орды, да и в нынешние, если как следует приглядеться к спецпоездкам наших кремлевских правителей в Лондон и Вашингтон), — царь, боярин и патриарх не знали ничего и действовали (в пользу Запада, да-да, в пользу Запада) лишь исходя будто бы из своих российских (узкотронных) монарших интересов.

XXXIII

Несмотря на то, что новейшая наша история (я имею в виду второе тысячелетие от Рождества Христова) сопряжена с династическими правлениями Рюриковичей и Романовых, а затем, в двадцатом веке, режимами большевиков и демократов, было бы непростительной ошибкой приписывать все постигавшие нас (именно в страшное для восточного славянства тысячелетие) беды только этим руководившим нашей жизнью чужеродцам, восседавшим на троне; и Рюриковичи, и Романовы, и большевики (как, впрочем, и нынешние демократы-реформаторы) действовали точно так же, как и все предшествовавшие им престольные чужеродства (фараоновские державники), начиная от Древнего Египта, древнегреческой империи, Рима, европейских королевских дворов и кончая конгломератом нынешних ведущих держав во главе с Соединенными Штатами Америки, а отсюда и вывод, что ни Рюриковичи, ни Романовы, ни большевики, ни демократы-реформаторы не изобрели и не привнесли в наш идиллический славянский быт ничего нового, что не входило бы в установившуюся в веках хищническую (господство и рабство) систему мироустройства. Чужеродство, да, именно чужеродство по отношению к закабаленным народам заставило правителей брать и насаждать в своих странах то (из общемировых тенденций развития), что укрепляло или могло укреплять их тронную богоизбранность и притеснять простолюдские массы, то есть удерживать их на уровне нищеты, исторического невежества и несправедливости. Российская государственность, в какой мы живем вот уже более тысячи лет и какую славим как великое благодеяние Рюриковичей и Романовых (и где, впрочем, не нашлось для славян — смердов — иного предназначения, чем пребывать в крепостничестве), — российская государственность эта, в какой живем, вышла не из глубин национально-самобытной народной жизни, а была привнесена чужеземцами, захватившими престол, и, возможно, как раз акт привнесения или, вернее, навязывания (а ведь известно, что далеко не все, что насаждается в народе, безоговорочно и до конца принимается им) и является той исходной точкой хижинной и дворцовой несовместимости, от которой происходили и продолжают происходить все наши социальные и нравственные неурядицы. История властителей и история народов есть две составные общемировой истории, и все национальные ответвления от нее являются лишь горькими плодами этого могущественного, как можно было бы сказать о нем (могущественного более в негативном, чем в позитивном плане), древа жизни, древа общественных отношений и общественного бытия. Начальная государственность (Древнее Царство и последовавший затем фараоновский период, означившийся строительством пирамид) представляется нам не иначе,

как абсолютизм власти и абсолютизм рабства, когда народ однозначно признавался бесправным, а властители тронов — неограниченными богоизбранниками, и эта ужасающая реалистичность, лишенная лжи, служила, как можно предположить, залогом тронного — сорокавекового — долголетия. Но между тем, что было в прошлом, и тем, что мы имеем теперь (в отношениях властителей и народов), существует не то чтобы принципиальное, но весьма и весьма значительное различие, ибо ни продолжающийся абсолютизм правящих особ, ни продолжающееся бесправие простолюдинов уже не предстают перед нами в том реально обнаженном и узаконенном виде, в каком представляли в древности, лишенными и сиюминутной, и исторической лжи (стабильность, которая страшна именно этой своей ужасающей стабильностью); взгляды властителей на народ и народа на властителей, оставаясь в сути своей прежними, то есть в прежних рамках параллельно текущего абсолютизма, настолько обросли многослойным панцирем лжи, узаконившей дворцовую жизнь (дворцовое барство) как необратимую представительскую составную государства и народа, а беспредельную нищету простолюдинов — как временные (растянутые, впрочем, на века) трудности, уходящие корнями в некие обстоятельства, неподвластные будто бы человеческому разуму, что ни у кого уже не возникает сомнений в оглашенной правителями истине. Фараоновское однозначное отношение к народу заменилось лживой двуличностью, когда народ (по необходимости) то объявляется великим (на словах, ибо в лучах этого величия обычно предстают правители, а не простолюдины), то оказывается козлом отпущения (это уже в реальности, ибо зло якобы никогда и ни в чем не может исходить от тронов). У правителей есть система власти, которая складывалась и совершенствовалась веками, тысячелетиями, у народа — система (или образ, или ценность) жизни, которая за те же века и тысячелетия только разрушалась (насильственно-перетечный период от идиллического к хищническому мироустройству), и это параллельно-встречное движение, составляющее альфу и омегу истории, уже изначально подавалось (пример: Библия), как подается и теперь историками и философами не с позиций реального противостояния властителей и народов, а в рамках некоей единой устремленности дворцов и хижин (с ведущей ролью дворцов) к «высотам цивилизации и прогресса». Всякий успех, поднимающий (или подтверждающий) богоизбранность тронов, сопрягается (будто бы так уж повелось) с понятием «народ», который велик потому, что, пожертвовав собой (в той или иной борьбе царских корон за богатство, славу и власть) и не получив для себя ничего, расчистил путь дворам и храмам к новым торжествам барства; всякий провал хоть в политической, хоть в экономической или социально-нравственной сфере, ущемляющий по преимуществу простолюдинское большинство, принято и сегодня объяснять (но скорее объявлять) недоумием, тупостью простолюдинов, тупостью большинства, как если бы и в самом деле не меньшинство, а большинство, то есть не обитатели дворцов, а обитатели хижин, принимало и продолжает принимать судьбоносные для страны и народа решения. В нашей истории, истории восточноевропейского славянства, подобная подменно-текстовая оценка событий четко просматривается в таких явлениях, как пресловутое «призвание» чужеземцев на княжение, крещение Руси, «собрание» русских земель, установление крепостничества (в том числе и колхозного), роль масс в большевистском, а теперь и в «демократическом» переворотах, обнаживших всю, казалась бы, скрытую, подпольную сущность насаждаемого в народах хищнического бытия. В «призвании» Рюриковичей повинен народ, а потому, дескать, и должен безропотно нести бремя своей ошибки; в кровавом «собрании» русских земель великие киевские и московские князья лишь воплощали в жизнь волю народа, желавшего видеть Русь могущественной империей (хотя подобное объединение могло бы произойти само собой и совсем на других, идиллических, миролюбивых, добронравных, традиционно-национальных основах), а если что-то не нравится нам в нашей трафаретно перетекающей из века в век государственности,

то и в этом должны винить только себя, свое неумение предугадывать последствия принимаемых решений; что касается крепостничества (да и коллективизации как обновленного рабства), то тут ни у историков, ни у философов нет однозначного мнения, многие склонны считать, что произошло это естественным путем, то есть по некой неизбежной предначертанности как стадии в развитии общественных отношений (как видим, ничто вроде бы и не зависело от правителей), другие, возглавляемые историком Ключевским, уверяют нас, будто народ сам пожелал надеть на себя ярмо несправия и что правители виновны лишь в том, что пошли на поводу у простолюдинов; большевистские вожди по отношению к народу были явным и ущербным (инородным) меньшинством, жаждавшим мирового господства, но вина за государственный переворот, гражданскую войну, расказачивание, раскулачивание, репрессии, за коллективизацию, то есть жесткое и необратимое обезличивание во всех сферах жизни, возлагается сегодня всеми политиками, политологами, историками, философами на народ, словно коммунизм как система общественных отношений (как обновленный вариант хищнического мироустройства, следует добавить) возник в недрах хижинной нищеты и затем простолюдинским большинством кроваво навязан «процветавшему» российскому обществу; еще более странно выглядит приписываемое ныне российскому простому люду «демократическое» реформаторство, вновь опрокинувшее народ (и теперь уже основательно) в омут кабальной нищеты, в «царство» исторического и текущего невежества и несправия. Я отвернул лишь край сусально позолоченного полога, коим была и остается прикрытой наша полная драматизма отечественная действительность, но, думаю, и этого достаточно, чтобы ужаснуться коварству правителей и вторящей им церковной и научной элиты, с каким они, отстранясь (или самоотстранясь) от правды жизни, насаждали и продолжают насаждать в общественном сознании историческую и сиюминутную (или текущую) ложь, ублажая обитателей дворцов, храмов как некое вроде бы божественное начало бытия и не желая считаться с беспросветной нищетой народных масс, защитниками коих, впрочем, усердно выставляют себя. Все это можно было бы назвать бесстыдством, если бы речь шла лишь о семейных неурядицах; но взаимоотношения правителей и народов — дело далеко и далеко не семейное, и все, что возникает в пределах этих отношений, отражается на судьбах народов и государств. Думаю, что не только история России, но и истории всех народов полны примеров приведенного здесь тронного (как и академического, и церковного по отношению к простолюдинским массам) преступного бесстыдства, роковую суть которого бывает не то чтобы трудно, но невозможно (в череде обнадеживающих дворцовых посулов и следующих за ними хижинных огорчений и разочарований) истолковать и понять; любое царское или вождистское нововведение обычно начинается словами «все для народа», а завершается устойчивой реальностью «все для обогащения и возвеличивания тронов»; хотим мы или не хотим признать это, но история (история хищнического мироустройства) говорит нам, что все, что затевается правителями, имеет только одну цель — тронное обогащение, а народ, что ж, народ постоянно находится в вакууме между царскими (вождистскими) посулами и царскими же (вождистскими) свершениями, то есть, иными словами, между потребностью верить в красивую, обольстительную ложь и страхом неизбежного разочарования, и вся суть политических маневров правителей, как и суть научных и церковных пропагандистских усилий, основана на заполнении исторической и текущей ложью этого эпохального вакуума в народном восприятии общественного бытия. Бесстыдство (преступное бесстыдство) правителей можно еще как-то понять, ибо они стоят на защите тронов, но бесстыдство ученых мужей, за всю историю человечества даже не попытавшихся открыть народу весь тот механизм насилия и угнетения (имперский, государственный), каким владеют и какой коронованные особы используют в своих властных проявлениях, как и бесстыдство церковников, которым точно так же (и не из вторых рук) известны и цели, и мето-

ды поводырствующих персон, пьедестально нависающих над народом, народами,— бесстыдство этих холуйствующих структур, более чем граничащее с преступлением, не имеет и не может иметь никаких оправданий ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.

XXXIV

Историческая наука, как и все другие, входящие в собирательное понятие «академизм», вполне может задаваться риторическими вопросами, на которые человечество либо уже определилось с ответами, то есть расписалось в бессилии найти истину, либо что-то, что связано с тронной заданностью, с божественной бесконтрольностью вождистских (поводырских) устремлений, мешают или скорее не позволяет прикоснуться к залежам дворцовых тайн. В истории известно, что цезарский Рим, задавшись целью уничтожить кельтов, обратил против них не только свои железные легионы и когорты, предводимые великими, как их пьедестально называют сегодня, полководцами, но и духовное, то есть пропагандистское, оружие, а точнее, клеветнический яд, дабы возбудить вражду к ним у сопредельных, населявших Присредиземноморье и Европу (и находившихся к тому времени либо в прямой, либо в вассальной зависимости от могущественной империи) народов. Римские державники, следуя традициям карфагенизма, успешно справились с поставленной задачей, кельтов нет, от них остались только воспоминания да земли, занятые палестинскими, средиземноморскими, африканскими пришельцами, и вся риторичность вопроса, какой хочу задать здесь, состоит в том, знал ли кельтский народ (простолюдины, да, именно простолюдины, а не только пастьерский легион высокородных царских прислужников) о готовившемся против него коварном замысле Рима и как бы повернулась европейская и всемирная история, если бы кельтское простолюдинское большинство было осведомлено о предначертанной ему участи? У исследователей этого периода европейской истории нет точных данных о том, что и насколько знали и насколько не знали кельтские вожди о римской угрозе, но самая элементарная логика приводит нас к выводу, что знали, ибо не могли не следить за намерениями и действиями соседствующих властителей и народов. Ведь при каждом царском дворе, как в прошлом, так и теперь (и это неопровержимо доказано всем ходом исторического процесса), имелись и имеются специальные службы внешней и внутренней разведки, так называемые осведомители (фискалы), доносившие коронованным особам как о замыслах сопредельных государей, так и о настроениях подданных, и вожди кельтских племен не были исключением. Они знали, что Рим готовил против них, и у них была возможность, сказав правду народу, сплотить его и преградить дорогу римским насильникам, но этого не было сделано. На что надеялись кельтские кумиры-поводыри, чего опасались? Лежала ли в основе этой их преступной ошибки лишь простая вождистская амбициозность, или, опасаясь пробудить патриотический дух в простолюдинских массах (как не раз случалось в нашей истории и особенно наглядно проявилось теперь, в конце двадцатого столетия), боялись своего народа, или, возможно, все заключалось только в нерешительной, выжидательной политике (равно преступной, как и любое иное предательство интересов простолюдинского большинства), но факт остается фактом, и человечество может только констатировать свершившийся (на основе этого факта) трагический исход. Кроме внешнего воздействия (силовой и духовной экспансии), кельтские племена разлагались изнутри наезжими римскими миссионерами, которые, оболщая посулами и подачками то одних, то других вождей и разжигая между ними братоубийственную войну, разобщали народ, не давая ему сплотиться (в наши времена явление это именуется «пятой колонной»), и естественно, что такому двухъярусному римскому экспансионизму (трехъярусному, если учесть враждебность зомби-обработанных соседствующих государств и народов) мог противостоять только национально

сплоченный монолит масс. Но для того, чтобы сплотить массы, нужна была правда (правда исторической и текущей жизни), которая позволила бы людям понять, что с ними происходило, происходит и будет происходить, то есть приподняло бы полог над тем смертным ложем (и это относится не только к кельтам), какое история (будто бы история) уготовливает обреченным народам; альтернатива жизни и смерти поставила бы перед простолюдинским большинством один-единственный выбор — выбор борьбы, и никакие легионы и когорты, возглавляемые самыми великими полководцами, не смогли бы справиться со вставшим на их пути монолитом гнева и геройства. Тут же была бы распознана и сметена «пятая колонна», и торжество справедливости, одержав верх, покровом благоденствия опустилось бы на земли и народы Европы. Но, повторяю, этого не произошло, а случилось то, что случилось, став неусвоенным уроком и для правителей, которые сгинули вместе с народом, и для народа, молитвенно озиравшегося на своих преступных поводырей. К трагедии кельтов я обратился здесь только потому, что и наши правители (наше престольное чужеродство) не раз и не два ставили себя и народ в положение кельтов. Славянство, и прежде всего восточноевропейское, до сих пор не знает, что еще тысячу двести лет назад рукой Карла Великого, исполнявшего волю европейских новофараоновских державников, грезивших захватом новых обетованных земель, был повешен над нами меч обреченности, предопределивший на много столетий (и продолжающий предопределять) нашу судьбу. Я виню славянских старшин, трагически павших под карательным тесаком Рюрика, не за то, что сглупили, призвав чужеземцев на княжение (да и было ли такое «призвание»?), но за то, что, взявшись предопределять будущее народа, ограничились лишь договором между собой, как было сподручней им, и не обратились к народу, чтобы растолковать, что ожидает его под дланью чужеземцев, не спросили, согласен ли он на пожизненную кабалу (как затем и произошло все) или выйдет на смертный бой, в котором варяжская «русь», то есть дружина, вряд ли могла бы претендовать на победу. Да, я обвиняю старшин именно в этом преступлении перед тогдашним да и нынешним славянским простолюдинским большинством, тем более что народ только что, как сказано в «Повести временных лет», общими усилиями изгнал варяжских насильников со своей земли, и правителям следовало лишь бросить клич народу, как вся наша тысячелетняя история, история престольного чужеродства и крепостничества, была бы иной, чем мы имеем ее теперь; да, я обвиняю старшин именно в этой преступной, скрытой от народа келейности, хотя понимаю, что скорее никакого «призвания» не было, а существует лишь обеляющая Рюриковичей легенда, но ведь так ли, иначе ли, а вторжение состоялось, так ли, иначе ли, а народ, пребывавший в неведении, не поднялся в едином порыве против скандинавских захватчиков, и факт этот, какой бы благостной фальшью мы ни обрамляли его, остается тем несмываемым позором в нашей истории, за которым последовали века славянского унижения и бесправия. Наверное, здесь следует несколько вернуться к Нестору как к первооткрывателю нашей летописной истории и к тексту сочиненного им повествования, которое, как ни огорчительно признавать это, писалось не из желания увековечить события теперь уже давно минувших лет, а из неведомых нам, вернее, не зафиксированных в научных трудах попугайских соображений (будто всякая национальная история непременно должна представлять слепок или кальку с Библии), из каких летописцы и историки исходили до Нестора, облачаясь в тоги подвижников-мудрецов, и исходят теперь, затворнически укрывшись за академическими фасадами в комфортабельных кабинетах. Что касается личности Нестора, то меня удивляло и продолжает удивлять то обстоятельство, что личность эта в нашей истории остается странно безликой; хотя мощи его до сих пор хранятся в пещере Киево-Печерской лавры (Киево-Печерском монастыре), а на творение его рук — «Повесть временных лет» — продолжают упорно ссылаться ученые мужи как на неопровержимое свидетельство славянской истории, он остается (даже в официальной историографии) деятелем весьма и весьма загадочным. Одни искренне

полагают, что он из народа (на том лишь основании, что и у славян должны быть свои славянские кумиры), другие, что он из пришлых греческих (византийских) монахов, которые в то время наводняли Русь будто бы с чисто религиозно-просветительскими целями, и что мы должны быть только благодарны этому чужеродцу за такое подвижничество; конечно, я понимаю, что в исторической науке, более чем в какой-либо еще, допустимы самые, казалось бы, неожиданные домыслы, но — если мы не имеем житея этого, несомненно, выдающегося деятеля (мыслителя) своего времени (я беру тогдашнюю Киевскую Русь), то давайте обратимся непосредственно к «Повести временных лет», то есть к тексту, который при внимательном прочтении мог бы многое прояснить нам. Вместо того чтобы приступить к изложению действительной славянской истории (Русь Первая, гуннское и аварское нашествие, бывшие и в памяти, и на слуху у народа), Нестор начал повествование с библейского потопа, ковчега и сыновей Ноя, от одного из которых, Афета, будто бы и пошел славянский род. Мы явно сталкиваемся здесь с библейским примитивизмом, то есть с тем канонизированным историческим трафаретом, с которого начинались почти все национальные истории средиземноморских и европейских народов (не говоря уже о всемирной) и какой, несмотря на многочисленные археологические открытия, ставящие под сомнение библейское миротолкование, продолжает считаться некой «научной изысканностью».

XXXV

Может быть, я не прав, но иногда мне кажется, что, рассуждая о «призвании», о Несторе и его творении — «Повести временных лет», — я просто-напросто веду схоластический спор, не имеющий никакой или почти никакой реально-исторической основы, кроме вложенных в процесс развития и достаточно уже устоявшихся понятий, названно определяющих события, которые если и происходили, то совсем не так, как они в свое время (из престольно-обелительных потребностей) были летописно (да, будто бы летописно) закреплены за прошлым, настоящим и будущим восточноевропейской ветви славянства. Мы ссылаемся на «Повесть временных лет» как на неоспоримый документ истории, в то время как не располагаем в подлиннике ни первым (Несторовским), ни вторым (под редакцией монаха Сильвестра), ни третьим вариантами этого документа, а пользуемся лишь сомнительным пересказом, датированным то ли пятнадцатым, то ли шестнадцатым веком, и сколько бы ни заверяли себя, что после бесчисленных редакций и пересказов могла измениться разве что стилистика изложения, а главное содержание дошло до нас в своем первозданном творении (да и мыслимо ли подвергать сомнению труд всех этих часто безвестных редакторов и пересказчиков?), — как бы ни заверяли себя, что в научных трудах опираемся лишь на реальные исторические факты («Повесть временных лет», чего же еще, да и с чем же тогда останемся, если начнем перечеркивать даже эти малые крохи, соединяющие нас с нашим прошлым и дающие пищу для размышлений?), в сущности же, используем досужие вымыслы, пущенные в оборот, как мы бы сказали теперь, определенными (от престольного чужеродства) силами и с вполне определенной (для увековечивания дворцового барства и увековечивания же хижинной кабалы) зловещей целью. Наверное, логично было бы предположить, что столь судьбоносное событие, как призвание чужеземцев на престол, не могло остаться не зафиксированным в истории — если не призывавшей стороной, то по крайней мере призванными (скажем, строительством храма или золотоотливного обелиска с высеченными на нем именами старшин, ходивших поклониться чужеродцам); ведь дело-то благородное, чуть ли не спасение нации, как это можно заключить из текста «Повести...», и такое событие, если оно действительно состоялось, не могло или не должно было предаваться забвению. Во всяком случае, если оно не было монументально затверждено, то должно было

бы сохраниться в народной памяти — хотя бы поименным списком послов, делегированных за кордон, или на худой конец списком казненных Рюриком все тех же славянских старшин, призвавших его на княжение, но Нестор словно бы опускает эту реальную действительность (которой, видимо, не было и вовсе) и, прибегая к вымыслу, ищет и находит доказательства достоверности. Он был, как это кажется мне, в том сложном положении, в каком обычно пребывают историки и философы, берущиеся за перо с намерением запечатлеть истину, но вдруг обнаруживающие, что ее нет (ведь нелогичность «призвания» точно так же, как она ясна нам, была ясна и ему) и что, кроме того, ощущается сковывающая тяжесть дворцового заказа (а что таковой был сделан великокняжеским двором, нет сомнения, хотя и не зафиксирован в истории), и древнему нашему летописцу с его греческой (византийской) образованностью ничего не оставалось, как обратиться к летописным образцам, то есть к переведенным к тому времени на славянский язык религиозно-историческим книгам. В них, и только в них (вернее, в подражательстве им), следует искать ключ к реалистическому толкованию «Повести...». В конце концов, не секрет же, что в исторических текстах, начиная с древнейших времен, слово «народ» употреблялось в двух значениях: конкретном, чтобы подчеркнуть обособленность простолюдинских масс, и обобщенном, когда требовалось переложить вину правителей на безликую и безголосую людскую толпу. Сама по себе подобная двойственность, может быть, так и осталась бы незамеченной, если бы за этим методом исторического изложения не проглядывала некая утонченная, да, именно утонченная тенденциозность в оценках совершавшихся событий, вернее, некий факирский эффект (факирский обман), который позволял, как позволяет и сегодня ученым мужам, обходя и затушевывая правду, выглядеть правдоверителями, такими знатоками истины если не в последней, то по крайней мере близкой к этому инстанции. Проще говоря, народ согласно этой древнейшей формуле миротолкования (канонной формуле правителей и летописцев) предстает в виде мяча, перебрасываемого из рук в руки, без которого не было бы игры, то есть жизни, но который, в чьих бы руках ни оказался, всегда находился и находится в зависимости от воли и намерений игроков. Я не думаю, чтобы Нестор столь же досконально разбирался в этом канонном для историков методе писания, но и не склонен преуменьшать, скажем так, его умственные способности; он не стал слепо подражать библейской методологии, господствовавшей тогда, как, впрочем, продолжающей господствовать и теперь в трудах историков и философов (прежде всего это относится к героизации поводырских деяний и участия в них народных масс), но предложил некий вариант симбиоза, в котором, с одной стороны, сохранены вроде бы традиции прошлого, а с другой — внесены элементы некой славянской будто бы самобытности. Думаю, сегодня вряд ли кому-либо удастся восстановить ход мыслей этого монаха-затворника, пытавшегося из своей пещерной кельи «объять необъятное», как некогда сказал поэт, то есть охватить внутренним взором все то, что составляло дорюриковическую и порубежно-рюриковическую историю славянства; да я и не ставил перед собой такой задачи, поскольку в суждениях никогда не полагался и не полагаюсь на домыслы и измышления; меня крайне удивляет, что среди дошедших до нас жизнеописаний известных деятелей прошлых эпох нет жития Нестора, как нет и объяснений, когда и при каких обстоятельствах оно было утрачено или подверглось той же участи, что и большинство исторических свидетельств того времени; да, в человеческом плане Нестор — это загадка, которую почему-то никто даже не пытается расшифровать, и, повторяю, меня крайне удивляет, что несмотря на то, что мощи его до сих пор хранятся в пещере Киево-Печерской лавры (Киево-Печерском монастыре), а на творение его продолжают ссылаться в трудах историки и философы, он предстает перед нами скорее личностью символической или назывной, чем реально действовавшей на пороге зарождавшейся российской державности. Некоторые историки выдвигают и такое предположение, будто Нестор вообще не является автором «Повести временных лет», что сочинение это

в отрывках существовало и раньше, то есть до него, и что ему предстояло только свести отрывки в единое повествование, заполнив стыки или разрывы между ними «плотью» логических построений. Именно логика подсказала ему, что «призвание» не могло состояться без воли народа — этой базовой основы жизни; но в отличие от нынешних историков и философов, трактующих «призвание» как свершенное общенародное дело (безапелляционно ссылаясь при этом на содержание «Повести...»), Нестор ограничивается лишь упоминанием трех славянских племен, или анклавов (славяне новгородские, кривичи, чудь), которые принимали участие в оказавшемся столь судьбоносным для всего восточно-европейского славянства решении; он, видимо, понимал, что северные племена (или родовые анклавы) — это только часть народа, вошедшего в Киевскую, а затем Московскую Русь, и тем самым оставлял (что легко просматривается в тексте) возможность не только нашим предкам, но и нам опротестовать (дезаурировать) это навязанное меньшинством большинству национальное унижение. На протяжении тысячи лет восточноевропейское славянство каждодневно могло, разоблачив узурпаторство Рюриковичей, освободить себя от престольного чужеродства, создававшего и продолжающего создавать невыносимые для нас, простолюдинов (смердов), условия жизни; но ведь мы не для того жили и живем, чтобы терпеть над собой насилие и омывать ноги пришлым барствующим особам, и если не умеем доказать, вернее, нам не дают доказать, что «призвания» не было, а был лишь пиратский захват власти (зловещая выдумка, однако, настолько внедрена в наше сознание, что мы уже и в самом деле не знаем, что было тогда и чего не было), — да, если не умеем или не в силах доказать, что «призвания» не было, то в полной мере могли бы воспользоваться Несторовским свидетельством, позволявшим дезавуировать унижающее народ самоубийственное решение и, отказав во власти Рюриковичам, отправить их (добрыми ли проходами или изгнанием) в их заморские, закордонные пенаты. Но ни правители (благодаря своему чужеродству), ни ученые мужи (благодаря все тому же завуалированному чужеродству) не стремились открыть правду народу; для одних (правителей) сокрытие это являлось залогом их дворцового могущества и долгожительства, для других (ученых мужей) — составной частью придворного холуйства; Рюриковичей сменили на престоле Романовы, Романовых — большевики, большевиков — демократы, однако меч «призвания», золотозанесенный над славянским людом, так и остается висеть над ним, как некий символ добровольного будто бы вхождения в рабство. Но если у правителей и ученых мужей, как видим, были основания замалчивать правду о «призвании» (не в этом ли сокрытии следует искать исчезновение жития Нестора?), то бездействие народных масс можно объяснить лишь глубоким историческим невежеством, в каком вот уже более десяти столетий правящие круги продолжают удерживать простой люд. Наука, религия, просвещение — три звена одной кандалной цепи, сковывающей нас, как рабов своего будто бы бездумного решения, и, пока все мы не осознаем зловещей роли этих инструментов духовного насилия, то есть пока не объединимся на основах славянской самобытности, ярмо чужеземной кабалы будет гнуть нас и отправлять (поколения за поколениями) в безымянные, зарастающие бурьяном и крапивой могилы.

XXXVI

Есть два способа отображения исторической да и текущей действительности: непосредственное (или прямое, точное, зеркальное наконец) и художественное, то есть образное, символическое, когда происходившее и происходящее переносится из области конкретных понятий в область обобщенных символов, из эмоциональной концентрации которых как раз и возникает или по крайней мере должно возникать реальное восприятие; иначе говоря, историко-документальное и историко-художественное (или на худой конец нечто усредненное меж-

ду документалистикой и образностью, что зависит от направления и степени таланта летописца или историка), а поскольку факт этот является частью объективной реальности, то и воспринимать его надо соответственно, согласуясь с известными ориентирами истины. В большинстве своем мы воспринимаем Нестора как последовательного документалиста, когда ссылаемся на его «Повесть временных лет», в то время как при внимательном прочтении этого летописного труда возникает совсем другое, прямо противоположное мнение, что он столь же далек от документализма, как и любой художник, берущийся за изложение истории. «Повесть...» открывается библейским трафаретом, а затем, на что очень важно обратить внимание, как раз и следует не конкретное, а обобщенное (образное, символическое) изложение современной ему (или почти современной, если точнее) славянской действительности. Конкретно только то, что с северных славян брали дань варяги, а с южных — хазары («по белке с каждого дома») и что северяне, объединившись, прогнали варягов за море и «начали владеть сами собою». Но свобода, добытая на поле брани, оказывается, если верить Нестору, не пришлось «ко двору» северным славянским племенам; древний летописец замечает, что, «прогнав варягов», они (то есть северные славяне) «никак не могли уладиться друг с другом и начали междоусобные войны». Декларативное заключение это, если внимательнее присмотреться к нему, во-первых, противоречит только что изложенной ситуации (изгнанию варягов общими усилиями), и, во-вторых, не имеет ничего общего с исторической действительностью. Нельзя же всерьез полагать, что, пока славяне платили дань варягам, а точнее, пока были под чужеземцами, жили в мире и согласии между собой, а как только освободились от насильников, то есть обрели самостоятельность, жизнь их превратилась в сущий ад. Мы сталкиваемся здесь, по-видимому, не просто с неким обобщенным представлением совершавшихся событий, но, как мне кажется, с целенаправленным вымыслом, будто славяне, не имевшие государственности (хотя это полная неправда), до такой степени не умели обустроить свою жизнь, что вынуждены были искать посредников, которые (хотя бы и мечом, хотя бы и насилем) привели бы их ко взаимному (межплеменному) примирению и согласию. Из действительной истории славянства, проигнорированной по незнанию ли, по умыслу ли Нестором, но в свое время четко зафиксированной Геродотом и Тацитом, а также римско-греческими мыслителями, ходившими в страну «славных Гипербореев» и оставившими миру бесценное свидетельство идиллической (в добронравии и миролюбии) жизни славянских племен, — из этой действительной истории, которая дает представление о славянстве как о высокоразвитом (и в нравственном, и в социальном, и в политическом отношении) европейском сообществе, мы знаем, что предки наши во все времена жили не только в согласии между собой, но и в согласии с соседними народами (ведь в истории не зафиксированы славянские или, скажем, панславянские нашествия, а значатся только нашествия азиатских и западноевропейских орд на славян), и тут напрашивается вопрос: а что же на самом деле стоит (кроме, разумеется, откровенного вымысла) за несторовской характеристикой славянства? Вольно или невольно создается впечатление, что Нестора интересовали не реальные факты истории, которых у него не было под рукой (поскольку вообще не существовали в действительности), не историческая достоверность, которую требовалось только изложить, не отступая от нее, а нечто другое, что помогло бы сконструировать, да, именно сконструировать зримое представление о том, что предшествовало (вернее, должно было предшествовать) появлению на славянской земле Рюрика с братьями. Ему нужно было найти веское, не вызывающее сомнений обоснование, которое, во-первых, говорило бы о беспомощности славян в организации своей жизни (мнение это, пущенное в обиход Нестором, упорно и сегодня навязывается мировому сообществу определенными западными и прозападными источниками в программном русле славяноочернительства), и, во-вторых, служило бы прямым и неопровержимым оправданием «призвания». Именно в этой части «Повести...» мы встречаемся с понятиями «народ», «наро-

ды» в том обобщенном толковании, в каком с древнейших времен оно использовалось учеными мужами для утонченного (в пользу царствовавших особ) искажения истории, и Нестор не случайно обратился к этому известному историческому опыту, позволявшему, избегая конкретики, превращать действительные факты истории в некое безликое, безвременное, балансирующее на меже правды и правдоподобия действо. Новгородских славян, древлян, чудь и мери Нестор именуется народами (хотя племена эти, вместе взятые, не составляли и одной пятой всего славянского населения), и эта вроде бы допустимая условность сразу же придает как бы особую масштабность описываемым событиям: народы, объединившись, «прогнали варягов за море»; народы, не сумевшие «уладиться друг с другом, начали междоусобные войны»; народы, не видя конца своим междоусобиям, собравшись, стали говорить между собой: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела справедливо»; народы, то есть «чудь, новгородцы, кривичи, сказали руси (заметим, не Рюрику с братьями, а «руси», то есть народу, как тут же поясняет сам Нестор): “Земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет, придите княжить и владеть нами”». Казалось бы, подобная образность не должна вызывать (да и не вызывает) ни у кого сомнений в правдивости изложения, но давай разберемся, что здесь может соответствовать исторической действительности, а что только бутафорски (обманно) подменяет ее, вызывая своим правдоподобием лишь впечатление исторической достоверности. В истории известно, что на уровне народов никогда не возникало ни братоубийственных конфликтов (как это Нестор приписывает славянству), ни междоусударственных войн, но что все и всегда начиналось с амбициозных притязаний правителей, жаждавших богатства, славы и власти, а простой люд, подвергавшийся определенной зомбиобработке, выступал лишь в роли той пешки, которую игроки обычно отдают в жертву ради достижения своих целей. Объединить славянские народы (то есть новгородцев, кривичей, чудь, мери) и поднять их на борьбу с северными насильниками было несложно, ибо дань, взимавшаяся варягами, взималась в основном с простолюдинов (с каждого двора), а не с князей, вернее, не только с князей, и конкретизировать тут, собственно, нечего, ибо каждый член общества равно претерпевал бедствие, которое при образном выражении не только не искажалось, но, напротив, лишь обретало эмоционально-масштабную значимость; совсем другое дело, когда добытая в ратных усилиях (подвигах) свобода подается как причина раздора между сражавшимися бок о бок с врагом народами, ибо свобода, как, впрочем, и бедствие, есть неделимая категория жизни, если соотносить ее непосредственно с простолюдинским большинством; междоусобица же, о которой пишет Нестор, могла возникнуть среди славянских племен лишь в том случае, если бы им (прежде всего вождям) пришлось делить не свободу как таковую, добытую в сражениях, а плоды одержанной победы, то есть захваченные земли или награбленные богатства. Но если Нестор и не говорит ничего о захваченных территориях или иных «обретениях», то это отнюдь не означает, что у вождей племен, или князей, назовем их так, не было какого-либо другого подобного повода для разногласий (свобода, еще раз повторяю, неделима, так что народам не из-за чего было заводить спор); повод был, и, может быть, даже более веский, чем можно предположить (если, конечно, верить тому, что дошло до кровавых разборок), но, думаю, даже при княжеских раздорах весьма и весьма проблематично, чтобы простой люд, обнажив мечи, кинулся в братоубийственную бойню; скорее всего вождям племен не удалось спровоцировать свои народы на такое противоестественное человеческому разуму дело, и тогда-то князья, да, именно князья, а не народы, пришли к мысли призвать чужеземных посредников для улаживания своих неразрешимых споров. Я не случайно употребляю здесь слово «если», поскольку глубоко убежден, что никакого «призвания» не было, а это означает, что не было ни кровавых разборок между князьями (старшинами), ни тем более между племенами (народами), как о том сообщает Нестор; все это — позднейший (и явно заказной) вымысел, в котором не случайно же нет ничего достоверного, что шло бы от жиз-

ни или хотя бы не противоречило ей; мало ли что мог написать Нестор, уже сам по себе представляющий некую безродную, мифическую личность, важно другое — насколько всеми последующими историками признается реальной и сама личность летописца, и его вымысел или легенда о «призвании», положенная в основу нашей крепостной славянской действительности, так что я развенчиваю не вымысел, нет, не легенду (что было бы занятием пустым и не нужным), а канонизированную академическими умами и вошедшую в плоть и кровь закономерность, будто мы, славяне, и в самом деле способны жить лишь в условиях чужеземного надзирательства, и закономерность эта как раз и служит оправданием нашего бессменного в столетиях престольного чужеродства.

XXXVII

Еще раз повторяю: я не верю в «призвание», ибо история не знает таких примеров, чтобы простой люд (как это изложено у Нестора), собравшись, добровольно наложил бы на себя ярмо чужеродного рабства; таких народов не было, нет и вряд ли они появятся (даже если деторождаемость будет заменена поголовным клонированием правителей и рабов); свобода — вот главная составляющая жизни как отдельного человека, так и народа, и не случайно именно ее в первую очередь властители отбирают у простолюдинских масс, а поскольку свято место пусто не бывает, оно тут же заполняется престольным (или государственным, если обобщеннее) насилием, то есть той «научной» будто бы подтасовкой, иначе ее не назовешь, в создании которой львиная доля вины ложится на историков и философов, извращающих и перевирающих все, что только можно извратить и перевернуть в нашем общественном, семейном и личном бытии. С помощью ученых мужей всех поколений, начиная от Древнего Царства, насильственное насаждение престольных чужеродств превращено в некое вполне обыденное, даже вроде бы добровольное дело, в некий естественный процесс, без которого не только национальная, но и общечеловеческая жизнь превратилась бы в хаос; «Так уж повелось», — говорят оплывшие «сытостью знаний» академические умы, что людские сообщества «призывают» к себе на княжение чужеродцев, которые будто бы по крови, по породе имеют право занимать престолы, и что славянское «призвание» есть всего лишь дань общемировой традиции, так что в явлении этом нечего искать чьих-либо злых умыслов. Облегченное восприятие такого судьбоносного для восточного славянства события, каким подается «призвание» (теперь никто не может с точностью сказать, из действительности ли оно преобразовалось в легенду или из легенды в действительность, что ближе к истине, и в чем, как это видится мне, как раз и проявилась вся виртуозная способность ученых мужей на фундаменте исторической правды возводить здание исторического правдоподобия), — облегченное восприятие «призвания», упорно внедряющееся (начиная с середины девятнадцатого столетия) в общественное сознание людей, нельзя воспринимать как отступление от жесточайшей (по обработке масс) тронной регламентации; государство, пройдя рюриковический этап правления и оставив его далеко позади, уже вроде бы не нуждалось в поддержании тронно-варяжской легитимности (династические отпрыски этих князей настолько плотно к тому времени обсели российский престол, что даже социальные бури двадцатого века не смогли разрушить их «богоизбранного» благополучия); подобно христианству (а это ведь тоже легенда, то есть реальность, состряпанная из легенды), обеспечившему себе бессмертие строительством церквей, монастырей, храмов, легенда о «призвании», положенная в русло просветительских знаний (ведь у нас любой учебник по истории начинается с изложения Несторовской легенды), обрела для себя мандат вечной живучести, так что каждое новое поколение русских людей, входящих в жизнь, входит в нее с сознанием некой своей славянской ущербности. Не знаю, не знаю, но мне кажется, что точно так же, как невозможно развенчать христианство во всемирном масштабе (хотя зловещая надуманность этого религиозного «учения» предельно ясна), невозможно или, вернее, почти невозможно развенчать задавившую

нас, кабально задавившую легенду о «призвании» (хотя совершенно очевидно, что народ никогда не согласился бы, если бы его спросили, хочет ли он терпеть чужеземство над собой, на заведомо унижительное рабство). В этой связи довольно странно выглядит позиция ученых мужей, которые в последнее время все более и более склоняются не к серьезному, а к облегченному толкованию этого превращенного в реальность судьбоносного для нас явления; наверное, в этом есть какая-то своя тронно-заданная хитрость, и заключена она в том, что облегченное толкование ведет, с одной стороны, к облегченному восприятию (что как раз и составляет основу дворцовой политики), а с другой — образует вокруг этой канонизированной в реальность легенды ту историческую туманность, сквозь которую мало кому удастся пробиться к истине. В сущности же, «призвание» — это клеймо, наложенное на народ; мы свыклись с этим клеймом и в повседневности вроде бы даже не ощущаем его на себе; призывали, не призывали Рюриковичей — какой вопрос, да и что толку рыться в прахе времен, когда что ни столетие, что ни десятилетие, то и новые беды, обрушивающиеся на нас, так что до размышлений ли о жизни, если все силы уходят на выживание; так или примерно так думают многие, полагая (по восприятию внушений), будто все, что происходило и происходит с нами и вокруг нас, естественно и правомерно и что жизнь (для нас — обусловленная бесправием) зависит не от каких-то там древних, положенных в основу человеческого бытия закономерностей, а лишь от текущей политики, проводимой теми или иными стоящими у власти вождями. Мы тяготимся престольным чужеродством, но ни разу за тысячелетия не задались вопросом, насколько оно легитимно и насколько нелегитимно на славянской земле и в какой мере унижительно для народа. Над нами висит «призвание» (в котором не участвовал да и не мог, как увидим ниже, участвовать народ), и сколько бы мы ни отгораживались от этого унижительного прошлого, оно торжествует уже в самом наличии престольного чужеродства, да и в поведении бесчисленных Рюриковичей, заполонивших Россию и, как и в прежние времена (хотя и с оглядкой на современность) позволяющих себе помыкать славянским людом. Иногда страшно подумать, в какое положение был поставлен народ одной лишь вымышленной и навязанной ему легендой о «призвании»; страшны, главное, не сама легенда (если бы она толковалась как легенда, а не канонизировалась в разряд исторической реальности) и не Нестор, которому приписывается славяноненавистничество (в конце концов он сделал то, что от него требовалось, и сделал настолько утонченно и образно, то есть настолько вроде бы приближенно к действительности, что ни у кого и сегодня не возникает сомнений относительно искренности летописца), а страшно то гигантское лукавство, с каким «патриотические» (академические) умы России, призванные сказать правду народу, не только не оглашают ее, но, напротив, делают все, чтобы она как можно дольше оставалась недоступной и народу, и входящим в науку молодым энтузиастам. Сдается мне, что, читая и перечитывая «Повесть временных лет», они, то есть ученые мужи, не то чтобы не видят, а не хотят видеть, что действительно изложено в ней и насколько это изложенное соответствует хотя бы даже элементарной логике жизни. Нестор не раскрывает механизма, каким образом народы (славяне новгородские, кривичи, чудь) участвовали в «призвании» Рюриковичей; он пишет только, что «сошлись» и начали толковать между собой: дескать, не поискать ли нам князя на стороне, чтобы «владел и правил нами и судил наши дела справедливо»? Если бы он обладал реальными фактами, а он обладал бы ими, если бы «призвание» было не вымышленным, а реальным эпизодом истории (еще раз должен заметить, что подобные судьбоносные свершения, как «призвание», надолго, если не на века сохраняются в памяти народов, и Нестор, хотя бы по слухам, не мог не знать о них), — да, если бы Нестор обладал реальными фактами, а не надуманной схемой действий, под которую надо было подбирать (подтасовывать) события, он не стал бы прибегать к совершенно нелепым (в сопоставлении с жизнью) обобщениям; есть вещи даже логически не исполнимые, не говоря уже о возможном их реальном воплощении, и к ним в первую очередь следует отнести странное утверждение Нестора, будто три

славянских народа — новгородцы, кривичи, чудь,— погрязшие в братоубийственных схватках, вдруг собираются на мирный сход (нереальный уже в том, что такого просто-напросто не могло быть в действительности) и выносят убийственное (самоубийственное) для себя решение. В лучшем случае пойти на такое могли разве что князья (старшины) со своими советниками (житыми мужиками, боярством), но тогда при чем тут народ? Однако Нестору для чего-то важно было (впрочем, известно для чего), чтобы в «призвании» был задействован народ, и при поверхностном чтении «Повести...» остается впечатление, что заданность эта вполне удалась летописцу; он не учел только того, что одного лишь голословного утверждения о кровавой славянской междоусобице недостаточно, ибо славянским народам, одержавшим победу над варягами, нечего было делить между собой, кроме завоеванной свободы, а она, как уже говорилось выше, неделима, и, следовательно, не было нужды ни в триедином сходе, ни в разговорах о «призвании». У князей же (старшин, житых мужиков) вполне мог быть повод для взаимных претензий (по дележу захваченных территорий или награбленных богатств), о котором Нестор либо не имел никакого представления (что весьма и весьма странно, поскольку подобные события не исчезают бесследно), либо понимал, что ссора князей — это не ссора народов и в данном случае лучше не упоминать о ней. Думаю, было бы куда достовернее, если бы в центр событий Нестор поставил не общий сход трех народов, а национальные (по типу новгородского вече) сходы, на которых каждый славянский анклав мог бы дать свой наказ князю, но в таком случае пришлось бы объяснять ту синхронность в принятии решения, то есть единогласие, с каким люди согласились добровольно принять на себя чужеземное рабство. Да ведь и сами сходы или вече — явление далеко не однозначное, если не сказать больше, ибо на подобных сборищах, как правило (как показывают и история, и современность), господствует мнение десятка житых мужиков с князем. Что обещали житые мужики и князья народам, чтобы склонить их к «призванию», мы не знаем; не знаем, какие аргументы приводили в пользу престольного чужеродства, но приводили же, если смогли заручиться (судя по Нестору) поддержкой масс.

XXXVIII

Центральным или вершинным эпизодом «призвания» (если таковое действительно имело место) должны были быть встреча и разговор славянских старшин с Рюриком и его братьями, и событие это, равное породнению только что враждовавших между собой народов, не могло не оставить яркого следа в истории. Славянские посланники (старшины трех славянских народов) наверняка должны были знать, что собой представляло княжество Рюрика, какими добродетелями был славен правитель, к которому шли бить челом, но Нестор словно бы нарочито игнорирует все эти подробности, как если бы среди славян уже тогда бытовало мнение, что и в житейских, и во всех остальных достоинствах чужеземцы непременно превосходят славян, и нужно ли тогда заострять внимание на этой «прописной истине»? Конечно, никто из толкователей «Повести временных лет» не задавался вопросом: почему летописец обошел стороной главный, стержневой эпизод «призвания»? Но ведь и мы сегодня то ли по глупости, то ли по традиции, задолго еще до Нестора заложенной в нас, смотрим на всякого чужестранца как на некое совершенство по сравнению с нашим простолюдным большинством, а когда наконец распознаем, что на самом деле представляет собой этот чужеземец и с какими целями решил благоустроиться среди нас, в утешение нам остается только горькое раскаяние, с каким и уносят нас затем на сельский или городской погост. Если Рюрик с братьями был приглашен по такому принципу, а Нестор тут не оставляет нам никаких сомнений, то все, что происходило с нами на протяжении тысячи лет (и что всеэпохально окрашено лишь горьким раскаянием), не должно вызывать у нас удивления; мы самонаградили себя котом в мешке, и хотя самонаграждение это не связано с народом (и вооб-

ще было ли оно или всего лишь является плодом иезуитских измышлений?), однако, думаю, не обошлось здесь и без нашего исконного ротозейства. Реализм Нестора — это реализм, шитый белыми нитками, которые сейчас же бросаются в глаза, как только начинаешь вчитываться в текст «Повести...», и тем невероятнее представляется то, что ученые мужи, вот уже какое столетие не выпускающие из рук это весьма и весьма сомнительное историческое свидетельство, не видят или не хотят видеть «белых ниток». Чтобы перенести на славянскую почву христианство (православную его ветвь), княгиня Ольга для ознакомления отправилась в Константинополь, и из описания ее визита, оставленного нам греками, мы узнаем, во-первых, с какими почестями принимали киевскую княгиню в императорском дворце и палатах церковного предстоятеля (в чем выразилось не столько желание Ольги приобщиться к христианской вере, сколько стремление Царьграда расширить свое духовное влияние за счет славянских земель), и, во-вторых, совершенно очевидными становятся исторические мотивы, побудившие Ольгу порвать с язычеством и принять, казалось бы, совершенно чуждую ей иноземную веру. Я не стану возвращаться к подробностям этого события, поскольку они детально изложены еще в первой книге повествования, но скажу лишь, что все реальное, каким бы образом оно ни излагалось, всегда остается реальным и так ли, иначе ли открывает путь к истине. Ольгу поразили два обстоятельства: роскошь дворцов, храмов и пышность религиозной обрядности, то есть предназначение веры как государствообразующей и государствоохранной основы, равной мандату на долгое и безоблачное троногосподство. Но что поразило славянских старшин в княжестве Рюрика (если, конечно, таковое существовало в действительности, а не являлось тем досужим вымыслом, с помощью которого, возвеличив пиратствовавшего варяга до княжеского значения, можно было оправдать очевидно унижительное для славян «призвание»), да, так что же поразило славянских посланников в заморской стране, куда они прибыли за князем, роскошь ли дворца (замка), в котором будущий основатель Киевской Руси принимал их: безукоризненный ли порядок жизни, говоривший об умении князя управлять государством, общенародное ли благополучие, на что в первую очередь послы должны были обратить внимание как на главное достоинство чужеземного правителя, под власть которого отдавали себя? Варяжский князь, десятилетиями собиравший дань с северных славян и проявивший всю свою жестокость в этом рэкетирском деле, — князь этот, чтобы снять с себя клеймо насильника (из волка превратиться в зайца), должен был приложить достаточное усилие, чтобы обезоружить послов в отягчавших еще их сомнениях и укрепить их в правильности принятого ими решения. По крайней мере ему надо было произвести на славянских старшин благоприятное впечатление (пусть хотя бы и бутафорское, каким было обставлено пребывание Ольги в Царьграде), и если судить по итогам визита («призвание» же состоялось, как сообщает Нестор), то тут не может быть двух мнений. Послы трех северных славянских племен вернулись из-за моря с хорошими известиями и, находясь под впечатлением оказанной им чести, вышли к народам (на вече), чтобы доложить об успехе. Можно представить, какими эмоциями могли сопровождаться их отчеты (народ на радостях всегда глуп и готов поверить во что угодно), и если Нестор обходит стороной этот ключевой момент «призвания», то это может означать лишь, что либо такового вообще не было (как не было и самого «призвания»), либо в данном конкретном случае народная память оказалась настолько дырявой (во что невозможно поверить), что в ней не осталось даже штриха о великом, судьбоносном явлении. «Повесть временных лет» вообще-то вызывает множество безответных вопросов; ведь если строго следовать тексту, то выходит, что славянские послы, поехавшие приглашать Рюрика, не встречались с ним; Нестор прямо пишет, что «чудь, новгородцы и кривичи сказали руси: «Земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет, придите княжить и владеть нами». В роли славянских послов, как видим, выступают народы (что уже само по себе неестественно и придает эпизоду некую даже странную условность), да и в роли прини-

мающей стороны отнюдь не Рюрик, а русь, то есть опять же народ, ибо русью, как тут же поясняет летописец, «назывались варяги, точно так же как другие звались шведами, иные норвежцами, англичанами, готами». Получается так, что три народа (три славянских анклава) приглашают в свою землю княжить четвертый, совершенно чуждый им народ. Но ни ученые мужи семнадцатого века, когда интерес к отечественной истории (особенно к творению Нестора) еще только начинал пробуждаться в определенных слоях общества, ни ученые мужи восемнадцатого, когда, казалось бы, уровень исторических исследований достиг своей высшей точки (ведь только через прошлое народы познают себя, свое настоящее и будущее), ни мужи девятнадцатого, когда ветры революционных перемен пробуждали общество к действию, ни столпы знаний двадцатого, когда история становится разменной монетой не только престольного, но и всякого иного наводнившего Русь чужеродства, — за все эти века ученые мужи ни на шаг не продвинулись в реалистической оценке нестеровского творения. Что же на самом деле хотел сказать монастырский летописец, подменяя посольский церемониал обращением народов к народу? Является ли это тайной или же всего лишь отпечатком времени? Нестор творил в условиях, когда Русь была уже достаточно наводнена не только варягами-воинами, то есть людьми служивыми, но и варягами-мирянами, селившимися по берегам рек и озер на раздольных славянских землях (преимущественно по обочинам известного нам «пути из варяг в греки»); кстати, из одного из таких варяжских поселений была привезена в Киев будущая княгиня Ольга, и не исключено, что знаменитая наша река, берущая начало на Валдае у родного села равноапостольской княгини, как раз и получила от нее свое величественное название. Но вернемся к Нестору и вновь зададимся вопросом: так что же заставило его прибегнуть к столь странному обобщению, то есть выйти за рамки реального, а по сути перечеркнуть самую основу («поищем себе князя») «призвания»? Можно, конечно, узреть в этом некую тронную заданность (вряд ли совместимую с действительностью), но можно взглянуть и с другой стороны, ибо не было в истории летописцев, которые не несли бы на себе (или в себе) печать своей эпохи, то есть не испытывали бы на себе давление самых разных, часто даже сиюминутных явлений или перипетий жизни. Постриженцы в монастырских кельях хотя вроде бы и вели затворническое существование, но через богомольцев-паломников, посещавших их обители, были более чем хорошо осведомлены о состоянии народного бытия; их занимали те же вопросы и проблемы, какие обсуждались в обществе, и одной из таких проблем, беспокоившей славянское большинство, являлась проблема варяжского засилия. Мало того что во всех городах на княжеских престолах восседали Рюриковичи, обратившие коренной люд в бесправных смердов, на лучших, да, можно сказать так, славянских землях возникали варяжские поселения, так что создавалось впечатление, будто на княжение приглашался не Рюрик с братьями, а «вся русь», то есть весь варяжский народ, и хотя Нестор, возможно, и не думал так, то есть не осознал этой истины, но именно она, эта истина, как печать времени проявилась в его творении. С его стороны это был бессознательный элемент реализма, и, как бы мы ни относились к нему, то есть к бессознательному проявлению реализма, он ставит Нестора в положение провидца, сумевшего не только предопределить тысячелетие варяжского ига (которое, кстати, с тем же размахом продолжается и сегодня), но и теоретически обосновать и оправдать его.

XXXIX

Из вышесказанного, думаю, можно сделать вполне объективный вывод, что, во-первых, никакого «призвания» Рюриковичей на российский престол не было (такое событие наверняка оставило бы след в народной памяти), и, во-вторых, легенда об этом событии, навязанная нам и канонизированная в реаль-

ность, точно так же не имеет ничего общего с той исторической действительностью, о которой повествуется в ней, а это означает, что правление Рюриковичей (продолжающееся, впрочем, и сегодня) нелегитимно, что его давно уже пора было развенчать и в историческом, и в сиюминутном плане, то есть дезавуировать терпимое нами чужеродное господство, и если на ком-то и лежит вина за сей всенародный обман, цепями тысячелетней кабалы обернувшийся для нас, то виноваты историки и философы, то есть академические светила, которые, держа в руках истину — летописное свидетельство Нестора, — так и не осмелились принародно огласить ее. Киево-печерский перволетописец изложил в своей «Повести...» то, что изложил, и вряд ли его можно упрекать в очевидных и даже вопиющих неточностях; так ли, иначе ли, но перед учеными мужами он всегда был и остается открытым со своими ошибками и пристрастиями, и если светила знаний не удосужились разобраться в них, то речь следует вести уже не о Несторовском творении, а о позиции ученых мужей по отношению к славянским простолудинским массам. Есть славяноненавистничество явное, ведущее идеологический отсчет от походов Карла Великого на Восток, и есть славяноненавистничество скрытое, или потайное, на протяжении столетий осуществлявшееся через престольное чужеродство, чужеродство вообще, давно уже паутинно сковавшее Россию, так что варяжское засилие — всего лишь цветочки в сравнении с плодами, какие приходится вкушать нынешнему поколению русских людей. Что заставляет простолудинские массы молча, столетиями сносить унижения, терпеть нищету, бесправие? Никто глубинно не брался объяснить это явление; народ пребывал и пребывает в безмолвии по своему историческому невежеству, в каком и сегодня продолжают удерживать его, выдавая чудовищное по замыслам и последствиям правдоподобие за истину и возводя в идеал жизни монашеское отречение от отца, матери, жены, детей, от всего земного, что делает человека человеком, народ народом и приносит удовлетворение; ученые мужи и правители молчат по своей враждебной чужеродности, то есть по своему патологическому неприятию славянской самобытности, славянства вообще, коему если и отведено место на Земле, то оно должно быть отгорожено всевозможными социальными, политическими, экономическими, духовными барьерами, как мир отверженных у подножья богоизбранных, единственно будто бы умеющих слышать Бога (своего Бога), говорить с Ним, получать от Него человеконенавистнические наставления и безоговорочно и безжалостно исполнять их (что и произошло всякий раз при захватах обетованных земель). Говорят, что жизнь сложна и что лишь единицам под силу разобраться в ней; однако если, очистив от наслоений веков, посмотреть на ее скелетную основу, то можно прийти к совершенно обратному выводу, что ничего сложного в ней нет, что она построена по одной рукотворной схеме, основанной на системе господства и рабства. Нам кажется или, вернее, нам внушают, что мы движемся к прогрессу и процветанию, тогда как на самом деле ступенька за ступенькой, да, именно ступенька за ступенькой, идем от господства локального (регионального, если по-современному) к господству всемирному, заманчиво и льстиво именуемому глобализацией, от рабства человека, рабства людских сообществ (сегодня в рабах у Соединенных Штатов Америки находятся не только государства, но и целые континенты, а им все мало, мало и мало) к рабству человечества, и, с одной стороны, странно, что люди, в массе своей представляющие могущественную силу, не могут понять этой простой, лежащей даже вроде бы на поверхности истины, а с другой — не могут избавиться, пройдя через века мучений, от самого банального своего ротозейства (поклонства смиреннию, доверчивости, добродравии, всепрощенчеству), возводимого часто самими же в абсолют некоего возвышенного человеческого достоинства (и это в мире хищнических отношений!). Зло творят правители, они же затем требуют покаяния от народов; формула сия бессмертна, как бессмертна жизнь, в которой одни барствуют, другие влачат жалкое существование, но неравенство это, вопиющее и неестественное для человеческого бытия, вложенное в ризы церковных канонов, сейчас же ли-

шается своего реального смысла, ибо все мы равны перед Богом, как издавна и настоятельно внушают нам, и хотя, кроме риторики, ничего не стоит за этой евангельской истиной (дворцы, храмы остаются дворцами и храмами, хижины — хижинами), но нимб святости, в какой заключено это божественное (якобы божественное) изречение, убивает в нас человеческое «я» и пропитывает страхом и безволием перед иконостасным ликом Творца. Мне кажется, что люди давно уже забыли, что такое настоящая жизнь; жизнь в условиях естественных прав человека, а не в рамках так называемого права на жительство, на гражданство, выдаваемого каждому по рождению, словно земля и в самом деле принадлежит не всем в равной доле, кто рождается и обитает на ней, а лишь тем, кто выдает эти загоняющие нас в клетку мандаты; да, человечество забыло, с чего оно начинало свой исторический путь, и только тяжелая и неизъяснимая ностальгия (ностальгия по временам «славных Гипербореев», о чем довольно пространно я уже писал выше), которая, передаваясь от поколения к поколению, живет в каждом из нас и побуждает к странному, да, может быть, именно странному миротолкованию или, сказать точнее, к переосмыслению всех из века в век закладывающихся в нас церковных и светских истин,— эта тяжелая и неизъяснимая ностальгия, сопровождающая личности, народы, человечество от зрелости до могилы, остается последней и единственной черточкой, связывающей нас с нашей природной заданностью. За всю свою жизнь я не встречал человека, который бы с той или иной долей точности мог сказать, что мир людских сообществ потерял, ступив на стезю хищнического устройства бытия и, соответственно, что приобрел, двигаясь (вот уже более двадцати тысячелетий) по этой фараоновской стезе господства и рабства; у нас нет целостного представления ни о прошлой (доклассовый период) жизни, ни о настоящей, полной фанфарной риторики о достижениях «прогресса и процветания» (уютно ли нам в этом рукотворно построенном мире или нет?), ни тем более о будущем, которое при всем ожидаемом благоденствии несмылаемо испещрено черными красками библейского апокалипсиса; да, да и еще раз да, у нас нет целостного представления ни о политическом, ни о социальном, ни об экономическом, ни о духовном, ни о культурном устройстве жизни, которое служило бы ориентиром общечеловеческого развития. Что касается государственности, то людские сообщества давно уже мечутся между двумя избранными или, вернее, избираемыми в веках идеалами: имперским и республиканским режимами власти (царства, королевства, герцогства, княжества и т. д.— лишь семена из одного стручка), и всякое желание преодолеть эти так называемые «идеалы» общественного устройства наталкивается на стену, сооруженную и подновляемую властителями всех эпох, сквозь которую еще не удавалось пройти ни одному даже самому бунтарски настроенному народу. Правители веками изобретали и продолжают изобретать законы жизни, выстилая будто бы ими дорогу к общему благу, однако проходят столетия, тысячелетия, а благо до сих пор даже не маячит на горизонте; налицо всеглобальный обман человечества, но, разучившиеся реально смотреть на мир и оценивать его, мы не замечаем этого обмана и ждем, ждем, ждем, что вот-вот, еще столетие, еще — и все изменится к лучшему; обман пробуждает надежду, надежда укрепляет веру в обман, и если никто в области технических наук так до сих пор не создал вечный двигатель, который бы, самозаводясь, обеспечивал непрерывность движения, то в мире духовных ценностей, то есть духовного порабощения, такой двигатель создан еще фараонами Египта и ни разу за все прожитые времена не давал сколько-нибудь существенного сбоя. Мир человечества я бы назвал миром обманутых надежд, ибо все, что создавалось для человека и ради его благополучия, все-все, включая религию, науку, армию, культуру, искусство, юриспруденцию, просвещение,— все служит против него, прикрываясь всеохватным щитом государственности, и нам кажется, что нет более естественного состояния жизни, чем окружающая нас действительность, а наши попытки изменить хоть что-либо к лучшему сводятся лишь к замене одного правителя другим, зачастую более безжалостным и жестоким по отношению к про-

столюдинским массам. Фактически жизнь наша лишена хоть какой-либо естественности, она строжайше регламентирована как во дворцах, храмах, так и в хижинном беспорядке; мы создали себе мир (разумеется, с подачи наших пьедестально-иконостасных кумиров-поводырей), в котором не то чтобы неудобно, но невозможно жить ни рядовому человеку, ни всему неохватному чиновничеству вплоть до главы государства, ибо все мы не просто лишены свободы действия (что изначально лежало в основе нашего бытия), но являемся заложниками своей собственной жизнеизошренности, я бы сказал, жизнеизвращенности и, путаясь в цепях светского и церковного рабства, не в силах даже сообразить, что можем освободиться от них.

XI

Трудно представить человека, который в преддверии небытия не задумался бы над прожитой жизнью и не пришел бы к выводу, что прожил ее не так, как хотел бы и мог (будь другие обстоятельства) прожить. Трагедия эта начинается с рождения сопровождать нас, и самое страшное и непоправимое в ней — бессилие или, вернее, беспомощность, с какой мы сталкиваемся, обставленные рамками политических, экономических, духовных (церковных) условностей; именно эта беспомощность перед устойчивой инерцией (традициями) бытия как раз и принуждает нас к смирению и покаянию. Сегодня в состоянии беспомощности пребывают уже не личности, а народы, занесенные в список вечных изгоев (главным образом за то, что не хотят поступиться своей самобытностью), а это уже трагедия совсем иного масштаба, которая вот-вот, как это представляется мне, перерастет в трагедию человечества. Однажды, оглянувшись на свое прошлое, людские сообщества вдруг увидят, что прожитые тысячелетия были не тысячелетиями жизни, а тысячелетиями страданий — не нужных, ничем не оправданных, кроме извечных и ненасытных тронных интересов, и этот печальный итог, возможно, как раз и будет тем библейским апокалипсисом, которому мы, ясно осознавая, что он грядет, не в силах пока что противопоставить что-либо столь же могущественное, что явилось бы реальной, а не бутафорской альтернативой устоявшемуся в веках хищническому миропорядку. Я не открою истины, если скажу, что жизнь большинства людей не совпадает с их представлениями о ней, и эта социальная вилка между тем, что есть, и тем, как все могло бы быть, возникшая, возможно, еще в преддверии Древнего Царства (преддверии фараоновского абсолютистского господства и фараоновского абсолютистского рабства), сопровождает нас вот уже более двухсот веков, но люди (я готов снова и снова повторять это), сознавая в глубине души (и каждый в отдельности, и народом в целом) противоестественность этого рукотворного явления, не предпринимали и не предпринимает ничего, чтобы остановить самоубийственный ход истории. Конечно, легче осудить человечество за его судьбоносные ошибки, от которых страдали и страдают все последующие поколения, и гораздо труднее понять и тем более объяснить столь неразумное поведение наших предков (будто мы не повторяем тех же ошибок, часто даже в еще более худшем варианте); наверное, несправедливо было бы сказать, что на протяжении веков никто не брался за объяснение этого самого противоречивого во всемирной истории явления, — нет, отчего же, брались же, основываясь, с одной стороны, на божественных (мифологических), а с другой — на научных толкованиях, но оба эти направления, занимающие и сегодня господствующее положение во всех историографиях мира (по крайней мере доступных для простолюдинского большинства), не только не привели к ожидаемому результату, но, напротив, лишь возвели из своих религиозных и научных канонов непроходимый «лабиринт знаний», позволяющий разве что блуждать вокруг простой и ясной истины и не находить ее. Изначально уже не получив самостоятельности (в нарождавшейся системе хищнического мироустройства), религиозные и светские мудрецы, может

быть, так и не осознавшие сути своего превращения, перешли от исследования злополучной «вилки» (тогда мир был еще в силах отказаться и от абсолютизма власти, и от абсолютизма рабства) к ее восхвалению, и первым объяснением или, вернее, оправданием этого пагубного для человечества социального и нравственного расслоения явилась так называемая теория рыночных (в примитивном, разумеется, толковании) отношений. Прежде всего легитимизировано было накопительство — сначала богатств, затем славы и власти (каким путем — это другой вопрос, по крайней мере не трудовым, ведь и сегодня пиратствовавшие предки нынешних фордов и рокфеллеров подаются в истории как герои, умевшие накопить — на крови, на чужой крови — первоначальные капиталы); самым простым способом обретения богатства стали нашествия, грабежи, войны (бей, круши народы, государства, и воздастся тебе историческим бессмертием); они же приносили славу и власть (тем, кто поводырствовал в них), и эта-то античеловечность, подогреваемая вышеназванными успехами, как раз и была положена в основу общественных отношений и устройства (хищнического устройства) общественного бытия. Ведь стремление к наживе и сегодня подается как некий политико-экономический и духовный стимул, некая бесценная инициатива, подвигающая мировое сообщество к прогрессу и процветанию, а отсюда и вывод, что люди, умеющие быстро и эффективно нажить капиталы (опять же, каким образом — ответ повисает в воздухе), есть благо для общества, ибо они и только они, эти инициативные люди, стимулируют движение; за богатством, выраженным в величии дворцов, храмов, всегда стояла власть, угнетающая и продолжающая угнетать народ, но она, то есть власть, преподносилась и преподносится в том же ореоле геройства (в рамках будто бы не угнетения, а служения народу), что в переводе на язык житейской правды означает, будто явление фараонов в Египте было явлением естественным и что именно абсолютистская власть послужила стимулом развития государственности как CENTROобразующей общественной системы (опять же, как жилось в ней фараонам и каково было рабам, остается как бы за кадром), стимулом зарождения и расцвета силовых, религиозных, научных, культурных, просветительских структур, являющихся и по сей день неотъемлемыми спутниками тронов. Без римских цезарей не было бы и самой средиземноморской империи, давшей миру пример беспощадного подавления и истребления народов, пример более масштабного (в сравнении с Древним Царством) рабства и более масштабного (близкого по значимости к мировому) господства; если бы не римские легионеры, прославившиеся истреблением коренных европейских народов и династическим насаждением (из своих обвешанных лапами стратегов и антистратегов) королевских дворов, Европа не ступила бы, как утверждают историки и философы, на стезю «цивилизации» и не заразилась бы вирусом насилия, закабаления и истребления себе подобных, то есть не имела бы той кровавой истории, какой обозначен ее тысячелетний путь. В католических соборах иконостасы ломаются от канонизированных в святые кумиров-поводырей; им, этим кумирам, воздается слава за некие богоугодные деяния, тогда как в тени этих иконостасов (но, может быть, в золотоотливном сиянии их) коренной люд влачит все то же жалкое существование, прощаясь с остатками своих национальных культур, прахом своей самобытности и свободы. Нам говорят, что у России есть свой путь развития и что не кто иной, как только русский народ, может преподнести урок благочестия мировому сообществу. Нет, господа «патриоты» (патриоты-provokatory), у России нет такого пути; он мог бы быть (судя по характеристикам, какие давались славянству Геродотом и Тацитом), но волна хищничества, поднятая и пущенная по свету фараонами Египта, захлестнула и нашу славянскую самобытность, и единственно, что можно констатировать здесь, что трагедия присредиземноморских и европейских народов, принявших господство и рабство, постигла и весь многочисленный славянский люд. Жизнь наша (хоть в прямом, хоть в образном выражении), как и жизнь большинства других народов, проходит в двух ипостасях: роскоши и нищеты (в пропорции один к девяти), дворцового барства и хи-

жинного убожества, почти божественной высокородности правителей и подложденности простолюдинских масс (смердов); история наша составлена таким образом, что мы должны боготворить Рюриковичей как «собирателей русских земель» и «основателей» нашей государственности (хотя на самом деле происходило, с одной стороны, разорение русских земель, а с другой — подавление нашей славянской, да, именно славянской государственности); должны благодарить Романовых за трехсотлетнее (равное татаро-монгольскому) иго, позволившее им до такой степени обескровить Россию царско-помещичьим барством и кормлением привечаемых иноземцев (иноземных «светил»), что коренному жителю уже не оставалось ни прав, ни места для жизни на родной земле; вожди пролетарской революции, кичившиеся своей народной идеологией, оказались на деле теми же Рюриковичами и Романовыми, которым, кроме своих интересов, не было ни до чего дела, как, впрочем, и нынешним реформаторам-демократам. Казалось бы, не только мы, славяне, но и простолюдины всего мира, терпящие страдания от своих кумиров-поводырей, должны были бы (хотя бы согласно простой житейской логике) возмутиться и сбросить с себя эту странно навязанную кабалу, но действительность говорит о другом: массы, способные безраздельно влиять на состояние (или формирование) общественных отношений и общественного бытия, вдруг проникаются бессилием перед горсткой людей (таких же, как и они сами), которые, облепившись золотосияющими коронами и одеяниями и обставившись еще более золотосияющими тронами и иконостасами (изначальные и до сих пор не утратившие магического воздействия атрибуты власти), позволяют себе самосудно казнить и миловать личности и народы; от чего возникает у простолюдинских масс бессилие, ни философская, ни историческая науки не объясняют этого (как не объясняет и Церковь, ссылающаяся во всем на промысел Божий), и не объясняют, видимо, потому, что, подвергнутое тронной обработке, боятся допустить прозрение масс; они, эти тронные и околотронные насильники, исходят из написанного, но твердо усвоенного ими тезиса, что знания для правителей — это главная опора власти, стержневая основа ее богоизбранности и что знание для народа — это путь к хаосу и разрушению; тезис сей давно и бесповоротно отнесен к разряду бессменных и бессмертных аксиом, и в развитии человечества нет столетия, когда бы он не применялся в полной мере и не ложился бы плодом процветания на стол дворцовой и плодом горя, нищеты и страданий на стол хижинной жизни. Правители, Церковь (в обобщенном толковании религий), а вместе с ними и ученые мужи, то есть клан академических столпов знаний, больше всего боятся, что рукотворно созданный ими мир (мир дворцового и храмового благоденствия) будет разрушен; переведя свое рукотворство в рамки естественного будто бы течения человеческого бытия (ведь на словах можно что угодно переименовать и объяснить), они усиленно стараются доказать, что с сохранением статус-кво люди, по сути дела, сохраняют целостность своего бытия и что всякое вмешательство в природно будто бы установившийся порядок вещей приведет к не предсказуемому по масштабам и жертвам всеохватному краху.

XLI

Жизнь есть движение, утверждают историки и философы; и не просто движение, а стремление к прогрессу и процветанию. В основе такого стремления лежит борьба противоположностей; есть борьба — есть движение, нет борьбы — воцаряется застой, равный смерти. Я не знаю, насколько аксиоматична эта формула по отношению к реалиям бытия, но что она позволяет с легкостью объяснить (и оправдывать!) все или почти все явления жизни, тут двух мнений быть не может; под формулировку подводятся любые возникавшие и продолжающиеся возникать военные, социальные, религиозные конфликты, хотя большинство из них вытекает не из «борьбы противоположностей», а из банальных

схваток за богатство, славу и власть; конфликты эти, иногда растягивающиеся на столетия и тысячелетия (династические разборки царей и противостояния втянутых в эти разборки народов), все же нельзя считать основополагающими или стержневыми по силе воздействия на развитие человечества, ибо они, несмотря на всю кажущуюся эпохальность, относятся к разряду локальных, то есть повременно вписывающихся и повременно затихающих взрывов на фоне общего исторического развития, тогда как, кроме них, существуют еще два явления, которые кардинально (при рукотворном бытии) вмешиваются в общую жизнь людей и оказывают на нее свое судьбоносное влияние. К таким явлениям следует отнести, во-первых, противостояние правителей и народа и, во-вторых, очевидное противоборство прогрессивных и консервативных сил, выступающих на арене исторических действий. Но если в противостоянии народа и власти все более или менее прояснено (дворцовое барство борется за свои привилегии, хижинная нищета — за восстановление своих попраных прав), то с прогрессом и консерватизмом (кто носитель передовых, а кто реакционных идей) все настолько запутано и пронизано ложью, что, возможно, потребуются века, чтобы установить истину. Мир направляется правителями, а потому и роль их в развитии человечества вроде бы предельно ясна; их главным изобретением была и остается система господства и рабства, в пределах (или рамках) которой варьируются, иначе не скажешь, именно варьируются режимы политического, экономического, социального и духовного подавления (закабаления) народных масс, и совершенно естественно, что народные массы, не всегда умевшие и умеющие разобраться в сути происходящего, но интуитивно угадывающие в навязываемых законах новое для себя кабальное ярмо (чем обычно и оборачиваются все царские и вождистские инициативы), часто осознанно, но часто и неосознанно выступают за сохранение своей национальной самобытности; иначе сказать, все прогрессивное (если вообще хищническое мироустройство можно назвать таким), достигнутое человечеством, исходит будто бы из «прозорливой» деятельности кумиров-поводырей (что и демонстрирует нам наглядно их пьедестально-иконостасное величие), тогда как на долю народа, отстаивающего свои жизненные права, остается лишь позиция «замшелого консерватизма». Так подавалась история в прошлом, так она подается и теперь, хотя одно дело — интерпретация действительности (какими бы соображениями это ни продиктовывалось), и совсем другое — действительность реальная, в которой, как ни извращай, то есть как ни «обогащай» ее своими научными и ненаучными домыслами, роли правителей и народа распределены совсем не так, как их трактуют столпы исторических и философских знаний. Они, эти столпы, исходят в своих оценках не из общего состояния (улучшения или ухудшения) человеческого бытия, а из близкого и привычного им дворцового благоденствия (дворцового барства), искренне, видимо, полагая, что оперируют всеохватным понятием, будто достижения в области наук, искусств, культуры, зодчества, развивавшиеся на базе дворцовых потребностей, в той же мере приложимы и к народному бытию. Обман этот хотя вроде бы и не велик, однако имеет огромное историческое значение, ибо расцвет дворцовой культуры, как ни странно, во все времена оборачивался упадком хижинного бытия. Культура дворцов, сколько бы ни старались объединить ее с духовной жизнью простолюдинов, была и остается принадлежностью дворцов и храмов, и роль ее — улаживание царствующих особ — как раз и заключена в этом неизменно-тронном служении, тогда как культура народной жизни, развивавшаяся в условиях нищеты и бесправия, выглядит и сегодня скорее застойной, чем развивающейся; она как бы остановилась на уровне тех творческих накоплений, какие удалось сохранить еще с идиллических — «славные Гипербореи» — времен, когда удовлетворенность жизнью стимулировала и духовное развитие, то есть подталкивала людей к творческим проявлениям. Однако нынешнему простому человеку давно уже не до творческих проявлений, ибо он весь поглощен кабальными условиями бытия; он консерватор, но не по отношению к устоявшемуся порядку вещей (в чем вернее было бы упрекнуть вьющуюся во-

круг тронов так называемую высокоинтеллектуальную элиту), был и остается ностальгически заражен своим далеким (чудовищно далеким, но ясно сохранившимся в нем) идиллическим прошлым, и если жизнь «славных Гипербореев» можно отнести к «замшелому консерватизму», то в таком случае магнатам исторических и философских знаний впору, собравшись за праздничным столом, отмечать торжество своей правды. Нет, господа магнаты исторических и философских знаний, торжествовать рано, ибо, во-первых, правда заключена в реалиях бытия, а не в досужих или, скажем, правдоподобных вымыслах, и, во-вторых, время пока еще только расчищает подходы к ней, а суета и ускорение редко когда приводили человечество к искомому результату. Я вообще полагаю, что слово «прогресс» ни с какой стороны (и ни в каких столетиях) не приложимо к властителям-поводырям; действия их скорее можно назвать регрессивными относительно «обновления» устоев бытия, регрессивными уже потому, что отказ от естественных закономерностей (от естественных прав человека на жизнь) и переход на стезю рукотворного строительства (переход от свободного развития к узаконенным, а по существу, рабским — для простолюдинского большинства — ограничениям) уже сам по себе разрушает заложенную природой гармонию и открывает широчайшие возможности манипулирования судьбами личностей, народов, государств. С чего начинали правители, вступая на путь своего исторического развития? С уничтожения мешавшего им вернуться к идиллического (в самых различных вариантах национальной самобытности) устройства жизни; процесс этот, далеко не скоротечный и не мирный, хотя и остается все еще не исследованным, однако есть бесспорные доказательства того, что он сопровождался большой кровью; идиллическое бытие заменялось хищничеством, фараоны мечом и огнем расчищали простор для внедрения (навязывания народам) своего новшества, обернувшегося для человечества системой господства и рабства, но историки и философы извлекают из этого явления лишь понятие «новшество», оставляя позади, то есть как бы не замечая, всю социальную подоплеку этого детища фараонов, и, основываясь на этом оскопленном изъятии, выносят свой основополагающий (первый на стезе предвзятостей, ошибок и измышлений) вердикт о прогрессивной роли правителей. Формулировку эту они подтверждают тем, что, дескать, именно во времена фараонов наука, культура, искусство, зодчество достигают высочайшего расцвета (о чем говорит, к примеру, величие пирамид), забывая при этом уточнить, что речь в данном случае может идти лишь о дворцовой, а не о народной жизни. Между тем учеными мужами уже новейших времен замечена одна странная вроде бы закономерность, сопровождающая (во все времена) тоталитарные режимы; чем выше абсолютизм власти, тем больше возможностей у этой власти сосредоточивать во дворцах материальные и творческие ресурсы и тем величественнее, скажем так, предстает духовная жизнь дворцовых обитателей. Так было во времена Древнего Царства, в эпоху древнегреческой и Римской империй, европейских королевских дворов; так было у нас и при Рюриковичах, и при Романовых, и при вождах «победившего пролетариата», и, может быть, в еще более обостренной форме проявляется теперь, при демократах, когда на фоне народного обеднения (ограбления), на фоне простолюдинской нищеты, страданий и голода православные иерархи с судорожной поспешностью восстанавливают и золотят храмы, монастыри, церкви, часовни (будто золотоотливные купола и иконостасы и в самом деле могут обогреть и накормить народ своим боговознесенным символизмом), и когда правители, чтобы не отстать от иерархов, с той же судорожной торопливостью приняли золотообливать свои кремлевские дворцы и палаты (главное, чтобы было чем удивить закордонных наезжих учителей). Да, дворцовая культура Древнего Египта (как, впрочем, и Древней Греции, и Рима, и европейских королевских дворов) поражает своим великолепием, но что дала эта культура, эта цивилизация, как ее называют ученые мужи, народу, принесла ли удовлетворение, облегчила ли страдания простолюдинских масс? Иерархи от исторических и философских знаний старательно обходят этот вопрос молчанием;

они говорят о цивилизации как о достижении человечества, в то время как человечество, то есть та основная масса людей, у которых было и остается отобранным самое главное — естественное право на жизнь,— человечество (в лице его простолюдного большинства) не то чтобы столетиями, но тысячелетиями не подпустилось к этим восхваляемым благам цивилизации. Правители обеспечили себе историческое бессмертие в пирамидах, склепах, гробницах, пьедесталах и иконостасах, мир буквально утыкан этими величественными и невеличественными памятниками, они смотрят на нас, как молчаливые и холодные надзиратели, как стражи той рукотворной жизни, какую создали для нас и за которую мы должны всемерно благодарить их; и благодарим — частью от страха перед властями предержажими, частью от исторического невежества, готовые пресмыкаться перед племенем (кланом) прогрессистов, отобравших у нас все, что только можно отобрать, поименовав этот грабеж движением к прогрессу и процветанию и канонизировав его в некую неизменную святость, предреченную Творцом.

XLII

У каждого исторического явления есть начало, вершина и продолжение. Если правители на первом этапе становления и развития общественных отношений (Древнее Царство, фараоновский Египет, древнегреческая и Римская империи), подавляя идиллическое бытие народов и насаждая на захваченных обетованных землях хищническое мироустройство, могли (хотя бы внешне) выглядеть в глазах историков и философов некими прогрессистами (ломать старое и созидать новое, чем не прогресс!), то на втором этапе, когда цезарский Рим, направив свои железные легионы и когорты на Европу, подавил всякую самостоятельность в ней, иначе говоря, когда процесс насаждения хищнического миропорядка стал очевидно необратимым, иерархи от светской и духовной власти настолько изменили тронную политику, что не только по сути, но и по внешней видимости деяний уже не могли называться прогрессистами; от разорения идиллического бытия, то есть расчистки исторического пространства для своих нововведений, они перешли к жесткой и бескомпромиссной защите своего фараоновского детища, и странно, что эта их явная хамелеонность осталась не замеченной (как бы не замеченной) мужами науки. Все, да, поголовно все пьедестально-иконостасные кумиры-поводыри, непролазным частоколом (от начала веков) обступившие народы, безудержно прославляются и сегодня как непревзойденные наставники и учителя человечества, и если бы их начинания улучшали жизнь простолюдного большинства или хотя бы заметно продвигали мир к его заветной цели — всеобщему благоденствию — это одно, и совсем другое — то, что происходит на самом деле. Изничтожая идиллическое бытие, правители, по сути дела, подготавливали народ к рабству; встав затем на защиту созданного ими детища, они без колебаний взяли на себя роль охранителей рабства; так что деяния их и на первом, и на втором этапах развития не только нельзя называть (даже обложившись условностями) прогрессивными, но, напротив, они несли регресс, то есть страдания, нищету, бесправие народам, и вывод из этого исторического явления напрашивается только один: поклоняясь пьедестально-иконостасным поводьям, мы поклоняемся вселенским рэкетирам и киллерам, обокравшим и продолжающим обкрадывать (в международном масштабе) великое, добронравное и доверчивое простолюдное большинство. Нам трудно поверить, что человечество, некогда отторгнутое от естественных норм бытия, было поставлено на рукотворный и совершенно неприемлемый ему круг жизни и вращается на нем, полагая, будто движется к прогрессу и процветанию; наверное, надо было действительно обладать недюжинной мудростью, чтобы, выделив эти два понятия — прогресс и процветание — и наполнив их до предела ложной значимостью (в виде грядущего общего блага), факельно

(призывно) осветить этим обнадеживающим жупелом путь простолюдинским массам в золотоискрающийся капкан рабства. Обман, если разобраться, до предела прост, но, может быть, именно по этой простоте своей (ведь мы привыкли только в сложностях открывать истину) до сих пор остается неразгаданным. В основе этого обмана лежит самая банальная схема логических связей или построений, вытекающих из формулы «жизнь — движение, застой — смерть», и она, сия канонизированная наукой формула, является одновременно и шитом, и оправданием любых рукотворных деяний (злодеяний) правителей; потому и верим в прогресс и отвергаем саму мысль о возможном застое. Случаются, разумеется, откаты назад, но они, во-первых, носят краткосрочный характер (в конце концов что такое столетие в сравнении с вечностью?) и, во-вторых, воспринимаются как исключения, лишь подтверждающие правила, и соответственно с этой вбитой в наше сознание «аксиомой жизни» как раз и выстраивается наше научное и церковное мировоззрение. Ученые мужи, если реалистически посмотреть на их прямо-таки подвижнические деяния, поставили исторический процесс развития человечества с ног на голову, но, как свидетельствуют факты истории, мы не замечаем этого; не замечаем потому, что беспредельно верим в поступательное движение жизни, представленное в исторических и философских трудах закономерной будто бы сменой формаций (родовой, общинный строй, рабовладельческий, феодальный, буржуазный, капиталистический, социалистический, коммунистический, демократический, плавно переходящий в глобализацию, то есть в мировое господство, во всей полноте этого понятия); но ведь смена формаций — это своего рода условность, не приближающая, а лишь отдаляющая нас от истины и открывающая простор для инсинуаций, и, думаю, ученые мужи здесь еще более лукавят, растворяя вселенский обман в обманах локального порядка, ибо ни одна из вышеназванных формаций не только не упразднила, но и не затронула фараоновскую систему господства и рабства, а все вместе они лишь совершенствовали и укрепляли ее. В истории развития человечества, насколько известно мне, был только один крутой перелом в жизни людских сообществ — классовое расслоение; оно, это расслоение, не просто разделило человечество на две противостоящие друг другу системы бытия (со стержнем миролюбия и добронравия и стержнем хищничества), но разожгло тот костер вражды, насилия, разорения, который, прополыхав тысячелетия, продолжает полыхать и сегодня, обращая в прах личности, народы и государства. То, чем жило человечество до классового расслоения, представляет собой свой монолит, давно и основательно забытый нами и лишь время от времени отрезвляющий нас ностальгической болью; то, что сообразовалось в рукотворную закономерность с расслоением людей на классы, представляет монолит нашей жизни, и я глубоко убежден, что, несмотря на тысячелетия, отдаляющие нас от времен Древнего Царства (от времен пирамид, древнегреческой и Римской империй), мы живем по законам, сформулированным, как ни странно прозвучит это, еще в эпоху абсолютистского господства и абсолютистского рабства, нами правят те же фараоны, наряженные в маски народных благодетелей, а мы пребываем в том же рабском бесправии, в каком жили древние египтяне, и дело не в том, сможем или не сможем мы признать это, а в реальности, которая, пройдя через сито веков (через так называемую смену формаций), остается все той же угнетающей и угнетающей нас действительностью. От начала классового расслоения прошло более пятисот столетий (цифра может удвоиться, утроиться, даже удесяттериться), и все эти страдальчески прожитые человечеством столетия и тысячелетия как раз и представляют собой противоположенный и далеко еще не завершенный макет (монолит) хищнического мироустройства. Мы можем только догадываться, на чем основывались мировосприятие и миротолкование в доклассовом обществе; полностью ли господствовал реализм или пробивались уже зачатки символизма, дававшие обобщенное представление о гармонии природных и социальных явлений современного им мира, историческая наука не располагает такими свидетельствами; по крайней мере ясно пока лишь одно, что

понимание гармонии воплощалось в идиллических устоях жизни и что далеким нашим предкам не было нужды выстраивать некую богопредначертанную или научно обоснованную концепцию исторического развития; не омраченная господством и рабством действительность и ее реалистическое восприятие позволяли людям того времени в полной мере ощущать гармонию жизни, что и ложилось в основу их мировоззрения. Хищническое же мироустройство, силой насаждавшееся на захваченных обетованных землях и оплаченное человечеством, может быть, самой большой кровью, — хищническое мироустройство уже в силу своей тронной заданности должно было разрушить, и разрушило, природную (естественную) гармонию бытия; с одной стороны, мир был ввергнут в хаос войн, нашествий, порабощений, и это кровавое вторжение в спокойную, созидательную жизнь людских сообществ надо было теоретически, то есть мировоззренчески, оправдать, а с другой — оправдание требовалось и духовному насилию, какому подвергалось уже порабощенное простолюдинское большинство. В доклассовой истории человечества не существовало понятий господства и рабства; они явились вместе с явлением фараонов и, став очевидной и важной для тронов гарантией дворцового благополучия, должны были так ли, иначе ли обрести историческую легитимность, и для этого надо было упразднить прежний и внедрить новый взгляд на историческое и текущее бытие, то есть, проще говоря, религиозно и научно обосновать закономерность господства и рабства как некую природную будто бы данность или заданность, неподвластную человеческому воздействию. Мы полагаем и полагаем, что могущество народов и государств всегда находилось в прямой зависимости от наличия войск и качества вооружений, и нам не приходило в голову, что любые войны, локальные или мировые, кроваво обозначившие собой двадцатое столетие нашей эры, решали и продолжают решать только второстепенные или скорее побочные проблемы жизни (как и революции, и гражданские противоборства) и что ни благополучие тронов, ни тем более благополучие простолюдинского большинства никогда не зависело, как не зависит и сегодня, от этих самоубийственных деяний, направленных лишь на физическое уничтожение личностей, народов, государств; система же, в которой все это происходит — система господства и рабства, — остается незыблемой; она, с одной стороны, возбуждает весь этот хаос, а с другой — обладает иммунитетом против него, и живучесть ее основывается на жестко сформулированном и внедренном в наше сознание хищническом мировоззрении. Я вновь и вновь продолжаю удивляться мудрости древнейших поводырей жизни, которые настолько тщательно продумали базовую основу предложенной ими хищнической системы бытия, что за двести с лишним веков она только совершенствовалась, но не изменялась в своей стержневой заданности; незыблемость и долголетие тронов они видели не только в силовом (экономическом, духовном) подавлении масс, но, как мы бы сказали теперь, зрили в корень явления и параллельно с наращиванием военного потенциала начали плести паутину духовного порабощения, которая, оставаясь вроде бы незримой или, вернее, наглухо прикрытой научной и религиозной риторикой, оказывала и продолжает оказывать столь же невидимое, во всяком случае, для простолюдинского большинства, воздействие на стагнационные процессы жизни.

XLIII

Мир един, но человечество, разбившись на классы, раскололо и целостное представление о нем. В то время как идиллические устои бытия кроваво подменялись хищничеством, реальное видение исторического процесса жизни подменялось тронно и религиозно разработанными представлениями о нем, в которых одни люди (фараоновские державники) навечно закрепляли за собой статус богоизбранных властителей, тогда как другим, простолюдинскому большинству, отводился пожизненный статус рабов; это была не просто замена одного миро-

порядка, идиллического, как я уже говорил, другим, хищническим, не просто борьба за право на самобытное развитие натравленных друг на друга народов (властители тогда только начинали торить стезю к мировому господству), но борьба двух мировоззренческих начал: построенного на реальном восприятии бытия и построенного на вымыслах, то есть на правдоподобной подделке, старательно выдаваемой за реальность, и каким бы печальным ни выглядел сегодня итог этой борьбы (хищничество торжествует, идиллические устои опорочены, загнаны в небытие), думаю, история человечества на этом не завершена и простолюдинское большинство еще не сказало своего последнего слова. В доклассовом обществе мировоззрение прогрессировало вместе с тем, как прогрессировала жизнь народов; реальная, то есть естественная, гармония жизни, в которой царили миролюбие, справедливость и основательность, не нуждалась в каких-либо подтасовках и оправданиях, ибо из реальной действительности вытекало и реальное мировоззрение; система господства и рабства, внесенная фараонами (но, возможно, даже не ими, а некими предшественниками, которых они, желая быть первыми, истребили и предали забвению), уже в силу своей тронной заданности не могла предстать обнаженной перед народами, ей нужно было обрести некую свою идеологическую одежду, то есть создать совершенно иное представление о мироздании, которое, заслонив действительность, производило бы впечатление реальности (я уже говорил здесь, что правдоподобие часто воспринимается куда выше, чем правда) и, поставленное вроде бы на службу народам, бессрочно и верно служило тронам. Мировоззрение людей в доклассовом обществе не требовало ни разъяснений, ни защиты, его не нужно было никому навязывать или, скажем, убеждать в безусловной разумности; вносимое же фараонами мировоззрение именно в силу своей вымышленности нуждалось в разъяснениях и защите, ибо заложенная в нем античеловечность, как и всякая иная ложь, подаваемая на стол общественной жизни, если она не снабжена правдоподобием, могла вызвать только неприязнь и отторжение. Правители и церковники обвиняют народ в консерватизме, тогда как себя венчают «первопроводниками цивилизации» (да мы и сейчас называем их так), хотя они, эти «первопроводники цивилизации», заботились и заботятся лишь о своем процветании и всеми доступными способами тормозят развитие простолюдинского большинства. Возможно, именно с тех давних времен у властителей сложилось убеждение, будто народ, когда в очередной раз ломают его устоявшееся бытие, не в силах понять ни своей, ни общей пользы от навязываемых реформ и надо долго и упорно разъяснять ему грядущую выгоду. Тут невольно возникает вопрос: разве то, что хорошо, требует разъяснения, или же благо всегда есть благо, и никто добровольно от него не отказывался, а главное, оно понятно, и его не надо никому разъяснять? Я понимаю, что рассуждениями этими не открываю никакой истины, вернее, вроде бы не открываю, хотя на самом деле все обстоит далеко не так, ибо речь идет не об исторических фактах, а об устоявшихся научных и церковных взглядах на эти факты, о том, что в них превозносится и возвеличивается (в ущерб правде), а что порочится, унижается и замалчивается (в защиту тронно-заданного правдоподобия), а это уже совсем другой разговор. Я пытаюсь развенчать веками культивировавшуюся ложь о правителях как о прогрессистах и ложь о народах, простолюдинских массах как о замшелых будто бы консерваторах, стоящих на пути прогресса, ибо ложь сия, подающаяся нам в качестве абсолютной истины, наглухо отгораживает нас от реального восприятия и толкования бытия. На самом же деле не правители, а народ, настальгирующий по идиллическому бытию, то есть во все времена отстаивавший и продолжающий отстаивать права на справедливость и основательность жизни, является носителем прогрессивных начал, а правители, насаждавшие и продолжающие насаждать хищничество, напротив, только стагнируют свое чудовищное рукотворство, загнав человечество в беличье колесо и выдавая бег в нем за движение к прогрессу и процветанию; мировоззрение хищничества — это тщательно продуманный и наряженный в определенные символические (бутафорские) одежды

обман, в который вовлечено (за тысячелетия внушений) мировое сообщество, и хотя сей обман очевиден, прост и понятен, однако поставлен под такую политическую, экономическую и нравственную (научную, церковную и просветительскую) охрану, что люди веками не могут подступиться к нему, чтобы раскрыть тайну. Думаю, нет нужды вдаваться здесь в подробности, каким образом властителям вкупе со своими элитными окружениями удалось создать и фундаментально навязать мировому сообществу это ложное, состряпанное на правдоподобии, то есть на вымыслах, а не на фактах истории, мировоззрение, ибо они более чем известны, поскольку мы ежедневно сталкиваемся с ними и страдаем от них, ругая при этом правителей и возлагая на них вину за свое бесправное, униженное бытие, словно они, а не фараоновская основа жизни, именуемая «цветущей цивилизацией», но на деле представляющая собой лишь улучшенный (в смысле замены простого ярма на сусально позолоченное) вариант все того же (известного как «заря человечества») абсолютистского господства и рабства, современно защищенного сводами древнегреческих и римских рукотворных закономерностей, активизирующих деяния правителей и стагнирующих бесправие и бездеятельность масс. Фундаментальной основой хищнического мироустройства, сколько ни истолковывай его, следует, наверное, признать легенду о сотворении мира (разумеется, в добиблейском, оракульском варианте), и уже одно это, что Земля и жизнь на ней явились не в результате миллиарднолетнего эволюционного процесса развития, а по воле Творца, знавшего, что и для чего он создает этот испытательный полигон славы и бесславия, полигон искушения богатством и властью и очищения через страдания,— уже одно это, ставившее человека в зависимость от некоей неведомой высшей силы, равно обладающей как милосердием, так и жестокостью (по сути дела, стержневая основа системы господства и рабства), да, одно уже это, провозглашенное незыблемостью жизни и положенное в основу тронных деяний измышление, открывает простор для любых поводырских злодеяний и теоретического оправдания их. На основе этой легенды, вошедшей в перечень библейских канонов и тем еще более укрепившей свое «реалистическое» (я не случайно беру это слово в кавычки) значение, выстраивались все, начиная с оракульских предсказаний, религиозные учения, включая и язычество, и христианство, и мусульманство; в совокупном представлении этих учений мир предстает строго регламентированным в своей иерархической подчиненности (или соподчиненности) общественным образованием — «Царствием Божьим»,— структура которого наиболее полно воплощена в пирамидах Египта. В простолюдинской среде их принято считать величайшими усыпальницами фараонов (на что и наука, и церковь смотрят сквозь пальцы), в то время как они представляют собой зашифрованную формулу жизни, на вершине которой восседает высшая власть, а в основании, то есть у подножия, трудится народ, кормящий плодами своего труда и власть, и всех тех посредников, расположившихся между народом и властью, через которых коронованные особы оказывают давление на народ и притесняют его; густотой посредников определяется доступность или недоступность к тронам, и оно же, то есть высокородное посредничество, является извечным носителем, хранителем и распространителем хищнического (тронно-хищнического) мировоззрения. Недалеко от религиозных трактовок мироздания ушла и наука, всегда служившая и продолжающая во всех своих ипостасях служить тронам (я имею в виду не только историческую и философскую, но, конечно же, в первую очередь их); именно ученые мужи создали (своими будто бы объективными изысканиями) то ложное представление об историческом процессе человеческого развития, которое, став чуть ли не стержневой основой хищнического мировоззрения, до сих пор водит простолюдинское большинство по неким «лабиринтам знаний», прокладывая будто бы путь к истине, но всякий раз выходя на ту же стезю лжи и обмана, на которой, и они хорошо знают это, лежат приготовленные для них тронами лавровые венки славы и величия. Из-под пера ученых мужей даже и сегодня выходят героизированные национальные и героизированная всемирная исто-

рии, а это означает, что они признают (да и научно канонизируют) ведущую, то есть прогрессивную, роль всех прежних и нынешних иконостасно-пьедестальных кумиров-поводырей, хотя действительная история человечества (да и наша ужасающая современность) не только не дает повод для героизации (библейский трафарет в этом вопросе, думаю, давно уже потерял свое довлеющее значение), но, напротив, испещрена бессмысленными кровавыми войнами, нашествиями, разорениями, тронным, и не только тронным, вандализмом и целенаправленным истреблением народов и государств. Такое видение бытия, когда закабаление и убиение людей (только ради обогащения и расширения тронной власти) объявляется «движением к прогрессу и процветанию» и «величайшими успехами цивилизации» уже по объему нагроможденной лжи следовало бы считать не просто преступлением, а преступлением против человечества, однако (и факт этот неоспорим) никто за всю историю «цивилизации» не понес никакого наказания (что уже само по себе противоестественно и вызывает массу вопросов), в то время как за малейшую попытку разоблачения этой нагроможденной лжи людей травили, вешали, сажали на кол, распинали на крестах и испепеляли на кострах инквизиции. Жестокость эта равно оправдывалась как Церковью, так и академическими авторитетами, и, думаю, тут срабатывал тот самый механизм защиты хищнического восприятия и толкования жизни, то есть та мировоззренческая агрессивность, частью которой были и безгрешная, святоположенная Церковь и еще более безгрешная будто бы и канонизированная в непрекаемый аксиомализм Наука.

XLIV

Правители Древнего Египта и следующие за ними поколения фараоновских державников, вышедшие с берегов Нила на поиски и захват обетованных земель, были, видимо, столь неизлечимо заражены властолюбием, что не могли остановиться в наращении своего могущества; провозглашенная церковниками и научно обоснованная их богоизбранность (власть вечна, троны нерушимы, царствующие династии породнены — если и не кровными, то, во всяком случае, пьедестально-иконостасными связями), — да, провозглашенная (тогда еще только на словах) богоизбранность должна была подтвердиться, во-первых, божественным или хотя бы полубожественным образом жизни (в противовес хижинной нищете, что и вылилось затем в понятие «дворцовое барство»), во-вторых, проявлением всеобщего покорства и низкопоклонства (что, став нормой государственной жизни, процветает и по сей день на всех уровнях высшей и чиновничьей власти) и, в-третьих, установлением таких законов, которые, ублажая слух простолюдинских масс, безотказно служили бы тронам (что в итоге и привело к абсолютистской безнаказанности власти). Мне кажется, чтобы управлять народом, вникая в его нужды, и на деле, а не на словах стремиться к достижению общего блага, вовсе не обязательно восседать на цельнолитом золотом троне, носить на голове золотую корону с вкрапленными в нее драгоценными камнями, держать в руках скипетр — символ власти и сиять в золотоискрящемся тронном зале золототканым царским одеянием, — да и еще раз да, чтобы по справедливости управлять народом, нет нужды обволакиваться ослепительно-изошренной роскошью, обычно вызывающей лишь робость в народе, но не облегчающей его бесправное существование; мы видим и понимаем все это, однако тысячелетиями сопровождающий нас обман, обращенный в норму жизни, настолько вошел в плоть и кровь повседневного бытия, что ни у кого уже не возникает сомнений в правомерности этой чудовищной несправедливости. Время же, отпущенное народам для прозрения, не безгранично, и все чаще и чаще в простолюдинских массах звучит гамлетовское «быть или не быть?». Ответ на этот вопрос, как подсказывает историческая и текущая действительность, лежит в двух областях действий: революционном возмущении масс, нацеленных на

смену диктаторов и их тоталитарных режимов (безумство, не приводящее ни к чему, кроме обильного и бессмысленного кровопролития), и на глубокой осознанности действий, основанных на познании естественных и рукотворных закономерностей бытия, когда народы через истинное просветительство поймут, на каких корнях выросло и укрепилось хищническое мироустройство, и признают прожитые в страданиях тысячелетия тронно-церковным насилием над здравомыслием людей; если человечество вновь решится пойти по проторенной дороге бунтов и революций, оно лишь понапрасну затратит усилия и время и вернется к тому, с чего начинало движение — торжеству господства и рабства; второй же вариант, предполагающий прежде всего разоблачение хищнического (фараоновского) мировоззрения, то есть символического (в противовес реализму) мировосприятия и миротолкования, способных лишь уводить людей в область несбыточных обещаний и иллюзорных надежд, — второй вариант, которого более всего опасались и опасаются фараоновские державники и который обычно приглушается в зародыше, мог бы принести человечеству так нужное ему и долгожданное освобождение. Как видим (и это вопреки всем нашим устоявшимся трафаретам), не от силовых противоборств народов и царей, завершающихся, как правило, привычным уже нам торжеством господства и рабства, но от противоборств мировоззрений (хищнического и идиллического), реально, то есть правомерно и неправомечно, претендующих на абсолютную истину в познании мироздания (хищничество добивается легитимности всех своих хищнических начал, утверждающих безграничность и божественность тронной власти, сторонники погранных идиллических устоев выступают за восстановление естественных прав человека, то есть справедливости и основательности жизни), зависит состояние мира; и если кто-либо полагает, что борьба вышеназванных мировоззрений завершена и что в мире господствует только хищническое восприятие и толкование бытия, то глубоко ошибается, ибо, пока существуют дворцовое барство и хижинная нищета, то есть это противное человеческому естеству явление, будут существовать и противоборствовать и лежащие по обе стороны раздвигательной черты соответствующие мировоззрения. От того, как мы видим и понимаем мир человеческого бытия, бытия вообще, всегда зависело и будет зависеть наше настоящее и грядущее; это — аксиома жизни, которую открыли и усвоили (применительно к своим тронным целям) еще добиблейские правители Египта, и с тех древних, да, именно древних времен ни за какие бунтарства так не наказывали, как за попытку подорвать (то есть раскрыть главный обман жизни и обнародовать его) идеологические, мировоззренческие основы хищнического бытия. Более всего кумиры-поводыри боялись и боятся такого разоблачения, ибо власть их не столько заключена в золотоискрящихся дворцах, коронах и золототканых царских одеяниях (дворцы и одежды стареют и заменяются новыми, еще более впечатляющими и внушающими робость простолюдинским массам), сколько в обожествленной легитимности тронов, в том рукотворно-хищническом или хищническо-рукотворном миропорядке — вечно господство, вечно рабство, — в котором, как это кажется нам, вернее, тысячелетиями навязывалось и навязывается человечеству, все-все до мелочей учтено и сгармонировано в системе дворцового мировоззрения. Если говорить откровенно, ни наши предки, ни мы, простолюдины просвещенного века, не живем той естественной жизнью, которая (хоть по замыслу природы, хоть по замыслу Творца) должна приносить радость и удовлетворение, но, обставившись белоколонными дворцами и златоглавыми храмами, лишь влачим жалкое существование на фоне этих окружающих нас богатств, робея — да, еще и еще раз готов повторить это — перед их монументальной величиестью. Правители торжествуют, ибо славно «потрудились» в веках над бессмертием своего тронного благополучия, народы бедствуют, как бедствовали в тысячелетиях, оглуленные верой в божественное (природное ли, естественное ли, главное — справедливое) начало бытия, в то время как мир уже стремительно катился в пропасть рукотворных (хищнических) закономерностей и обретал черты жесткой и необратимой леги-

тимности. Есть история народов, она никем еще не зафиксирована, да и вряд ли (судя по интересу к ней) будет когда-либо написана, и есть история власти, обычно приравниваемая к истории цивилизации, и если, отступив от библейского трафарета, то есть от непрременной, часто безудержной героизации царских деяний, обратиться к поэтапному ее восхождению к вершинам могущества (ведь мировое господство сегодня — это уже не мечта фараонов или цезарей, скажем так, а почти свершившийся факт истории, упрятанный в убажажущее слух понятие «глобализация»), то все разговоры о «движении» к прогрессу и процветанию и о «достижении» общего блага, коими потчевали и продолжают потчевать нас историки, философы, церковники (разумеется, и кумиры-поводыри, и даже, может быть, главным образом кумиры-поводыри), — все эти разговоры, окруженные нимбом всеохватного или, вернее, вселенского обмана, сейчас же потеряют смысл и отпадут, как отжившая свое осенняя листва, и перед очами исследователей предстанет оголенное во всей своей мерзости (во всей своей античеловечности) кровососное древо власти. Для нас, рядовых граждан планеты, авторитет того или иного правителя складывается из его дел, его отношения к простолюдинам как соучастникам жизненного процесса, иначе говоря, итог любого царствования измеряется степенью народного признания и уважения (равно как и степенью ненависти и проклинания), но для правителей, поскольку они никогда и ни в чем не давали послаблений народу, а только грабили и поработщали его, — для них, коим простолюдинское большинство всегда представлялось, как представляется и в наши дни, пороховой бочкой, готовой в любую минуту взорваться и натворить бед, важны были совсем другие оценочные параметры, которые не зависели бы от того или иного сиюминутного настроения масс, а являлись бы вполне зримой, прочной и надежной опорой тронов. Выше я уже говорил, что для того, чтобы управлять народом, не обязательно восседать в золотоискрящихся дворцах и на цельнолитых золотых тронах, а достаточно только, проникшись народной мечтой об основательности и справедливости жизни, положить эти корневые значения в основу тронной политики и безукоснительно проводить ее; но в том-то и дело, что справедливость и основательность противопоставлены хищническому мироустройству (хищническому мировоззрению), а потому могут только бутафорски оглашаться дворцовыми глашатаями, но совершенно игнорироваться в проявлениях царской воли. Такой обман — и правители это знают — невозможно долго прикрывать народным уважением, которое сегодня есть, завтра его нет, а обман вечен, он остается вечным при любых сменах правителей и режимов и потому должен базироваться (и это, повторяю, было усвоено еще правителями Древнего Египта) на прочной, фундаментальной (идеологической, религиозной, мировоззренческой) основе.

XLV

Суть власти, для чего она нужна народам, неизъяснима; если толковать ее как организующее начало общественной жизни (государственность предполагает власть, власть предполагает государственность), то следует признать, что она, то есть власть, во все исторические эпохи если и стремилась к чему-то, что хотя бы условно можно было назвать организующим началом, то лишь к обустройству своего тронного (дворцового) благополучия, но никак не к обустройству народной жизни, жизни простолюдинских масс; если придавать ей значение поводырства, как это делают историки и философы, то и здесь концы с концами не сходятся, ибо оно, это поводырство, четко выражено (если обратиться к реальному разрезу веков) в двух равноединых проявлениях насилия: на первом этапе — подавление идилических устоев бытия, на втором, когда процесс внедрения хищнического мироустройства принял уже необратимый характер, — подавление любого инакомыслия, нацеленного на разоблачение мировоззренческой лжи и установление исторической справедливости; если же рассматри-

вать власти как стимул развития цивилизации (расцвет наук, культур, искусств, литературы, живописи, музыки, зодчества, а также просвещения, юриспруденции, медицины, кроме того, наращивание военного могущества и усиление внутривосударственной и внешней разведки), — да, если рассматривать власть в этих вроде бы вполне очевидных ее достижениях, то и тут не так все просто и однозначно, как кажется на первый взгляд, ибо за этим дворцово-представительским и дворцово-ублажающим фасадом, именуемым цивилизацией, лежит океанно распростертая народная жизнь со своим нереализованным (невостребованным, замороженным) в веках творческим потенциалом. Естественно, характеристика власти не ограничивается только приведенными несоответствиями ее номинальной (бытующей в народе) и фактической значимости; всё, что создано ею будто бы во благо жизни, носит прямо противоположный характер, и если кто-то еще верит в объективность законов, базирующихся на древнеегипетской, древнегреческой и римской правовых основах, то вера эта ни больше ни меньше как остаточное традиционное заблуждение, из которого (равно как и из вселенской паутины обмана) человечество, сколько ни прилагает усилий, все еще не может выбраться. Мы рассматриваем власть как неотъемлемую часть человеческого бытия, как нечто естественное, что явилось вместе с рождением человека и возвеличивалось будто не по рукотворной, а по природной (с точки зрения науки) и божественной (согласно церковным канонам) заданности, в то время как историческая и текущая действительности говорят нам, что все, что от природы, либо гармонирует с человеком, либо (и это в лучшем случае) держит нейтралитет в отношениях с ним; власть же, во-первых, ни с какой стороны не гармонирует с потребностями человеческого (простолюдного) большинства, а вносит лишь дисгармонию, подменяя естественность жизни ее неким рукотворным вариантом, и, во-вторых, имеет свое древо развития, полностью отличающееся от древа народной жизни, и несовместимость эта на сегодня достигла такого разрыва, что уже никакими мостиками, кроме как возвращением к истокам, то есть к доклассовому периоду, соединить нельзя. Обособленность и бессмертие власти зиждутся на двух фундаментальных основах: легитимности теоретической, свято защищенной религиозной и научной риторикой, и легитимности материальной, то есть наглядной, зримой, выраженной прежде всего в дворцовом барстве, в роскоши дворцового благоденствия. Поскольку о первой легитимности, то есть о легитимности теоретической, сфокусированной в хищническом мировоззрении, достаточно уже было сказано в предыдущих главах, позволю себе несколько остановиться на второй, материальной, известной в науке как «достижения цивилизации», которая хотя по значимости и уступает первой, но по воздействию на массы ни в чем не имеет себе равных. Цари строили дворцы не столько для удобства жизни (что вполне объяснимо, но не может служить оправданием для насыщения «царских жилищ» собранной отовсюду роскошью), сколько для зримого превосходства своего святоположенного поводырства над общим уровнем жизни подвластных и поработанных народов; конечно, предков наших можно понять, когда перед созданными их трудом дворцами и барствующими обитателями этих дворцов они впадали в противоестественную человеческому существу робость, но мы-то, люди просвещенного века, хорошо знающие цену власти и более чем осведомленные о бесправии и страданиях простолюдных масс, — разве мы не робеем перед мраморным величием царских (президентских) дворцов и перед теми, для кого величие это является лишь обыденным (и, конечно же, достойным их) фоном жизни? Иногда мне кажется, что вся божественность власти заключена лишь в парадно-представительской жизни, и если отнять ее у власти, то перед историей предстанут самые обычные тщедушные людишки, боящиеся смерти и отправляющие на смерть личности и народы; в конце концов ведь жестокость — не всегда врожденное чувство, чаще всего ею прикрывается трусость, таящаяся под златоткаными царскими одеяниями, боязнь потерять власть, потерять жизнь, потерять всё — либо от самосуда простолюдных толп, либо от претендентов

на власть, готовых сместить только что обожеествлявшегося ими кумира и занять его трон. Жизнь дворцов, хотя я и называю ее барством, она — как айсберг, обычно видна только своей надводной частью, по которой, любуясь ее хрустальными выступами, мы выносим свои суждения, тогда как подводная остается невидимой, хотя именно в ней заключена вся разрушительная сила, способная обращаться в прах империи и народы. Простые люди, чьи желания никогда не выходили и не выходят за рамки справедливости и основательности жизни, страдают и гибнут от бесправия и нищеты, правители — от кровавых схваток за богатство, славу и власть; думаю, и народы, и правители понимают, в какое положение поставлен сегодня мир людских сообществ, ведомый не столько фараоновскими державниками, то есть не столько личностями или кланами личностей, стремящихся к трону мирового господства (ну, допустим, достигнут цели, поработят народы, а дальше что? Что дальше? Однообразие вместо разнообразия, застой вместо живости и, как следствие, нравственное и социальное истощение и смерть), сколько возведенными в ранг святости рукотворными закономерностями, взявшими в тиски и правителей, а через них и народы, но никому и в голову не приходит основательно разобраться с этими пресловутыми закономерностями. Как видим, истина проста, но, поставленная с ног на голову (что только и можно сказать о нашей героизированной древности и героизируемой современности), она обрела чудовищную разрушительную силу; весь созидательный процесс жизни, о котором так много и восторженно говорят историки и философы, по сути дела, если как следует вникнуть в него, скорее можно было бы назвать не созидательным, а стагнационным по отношению к народному бытию; создаются только дворцы и храмы и дворцово-храмовое благоденствие, так что ученые мужи по меньшей мере лукавят, когда, основываясь на великолепии царских и предстательских палат, говорят о политических, экономических, культурных достижениях того или другого народа, о величии неких древних цивилизаций, забывая при этом, что на безбрежных просторах вокруг этих дворцов и храмов простиралась, как простирается и сегодня, бесправная и словно бы замороженная в своем бесправии простолюдская жизнь. Она развивалась по своим канонам, дворцовая — по своим, и межа, проложенная классовым расслоением между двумя этими цивилизациями — хижинной и дворцовой, — с нарастанием эпох превратилась в крепостную стену, по одну сторону которой возводились и продолжают возводиться белокаменные дворцы и златокупольные храмы, а по другую — словно эстафета, передавалась и продолжает передаваться застagnированная хижинная нищета. Так было, так есть, ибо действительную историю нельзя переиначить; в ней вроде бы все поделено (разумеется, усилиями академических светил) на десятилетия, столетия, эпохи, эры, и даны названия (по знаковым фигурам императоров, царей, полководцев) этим десятилетиям, столетиям, эпохам, эрам, но сия научно-канонизированная разношерстность, в обрамлении которой мир кажется неповторимо разнообразным, постоянно находящимся в движении, — разношерстность эта не должна вводить в заблуждение нас; я уже писал в предыдущих главах, что есть только два периода в развитии человечества — доклассовый и классовый — и что в первом случае все было подчинено естественным закономерностям (чем и определялся этот прожитый монолит веков), а во втором — рукотворным, которые, самосовершенствуясь и укореняясь (в рамках господства и рабства) слились в свой (я бы назвал его античеловеческим) монолит жизни. Кому-то может показаться, что я излишне повторяюсь, говоря о дворцовом и хижинном началах бытия, но что тут можно поделаться, если жизнь такова, что в основании ее, начиная с Древнего Царства, лежит классовое расслоение, эта вопиющая несправедливость, когда девяносто девять процентов человечества как жило, так и продолжает жить в бесправии и нищете и лишь одна сотая, кичась своей изобретенной богоизбранностью и грабя мир, роскошествует и благоденствует. Не знаю, не знаю, но я склонен полагать, что в основе толкования цивилизации как единого понятия общечеловеческого бытия лежит нечто дальновиднопреступное, что не просто заслоняет собой истори-

ческую истину, но притягательной иллюзорностью своей поднимает тронно-заданную ложь над правдой и погружает народы в некий сладостный (обнадеживающий, беспробудный, летаргический) сон.

XLVI

Те, кто благоденствует во дворцах, храмах, буквально истекают в похвалах и возвеличивании своей хищнической (дворцовой) цивилизации; у них — власть, у них — все средства силового, экономического, духовного давления, паутинно пропитавшие человечество, и уже не мечи, пушки, распятия, костры инквизиции, а всеохватный механизм зомбирования, именуемый СМИ, Интернетом и Церковью, которая еще не сошла со сцены, является и пробивной, и защитной опорой фараоновских новодержавников, то есть как прежних, так и нынешних правителей народов и мира; они, то есть эти правители, полагают, что их тронная власть необратима, но, обогащенные тысячелетним противостоянием народам, продолжают усиленно и в политической, и в экономической, и в духовной сферах укреплять ее, и если говорить о будущем человечества, то его просто-напросто нет, ибо ничего, кроме бесконечной трагедии, пока даже не просматривается на горизонте; мы давно и прочно сидим в приготовленной для нас пьедестально-иконостасными кумирами-поводырями яме обмана и, ничего не предпринимая для своего спасения, лишь молитвенно вскидываем очи на тот бездонный клочок неба, небессмысленно, вернее, небесцельно оставленный для нас, ждем от Творца милости и, умирая, передаем эти ожидания и надежды следующим поколениям. Мир хищничества — это бастион, возведенный не на материальной, а на идеологической, духовной, мировоззренческой основе, и ему, этому бастиону, не страшны никакие силовые нашествия, ибо не плоть обладает бессмертием, а дух, точнее, идеология, спущенная в народ и закрепленная в нем церковным и научным аксиомализмом. Конечно, можно по-иному представить историю, героизируя частности в ней, но можно, сорвав с нее измышления веков и присмотревшись к ее стержневой основе, лицом к лицу, как говорится, столкнуться с ее чудовищной античеловеческой заданностью. Знают это правители, как знают и о своих конкретных античеловеческих деяниях, и не только жажда власти, но и страх перед разоблачением заставлял и заставляет их, подавив в себе самую элементарную людскую совесть (если, разумеется, она хотя бы в наперсточном варианте еще живет в них), продолжать на все лады превозносить и возвеличивать кормящее их фараоновское детище. Но те, кто на века замкнут в хижинной нищете и для кого понятие «цивилизация» является лишь пустым звуком, придуманным для обозначения дворцового барства, в лучшем случае пребывают безучастными к этой исторической мирооценке, поскольку именно она, эта «великая цивилизация», отобрала у них свободу, землю, лишила прав на самобытность развития и отстранила от участия в созидательном процессе своего и общенародного (общегосударственного) бытия. Да, у народа, народов, нищенствующего большинства есть за что ненавидеть цивилизацию, однако это не означает, что простолюдинство вообще отрицает мировоззрение как таковое (как организующее начало жизни); это только ученые мужи и церковники, стоящие на страже созданных ими правдоподобных измышлений о божественной и естественной будто неприкосновенности миропорядка, безоговорочно полагают, что у народа, народов, простолюдинского большинства, самозаморожившегося (удобное, никого вроде бы не унижающее понятие) в хижинной ординарности, нет и не может быть своей народной цивилизации; жизнь их однозначно проста, как жизнь рабов, боящихся потерять хозяина, но что поделать, если они, эти заложники своего безволия (одно слово: народ!), не приемлют ничего, что помогло бы им восстановить свое человеческое достоинство? Мало того, что такая оценка народного бытия легко прочитывается в официальной историографии (с которой солидарны и ученые мужи, и церковники), но она как некая естествен-

ная будто бы данность настолько укоренилась в сознании людей (или скорее ее укоренили), что никого уже не смущает это тавро, или клеймо, исторически будто бы наложенное на простолюдинские массы и определившее их статус и предназначение. Странно не то, что эта вопиющая несправедливость оказалась надежной безграничной живучестью (что в рамках господства и рабства вполне закономерно), а другое — что и ученые мужи, именующие себя сеятелями истинных знаний о вещах и явлениях, и церковники, радеющие будто бы за народ и денно и ночью молящиеся за него, так и не обнаружили (за века своего служения) истинных достоинств народного бытия и не возвысили голос в защиту этих достоинств; наверное, вряд ли нужно объяснять, кто и что стоит за этим двуличием, давно вошедшим в стержневую основу нашей жизни, ибо, повторяю, система господства и рабства говорит сама за себя; реалистическое и символическое восприятие мира так же несовместимы, как правда и ложь, и с какой бы силой ни опровергалась правда и ни возвеличивалась ложь, но рано или поздно время расставляет все по местам. По крайней мере так думают и говорят в народе, опираясь не на исторические, а на сиюминутные обстоятельства жизни, и в этом есть, разумеется, своя сермяжная (краткосрочная) правда, тогда как в действительности время не властно над рукотворными деяниями личностей, народов, государств; не властно потому, что справедливость была и остается беззащитной перед агрессивным механизмом зомбиобработки, стоящим на страже хищнического (фараоновского) мировоззрения. В мире человеческого бытия с древнейших времен, а конкретнее, со времен Древнего Царства (и это вполне подтверждается фактами истории), четко обозначились два направления жизни: дворцовое и хижинное, что было естественным отражением вводившейся системы господства и рабства и является таковым в условиях нынешнего хищнического мироустройства. Целью дворцового бытия было и остается обогащение и укрепление тронной власти, то есть то эгоистическое по отношению к простолюдинским массам действие, которое только усиливало разрыв между заданностью правителей и стремлениями народов, и кумиры-поводыри, обособляясь в этой своей алчной неумности, довели наконец мир до непримиримого полусного противостояния. Целью же хижинного бытия было и остается то житейское, что всегда составляло, как составляет и в наши дни, смысл простолюдинской жизни — семья, достаток, справедливость, основательность, право на свободный труд и самобытное (в традициях своего народа) развитие. Совершенно очевидно, что мы сталкиваемся здесь с двумя разными культурами жизни (и по запросам, и по возможностям), двумя отличными друг от друга цивилизациями: дворцовой, блистающей золотоотливным великолепием, которое всегда наглядно и скорее говорит о диктаторских амбициях правителей, чем о процветании народов (возьмем хоть Древний Египет, хоть древнегреческую или Римскую империю), и хижинной, поражающей разве что своей беспросветной нищетой, за которой не видны ни достоинства народной жизни, то есть культура, ни уровень цивилизованности, и, возможно, как раз по этой наглядности — наглядности барства и наглядности нищеты, — когда историки и философы взялись определять степень духовного развития народов, внимание их остановилось именно на дворцовой культуре и дворцовой цивилизации, и они без тени сомнений нарекли сие узренное ими великим достоянием человечества. Многие считают, что это хорошо, когда есть единая у того или иного людского сообщества культура, единая, хотя и выраженная в дворцовом барстве, цивилизация, поскольку надо же народу равняться на что-то, что было бы достойно его земного предназначения (забывая при этом, что многоэпохальное взирание на дворцовое великолепие не изменило, да и не могло изменить к лучшему хижинное бытие); еще более удивительно, что мы, напичканные внушениями о единой (в национальных, разумеется, рамках) культуре и единой (опять же в национальных рамках) цивилизации, начинаем сознавать себя причастными к этим шедеврам веков, но не в качестве рабов, возводивших их, а в качестве людей, живших в эпоху создания этих шедевров, и нас охватывает гордость за наших предков, никогда будто бы не

разделявшихся на господ и рабов и не противостоявших властителям,— да, охватывает гордость за предков, куда больше, чем мы, понимавших и цель, и суть бытия. Простым людям, конечно же, можно простить такое историческое невежество, в каком столетиями, тысячелетиями держали их и держат теперь, но как быть с учеными мужами и церковниками, которые, несмотря на всю очевидную порочность выработанной ими теории «единства», продолжают и сегодня безапелляционно утверждать, будто культура в рамках любого народа всегда едина, как едина и цивилизация, прорастающая из этой культуры, и что величие сих двух творческих начал заключено в том, что они, абстрагировавшись от политических и социальных потрясений эпох, были и остаются неувядающим творческим потенциалом личностей и народов. Мы уже не раз на страницах этого повествования сталкивались с лукавством ученых мужей, более похожим иногда на преступление, чем на лукавство (преступление как перед отдельными людскими сообществами, так и перед человечеством в целом); это они, столпы знаний, наложив историю своими ложными измышлениями, тронно-угодными оценками и трактовками (достаточно лишь взглянуть на героизированную Библию), настолько все запутали и извратили в ней, что все, что могло быть доступным и ясным даже простому человеку, предстает дебрями несуразниц, несовпадений, сущих нелепиц и уточненных правдоподобий, не укладывающихся ни в рамки природных, ни в рамки житейских логических представлений. Во-первых, ни культура, ни вытекающие из нее достижения цивилизации никогда не были явлением аполитичным, поскольку система господства и рабства, какую они обслуживали и продолжают обслуживать, не могла произвести на свет ничего другого, как только себе подобный нравственный перекосяк жизни, и, во-вторых, совершенно очевидно, что между дворянами и хижинами никогда не было и не может быть никакого единства — ни по материальным, ни по духовным возможностям; как видим, в реальной действительности все выглядит простым, ясным, доступным для понимания, тогда как в объяснениях ученых мужей предстает неким колеблющимся маятником в пространстве между «за» и «против», и мы, всматриваясь в это колебание, начинаем чувствовать себя то приверженцами одних ложных представлений и доказательств, то приверженцами других, прямо противоположных первым и тоже, разумеется, ложных, и, замороженные этой бесконечной двойственностью, не можем пробиться к истине.

XLVII

Мир понятий — это не мир реального бытия; мы живем в реальном мире, а трактуем и воспринимаем его через призму внушенных или, вернее, навязанных нам понятий, и несоответствие это, не замечаемое нами (мы просто-напросто не придаем ему значения), и сопровождающее человечество чуть ли не со времен классового расслоения (со времен Древнего Царства, это уж точно), я бы назвал самым первым, самым глубинным и самым чудовищным обманом, на базе которого, как почки на древе, прорастало и продолжает прорастать все, что входит в систему власти, насилия, систему безжалостного угнетения масс. Сегодня вряд ли можно установить, что заставило человечество принять этот обман и жить в нем, страдая и мучаясь несовершенством жизни, в которой, казалось бы, есть все, что требовалось (как требуется и теперь) для мирного, сбалансированного во всех отношениях, то есть благоустроенного, существования личностей и людских сообществ (да вроде бы и Господь создал мир не для наращивания саморазрушительных явлений, а для самосовершенствования и процветания), но проходят века, а мы только глубже погружаемся в обман, убивающий в нас остатки реального восприятия и переводящий на стезю наполненных правдоподобием понятий и символов. Да, да и еще раз да, мы верим не в то, что реально существует и направляет жизнь, а в искаженное, ложное толкование происходивших с нами и вокруг нас событий, спянных между собой не логикой правды, а логи-

кой изощренных правдоподобий, из которых и выстраивается или, вернее, выстраивалось некое единое, вроде бы даже целостное представление о прошлом и текущем бытии человечества. Мы привыкли к слову «власть», как, впрочем, и к слову «государство», и не представляем себе иных возможностей, кроме как «жить под властью», доверяться ей и послушно исполнять законы государства; нам кажется, что так повелось от начала веков (хотя именно начало веков окрашено абсолютизмом власти и абсолютизмом рабства), что кто-то должен руководить народом, направлять и оберегать его и что на троны восходили и восходят лишь те личности, те кумиры-поводыри (за малым, может быть, исключением), которые действительно заботились о благе простолюдинского большинства и знали (и знают!), как обеспечить его. В той или иной степени на первом этапе развития так оно и было, вождь стоял рядом с народом, народ — с вождем, и неважно, что благо достигалось за счет ограбления и закабаления соседних государств, то есть пролитием своей и чужой крови, но достигалось же, и молва, возникавшая среди толп победителей, разносила хвалу о таком вожде как о заботливом отце и созидателе достойной жизни. Такова исходная реальность власти, и если у кого-то возникают сомнения в историчности сказанного, то развеять их помогут библейские сюжеты о религиозно-захватнических походах, великих царствах и царствованиях (источник, думаю, достаточно достоверный). Да, в Библии сказано о верности вождей народам, народов — вождям, и хотя явление это не сопровождается пояснениями, однако совершенно очевидно, что исходит оно от единородства вождей и народов (великолепный, но забытый вариант государственности, почти повсеместно теперь замененный на престольное чужеродство); сказав правду о своем времени, старцы все же не были до конца откровенными ни перед собой, ни перед историей; намеренно или ненамеренно, но, представив вождей-насильников борцами за народное благополучие, они ни словом не упомянули о тех эгоистических целях, какие хотя еще и не проявлялись в поводырствующих особах в достаточной мере, однако начинали уже шевелиться под покрывалом бессребреничества и благородства, и цели эти, переросшие затем, в постбиблейский период, в схватку за богатство, славу и власть (смертоносная стезя не только для правителей, но и для народов, ступавших на нее), — да, не замеченные будто бы библейскими старцами эти симптомы будущей абсолютистской власти обрели роковое значение в процессе становления и развития человечества. В этой связи, пожалуй, правомерно будет высказать предположение, что точно так же, как из библейского восхваления вождей сообразовался в сознании народов бессмертный (сказочный) образ доброго правителя, из библейского умолчания о зарождавшемся властном эгоизме выросла скрытая от мирских глаз бессмертная (и все так же неоглашаемая) сущность престольной власти; народы со своим нескончаемым желанием справедливости, достатка, благополучия были склонны верить в образ доброго правителя (вера эта во многом сохраняется и сегодня, чем пользуются властители, постоянно разыгрывая один и тот же сценарий своего благородства), тогда как от этой сказки остались только одряхлевшие одеяния былой самоотверженной доблести вождей. Власть давно уже не та, какой мы представляем ее себе, в какую верим и от какой ждем, вновь и вновь заряжаясь ностальгией по библейским временам, «манны небесной», ибо коронованные особы давно уже перешли от обслуживания народных нужд на обслуживание своего дворцового барства; безразличие к простолюдинскому большинству в их тронной политике компенсируется некой прямо-таки соревновательностью (да простится мне этот примененный здесь социалистический термин) в строительстве дворцов и храмов, в накопительстве богатств и наращивании военного потенциала; всё — как и прежде, разве что с более нескрываемой наглостью, чем в минувшие времена, — троны торжествуют, народы прозябают в нищете, власть, повторяю, давно уже не та, какой мы представляли и продолжаем представлять, она отделена от простых людей все расширяющимся и расширяющимся разрывом социального и правового неравенства, и положение это будет сохраняться до тех пор, пока мы не вернемся (к чему надо прило-

жить усилия) из мира понятий в мир реального восприятия и трактования действительности. Идея государственности, как утверждают историки и философы, вышла из недр народной жизни (что, впрочем, весьма и весьма сомнительно), была признана великим для своего времени и важным для обустройства общественной жизни открытием и воспринималась в двух положительных значениях — как организующее начало жизни вообще и как способ коллективной защиты от внешних и внутренних врагов, посягавших на национальное достоинство; человек не мог в одиночку противостоять бесчисленным, порождавшимся системой господства и рабства, системой хищнического мироустройства охотникам до чужого добра, тогда как общими усилиями (сплоченной силой народа) легче было отстоять свою независимость и самобытность. Возможно, человечество и в самом деле облегченно вздохнуло, сообразовавшись в государства, и этот славный период, период национального торжества, запомнился людям как некое несказанное благо, и хотя государство достаточно быстро исчерпало свои первородные возможности, но память о благе, как и о добрых властителях, оказалась бессмертной. Каждая эпоха, как полагают ученые мужи, выдвигала свой принцип построения государственности — княжества, герцогства заменялись царствами, королевствами, на смену монархическим диктаторам приходили республиканские, то есть на глазах у народов шло и продолжает идти то не прикрытое ничем (кроме напускных демагогических завес) переодевание, которое, оставляя незбылемой систему господства и рабства, позволяло создавать впечатление великих политических и социальных перемен. Если бы государство как фактор общественного бытия строго придерживалось своих изначальных (первородных) функций, изначального предназначения, вряд ли возникла бы нужда в бутафорских переодеваниях; но у жизненных процессов своя логика, особенно когда во главе всего стоит тронная власть; она, эта власть, пока возбужденное человечество ликовало по случаю спасительного открытия (чувство коллективной защищенности — это великое чувство, которое и сегодня оборачивается в нас сознанием силы и мужества), — да, пока человечество ликовало, получив вечный, как это казалось тогда, мандат на более или менее спокойное, мирное существование, власть, представленная кумирами-поводырями, узрев безграничные возможности в новоявленной форме жизни, принялась активнейшим образом подстраивать эту форму под свои тронные интересы; она, то есть власть, самым натуральным образом отняла у народа его великое открытие и превратило это открытие в действенный инструмент подавления народных масс. Процесс этот не был быстрым и одноразовым, он протекал медленно, шаг за шагом продвигаясь к намеченной цели, о чем можно было бы написать многотомное исследование, но поскольку у меня нет на это ни времени, ни места в данном повествовании, ограничусь лишь двумя знаковыми явлениями, сравнительный анализ которых вполне может дать ясную картину происходившего. Изначально государство и народ представляли собой единое понятие, и это вполне соответствовало реальной действительности; сегодня же (хотя в нашем сознании сохраняется еще прежний образ государственности), когда народ, по сути дела, отделен от государства (связывает его с престольным поводырством разве что налоговая пуповина), — сегодня в единое понятие соединены уже не народ и государство, а государство и власть; эта многотысячелетняя метаморфоза, в корне изменившая суть государственности, происходила не сама по себе, как нечто естественное будто бы, что в процессе жизни так ли, иначе ли должно преобразовываться, но по стройжайшему тронно-разработанному сценарию, по которому, во-первых, шло расширение чиновничьего аппарата (во многих странах ныне уже более трети населения находится во властных структурах) и, во-вторых, шла наработка законов, с помощью которых можно было бы безраздельно притеснять, угнетать, грабить народы. Иначе говоря, идея государственности трансформировалась в рэкетирский и зомбирующий аппарат власти, погрузив мир в гнетущую повседневность. Разумеется, бывали случаи, когда народ и власть (государство и народ) поднимались в единой воле на защиту Отечества, но ведь нет правил без

исключений; одно дело — народ и государство, и совсем другое — государство и власть, и с каким бы ностальгическим оттенком ни воспринимались нами эти понятия, в реальной действительности они наделены совсем иными свойствами и значением.

XLVIII

Я давно уже задаюсь вопросом (да и не только я, а многие и многие, кто еще не потерял интерес к истории и не разучился мыслить и сопоставлять): почему люди не могут жить так, как хотелось бы жить им в согласии со своими национальными традициями, своим видением и пониманием сути человеческого бытия, то есть в тех естественных условиях, равных для каждого (по крайней мере на старте), какие природа отпускает всем для достижения благоденствия? И кто и для чего преграждает нам путь к этому простому человеческому счастью, не требующему ни затрат, ни усилий ни от властей, ни от досужих «заморских дядей», которые, как они утверждают, денно и ночью пекутся о «процветании» народов? Надо лишь перестать насильничать над людьми, вернуть им отобранную свободу, чтобы они, разобравшись в поучительских наставлениях эпох, смогли вернуться к своим истокам и пойти уже не стезей хищничества, а стезей добрых дел и человеческих свершений. Двести веков на земле торжествует система господства и рабства, сотни поколений, сменяя друг друга, прошли через нее, рабами рождаясь, рабами и умирая, и странным мне представляется здесь не смирение простолюдинских масс (смирение объяснимо), а некая охватывающая их и не всегда, может быть, понятная даже им надежда на грядущие перемены к лучшему. За всю постклассовую историю у человечества не было примера иного общественного устройства, чем фараоновское хищническое миробытие, но в то же время каждый человек знает, что жизнь некогда была совершенно иной, в основе ее лежали добронравие, справедливость и основательность, и может ясно истолковать, что означают для него сии непреходящие будто бы житейские термины и — захотим ли, не захотим ли мы признать истину — мужицкая правда — представление об идиллическом бытии, но именно эта мужицкая истина служит прямым подтверждением того, что, да, был в истории такой период, когда каждый человек не только имел, но и свободно пользовался естественным правом на жизнь и когда никто еще и слыхом не слыхивал ни о господстве, ни о рабстве, не посягал на чужое добро и свободу, и период этот длился, возможно, не десятки, а сотни тысячелетий, ибо настолько глубоко засел в народной памяти, что и сегодня дает о себе знать ностальгической и не только ностальгической болью. Так что хватит жизнепоучать (жизнепонукать) народ; народ знает, как надо и можно было бы жить в достатке и удовольствии; знают это и правители, поскольку такие же смертные, как и все, и ничего богоизбранного в них нет, а потому логично было бы предположить, что могли бы (на основе природной однозначности) сблизиться и решить наконец вековую проблему человечества. Но проходят столетия, эпохи, эры, а сближения не происходит — то ли потому, что разрыв между дворцовым барством и хижинной нищетой имеет тенденцию расширяться, то ли простолюдины по известной своей робости не в состоянии сделать нужного шага, то ли правители, сориентированные на некие свои тайные замыслы, отвергают саму возможность подобного сближения, история не дает определенного ответа; мир безоглядно движется по высланной фараонами Египта колее господства и рабства, то есть в рамках той цивилизации, которую мы называем «колыбелью человечества», и я опять и опять спрашиваю себя: так кого же или что мы вырастили в этой «колыбели»? Разве люди удовлетворены нынешним состоянием жизни? Разве мы не сравниваем (пусть мысленно, пусть тайно, в секрете даже от себя) наше сегодняшнее бытие (бытие просвещенного века) с тем забытым уже нами в подробностях, но ностальгически тревожащим и будоражающим нас идиллическим бытием, которое безвозвратно ут-

рачено человечеством, и разве не становимся (опять же пусть мысленно, тайно, даже в секрете от себя) на сторону именно безвозмездно утраченной жизни и не осуждаем и не клянем настоящую? Два исторических периода, два мира, две реальности: идиллическая (прошлое) и хищническая (настоящее), и хотя прошлое не вернуть, а настоящее неприемлемо, но не только простолюдинам, а и ученым мужам трудно бывает примкнуть к какой-то одной абсолютной истине; историки и философы, чтобы обойти проблему, просто-напросто не допускают даже мысли о каком-либо сравнении настоящего с прошлым, ибо прошлое для них — отрезанный ломоть, поскольку, кроме загадок власти (загадок многовекового державного абсолютизма), они ничего не видят и не находят в древних (варварских, по их оценкам) веках; простые же люди, которые без какой-либо предвзятости смотрят на историческое и текущее бытие и в сознании которых постоянно теплится (независимо от смены эпох) память об идиллическом (сказочном) устройстве жизни,— простые люди смотрят на окружающую действительность через призму этих своих странных, да, пожалуй, именно странных ностальгических воображений, и оттого мир понятий и символов, то есть тот реальный (хищнический) мир, в котором, мучаясь и страдая, вынуждены пребывать, видится не таким, каким является на самом деле. На него накладываются краски ностальгического прошлого, и краски эти мало того что смешивают воображенное с действительностью, то есть заставляют видеть реальное не в том, что торжествует среди народов, угнетая и истребляя их (да, таково хищничество, даже в демократической его оболочке), а в том, что когда-то было реальным, торжествовало в людских сообществах и, несмотря на задавленность, продолжает восприниматься как единая и неизменная фундаментальная основа народной и общечеловеческой жизни. Простолюдины не привыкли оглашать свои заветные мечты и мысли, ибо стриптиз души, как и стриптиз тела, был и остается неприемлемым для них: ведь и сегодня простой человек, особенно деревенский, немногословен,— но это отнюдь не означает, что у него нет своего взгляда на миробытие; напротив, он обладает всем, что дано природой, все по-своему воспринимает и истолковывает, хотя и не всегда может сформулировать свое видение бытия; я бы сказал, часто понимает даже больше (от своих народных корней), чем академические начетчики веков в нагромождениях своих же аксиоматических истин и чем церковники, заиклившись на библейских и евангельских сюжетах и притчах, но достоинство это его никогда не признавалось и не признается (признание на словах — это еще не признание), хотя в определенных случаях, когда надо опереться на народ, дворцовые прихлебалы начинают широко глаголить о неких вечных народных истоках жизни. Простые люди непритязательны, они не претендуют ни на какую корневую основу человеческого бытия, а лишь стремятся жить по законам добронравия, миролюбия, справедливости и не могут понять, откуда взялось и навалилось на них хищническое мироустройство; они не верят в этот новый порядок, считают его наносным, преходящим (в чем, собственно, недалеко от истины) и полагают, что под многоэпохальным слоем человеческого безумия кроется, ожидая своего часа, некое реальное благоденствие; оно, это благоденствие, рано или поздно вернется к ним, по крайней мере должно вернуться, люди верят в это, вера рождает надежду, и сей нравственный механизм простолюдинского мировоззрения, согревающий души, обрачивается в итоге жесточайшим драматизмом для этих же душ. Народ не понимает правителей; не понимает в чисто человеческом плане, ибо для чего той или иной персоне, восседающей на троне и обеспеченной с ног до головы богатством, славой, властью, роскошью,— для чего нужно этим «богоизбранникам» притеснять народ, от которого они кормятся, доводить его до крайнего бесправия и нищеты? В конце концов в мире нет ничего вечного, силы народа могут иссякнуть, а затем иссякнет и приток богатств во дворцы и храмы; простым людям это ясно как Божий день (да хотя бы и по крыловской басне «Свинья под дубом вековым»), и именно эта ясность, какую видят и понимают простолюдины и не видят будто бы и не понимают правители, как раз и вызывает у простых людей

по отношению к властителям чувство, что они временщики, явившиеся только затем, чтобы разорить и разграбить мир. Чувство это (по отношению к тронным особам) так же невытравимо, как и ностальгия по идиллическим временам, и эта двойственность или, точнее, несовместимость как раз и мешает простолюдину уяснить, где начинается и на чем обрывается тот реальный мир (мир добронравия, справедливости, основательности), в каком только и пристойно было бы обитать человеку, и в чем заключается высший смысл хищнического мироустройства, в котором рядовому человеку уже некуда деться от бесконечных (и бессмысленных с точки зрения простых людей) поборов и притеснений. Церковники никак не отвечают на этот вопрос, ибо для них всё-всё есть Промысел Божий; они признают только два возможных варианта развития событий: исполненные зла, когда верховенство берут дьявольские силы, и добра, когда на народы нисходит Божья благодать; при этом ни добро, ни зло не имеют четких оценочных критериев, все в руках Господа, то есть правящих личностей, и этот оценочный произвол приводит к тому, что все церковные и светские иконостасы заполнены ликами вождей, царей, полководцев, равно проливавших людскую кровь, а у подножия этих иконостасов — народ, ищущий справедливости и растерянно взирающий на выставленную ему напоказ историческую ложь.

XLIX

Наука (я имею в виду историческую и философскую), как и религия, не дает ответа на поставленный вопрос; она живет своей жизнью, жизнью пристязной к кореннику (к трону), и все прилагаемые ею усилия к познанию миробития, как ни оскорбительно прозвучит это, сводятся лишь к тому, чтобы красиво, дугой изогнув шею, прогарцевать отведенный ей путь — на радость ямщику и глазеющей с обочин публике; и прогарцевала — века, эпохи, эры, малиново позванивая колокольчиками и бубенчиками, и продолжает гарцевать, отбрасывая из-под копыт комки грязи в народ. Возможно, кому-то покажется неправомерным такое сравнение, и я даже могу понять этих людей, ибо и сам считаю, что не все так черно было и в нашей национальной, и во всемирной историях, являлись и светлые времена, светлые деяния, но, к сожалению, не ими определялось и определяется состояние общественной жизни. Всякое действие, как сказано в Библии, оценивается по плодам его; многоэпохальный плод исторических и философских наук — это пустотелая оболочка, не дающая пищи ни плоти, ни разуму; мы не знаем ни древней нашей истории, ни текущих исторических замыслов и свершений, определяющих наше бытие, а то, что преподносилось и преподносится нам в виде истин, возводимых часто в аксиоматический абсолюте, представляет собой не более как изошренное (в пользу тронов) правдоподобие, не имеющее никакого отношения ни к реальному историческому процессу, ни к реалиям текущей жизни. Наука вроде бы признает, что в развитии человечества был доклассовый период, ушедший в небытие, и классовый, в котором обитаем, но тут же, чтобы, упаси Боже, не упала какая-либо нехорошая тень на классовое расслоение (на торжествующую ныне систему господства и рабства), пускается в полное и безоговорочное очернение предыдущих веков. В ход идут понятия «дикость» и «варварство», будто люди в доклассовый период жили не человеческой, а звериной жизнью и будто лишь классовое расслоение открыло врата к цивилизации. Но откуда тогда взялась у народов ностальгическая память об идиллическом мироустройстве и откуда — стойкое неприятие хищничества? Если бы ученые мужи попытались ответить на этот вопрос, они открыли бы для себя (и для народов) совсем не ту историю, какую насаждали и продолжают насаждать среди людских сообществ; мир предстал бы перед ними не в деяниях царей, королей, императоров, полководцев (президентов и премьеров, если по нынешним временам), а в противоборстве социальных систем — идиллической и хищнической, — которое, начавшись в период классового расслоения, не завер-

шилось и по сей день. Противоборство это либо замалчивается со всей своей корневой, то есть исторической, основой, либо подается в рамках естественного будто бы противостояния прогрессивных и консервативных сил, именуемого иногда (по пику кровавых схваток) революциями; по сути дела, вместо реального бытия, каким оно было в прошлом и предстает перед человечеством теперь, ученые мужи, уподобясь церковникам, преподносят нам миф о жизни, в котором главным творцом всего выступает не Бог, а природа (природа человеческого бытия), на которую как на некую высшую непредсказуемую силу можно списывать все, что было в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в грядущем. Аристотелем было установлено, что человечество делится на носителей духа (господ) и обладателей плоти (рабов), и хотя ложь эта давно уже избличена и опровергнута, однако пренебрежение к простому люду как к обладателю плоти не только остается неизменным, но и многократно усиливается на пространстве всеглобального порабощения народов и государств. Дело доходит уже до того, что предлагается признать доктрину о так называемом «золотом миллиарде», согласно которой Земля может обеспечить достойную жизнь лишь этому миллиарду, и все те, кто окажется за чертой означенного миллиарда (государства и народы-изгой, то есть простолюдинское большинство Земли), — все эти государства и народы могут рассчитывать лишь на рабское безправие, нищету, голодную смерть. Наверное, можно понять (не признать, а понять) «богоизбранных» правителей и самоопределившиеся в «богоизбранники» народы, что понуждает их выдвигать эту теорию (им всегда недоставало богатства, славы и власти), но вот что заставляет ученых мужей научно обосновывать ее, обрушивая в очередной раз подслащенную глыбу лжи на бесправных, обездоленных простых людей, — это надежно прикрыто академическими мантиями и колпаками, так что и не подступиться к ним. Они считаются только с дворцовой жизнью, с теми элитными (интеллигентными, как теперь говорят) кругами, в которых будто бы только и вырабатываются условия бытия, и ни в какой мере не считаются с хижинной жизнью, в которой, как они полагают, никогда не было самостоятельности и которая развивалась только благодаря элитному (интеллектуальному) наставничеству. Возможно, интеллектуалы, то есть политики, люди науки, культуры, и в самом деле знают, как нужно строить народам свою общественную жизнь; во всяком случае, эти извечные тронные холопы держатся по отношению к простолюдинским массам так, будто в самом деле «схватили Бога за бороду», однако если это так, если они действительно знают истину (знают, конечно же, но свою), то почему человечество, направляемое ими вроде бы ко всеобщему благоденствию, оказалось в беспробудном безправии и беспросветной нищете? Да потому только, что, действуя в удобной для них (главное, для тронов) системе господства и рабства, они устраивали и продолжают устраивать лишь свою придворную или, сказать иначе, дворцовую жизнь и никогда ничего не делали и не делают (по пословице: своя рубашка ближе к телу) для облегчения жизни закрепощенных ими мирян. Такова реальность веков, как и реальность текущих столетий и десятилетий; ученые мужи вкупе со всеми другими дворцовыми «интеллектуалами» могут (поскольку за ними стоит власть) не только разрабатывать и выдвигать те или иные социальные (конечно же, в свою пользу) условия общественного бытия, но и насаждать их (иногда увещеваниями, чаще — силой) среди людских сообществ, тогда как простолюдинское большинство, вполне осознающее, что им нужно для достойной человеческой жизни, не имеет возможности ни огласить, ни тем более осуществить свои минимальные требования к общественному бытию, — простолюдинское большинство (благодаря именно этой эпохально утвержденной тронной политике) оказалось, по сути дела, полностью отстраненным от всех созидательных процессов жизни. Ученые мужи и правители, чтобы укрепить государственность, ищут национальную идею; однако ищут не там, где ее можно найти, то есть не в простолюдинских массах, а в своей дворцовой опьяненности, полагая, что они, холопы дворцов и храмов, тоже народ, вернее, лучшая, передовая часть народа,

и что будто бы эта принадлежность к народу как раз и дает им право на безоглядное поводырство. Но вновь и вновь позволю себе заметить, что уже сама система господства и рабства, повсеместно утвердившаяся в людских сообществах, полностью снимает вопрос о каком-либо равенстве господина с рабом (жизни дворцовой с хижинной); глашатаи монархической идеологии, как бы ни притирались к народу, не могут отступить от тех убеждений и деяний, на которых они возводили свое тронное могущество; в основе их мировоззрения лежат престольные интересы, то есть та поводырская ненасытность к богатству, славе и власти, которая всегда приводила, как приводит и сегодня, к безжалостному истреблению народов и государств. Совершенно очевидно, что дворцовая идеология — это идеология непомерного самомнения (самовозвеличивания), беспредельного барства, замешанного на бесконечных обманах, коварстве, интригах, царских и княжеских разборках, и барство это не может представлять лицо человечества; оно должно занимать по масштабам и значимости, то есть по своим узкокейным интересам, достаточно определенное (скромное, следовало бы добавить) место в истории. Но, к сожалению ли, к удивлению ли, академические столпы знаний поступили иначе и почти все повествовательное пространство в своих «исследовательских» трудах отдали (и тенденция эта здравствует и поныне) дворцовой жизни. Может быть, не стоило бы говорить об этом рукотворном историческом перекосе, который вроде бы должен существовать только на бумаге как теоретическое предположение и никак не влиять на происходящие жизненные процессы; но именно от того, что влияет, то есть вкрапливает в сознание людей тронное видение и толкование миробытия (в конце концов в массе своей мы же считаем правомерным разделение на дворцовое и хижинное бытие и не предпринимаем ничего, чтобы провозглашаемое равенство было действительным равенством, а не провозглашенным), оно не должно оставаться за пределами реалистического взгляда на процесс развития человечества. Фараоны, став в свое время во главе нильского народа, достаточно быстро сообразили, что власть, не имеющая своей идеологии, своего мировоззрения, — это не власть, она не может рассчитывать на долгосрочное правление; они же, эти древнеегипетские поводыри, поняли еще, что ни в государстве, ни в народе не может быть двух идеологий, двойного мировоззрения, и одним махом (возможно, и не одним махом, а путем «проб и ошибок», как мы бы сказали теперь) упразднили народное восприятие и толкование миробытия, то есть народное понимание сути и цели жизни, и это, как и многое и многое из того, что учредили за свое абсолютистское царствование, стало затем не просто традицией, а нормой устойчивости и процветания тронов. Эпохи следовали за эпохой, дворцовая «богоизбранность» заменялась новыми и новейшими идеологиями, но народ, однажды поставленный в бесправное, рабское положение, несмотря на эту лютую бесправность, оставался все тем же (в своем мировоззрении) народом, приверженным к понятиям «добронравие», «справедливость», «основательность» как в личном, семейном, так и в общественном бытии.

L

Известно, что стержневой основой человеческого бытия является семья, то есть та главная ячейка жизни, от которой всегда зависело, как зависит и сегодня, благополучие личностей, народов, государств. Общность эта складывалась не в результате насилия (никто тогда еще не брался поучать народы, как им жить), а путем эволюционного развития (эволюционных преобразований), и все, что затем вошло в обиход семейных правил, исходило из принципов целесообразности, справедливости, добронравия и основательности жизни. Семья — это многократно (возможно, даже тысячекратно) уменьшенная копия государства, или, если следовать исторической хронологии, государство есть увеличенная (возможно, даже тысячекратно) копия первоначальной ячейки жизни, ибо всем, чем

управляет государство в масштабах своих владений, управляет и глава семьи в масштабах домашних обязанностей. Думаю, едва ли найдутся оппоненты, которые взялись бы возразить против такого сравнения, хотя и не все в нем так гладко, как кажется на первый взгляд. Первоначальная жизнь создавалась на основе естественных (напомню) потребностей целесообразности, добронравия, справедливости, основательности, тогда как государство, во главе которого стояли и будут стоять некие самозванные «богоизбранники» (зачастую чужеродные по крови тому народу, которым берутся управлять), — государство как детище хищнического мироустройства, положив в основу своей тронной доктрины лишь схему означенного благополучия, вытравило из нее и отбросило главную ее составляющую — душу, то есть то живое, на чем как раз и основывалось самое простое (и вечное по сути и заданности) семейное счастье. Человек строил свою жизнь, исходя из насущных потребностей семьи, он возводил жилище, обзаводился хозяйством, вспахивал землю, сеял, жал, молотил, чтобы иметь на столе хлеб насущный, растил детей, обучая их своему житейскому опыту (разумеется, в рамках определенной исходно-крестьянской или, сказать точнее, трудовой нравственности), держал разную домашнюю живность, заботясь о ней как о родном чаде, и все это, обогретое теплотой его рук, его хозяйским вниманием, как раз и составляло тот мир жизни (суть и цель бытия), в котором он, проявляя себя, находил радость и удовлетворение. Причастность же его к национальному, общественному бытию заключалась и продолжается в том, что он, не выходя за круг установившихся (речь идет об идиллическом, то есть докладсовом, периоде) принципов добронравия, справедливости, основательности (ну как тут не повториться?), подкреплял эти принципы примером личной, семейной, хозяйственной деятельности. Думаю, люди, подобные обозначенному здесь усредненному персонажу, едва ли сознавали, что этой их самостоятельностью как раз и определялось ныне забытое, растоптанное и выброшенное на свалку истории естественное (природное) право на жизнь, и вряд ли, конечно же, полагали, что право это в одночасье будет отобрано у них, что они будут отторжены от созидательного процесса своей жизни и заключены в рабские (не столько в конкретном, сколько в обобщенном толковании) бараки и что вместо удовлетворения земное пребывание будет приносить лишь страдания, страдания и еще раз страдания, неотъемлемо сопровождающие и все новейшие поколения от младенческой люльки до гробовой доски. Да, во времена докладсового расслоения люди не могли знать, что будет с ними; они были как дети, беспредельно верящие в торжество добра, в незыблемость родительского дома, всей жизни, какой жили и какая неизгладимой печатью наложилась на их идиллические души; они и сегодня — те же дети, готовые поверить каждому, кто посулит облегчение жизни, и хотя многие склонны видеть в доверчивости и наивности некую исходную недоразвитость или, сказать точнее, тяжелейший самоубийственный порок, навлекающий все и всякие беды, но надо быть чудовищно бессердечным чело-веконенавистником, чтобы сказать дитяти, что его вера в доброту жизни, в справедливость, в теплоту родительской ласки, наконец, что чистота его младенческих помыслов есть порок, ставящий его в беззащитное положение перед суровостью окружающего мира. Младенец чист, как чисты народы перед своей и общественной совестью, однако все, что окружает этого младенца, эти младенческие (я произношу это с достоинством, а не с ущербностью) народы, исполнено кровавого драматизма. Конечно, как ни велико человеческое воображение, но сегодня, с вершины наших просвещенных веков, трудно представить тех людей, кто положил в основу общественных отношений классовое расслоение; фараоны не свалились с неба на нильскую землю (хотя и провозгласили себя детьми Неба и Солнца, чтобы обосновать незыблемость тронов); они пришли либо как захватчики, либо как миссионеры, учившиеся словом покорять народы, и поскольку первая же попытка оказалась удачной (на переломе второго и третьего тысячелетий, как показывает действительность, «профессия» сия достигла, может быть, наивысшего пика своего торжества), то не мог

не возникнуть соблазн повторить ее, причем повторить многократно; человечество, по сути дела, получило прецедент, и прецедент этот, вспыхнувший на фоне идиллического бытия, был сначала перенесен на народы присредиземноморского бассейна, затем в Европу, Африку, Азию, Северную и Южную Америку и дальше во все скрытые, потаенные уголки континентов. Конечно, легко сказать: «Прецедент был перенесен...», но если заглянуть в стержневую суть этого процесса, то от облегченного понятия «перенесен» не останется и следа; человечество, не осознавая того, да, да, я убежден, не осознавая того, было втянуто начинателями классового расслоения в эру кровавого самоуничтожения, эру, которая разорила и продолжает разорять природную заданность и природную целостность жизни личностей и людских сообществ; мы строим небоскребы, летаем на сверхзвуковых лайнерах, но души наши опустошены, ибо те бытовые удобства (да и они, впрочем, далеко не у всех, если не сказать резче), какие вроде бы предоставила нам цивилизация, не могут заменить в человеке того чувства удовлетворения, какое он испытывал в период идиллического мироустройства, когда сознавал себя не рабом, а созидателем своего бытия. Период классового расслоения, период насаждения господства и рабства (а он, замечу, все еще не завершен и вряд ли будет завершен с достижением «глобализации», то есть мирового господства), — это период нескончаемых войн, разорений, престольного (я бы так назвал его) безумства, в которое втягивались и продолжают втягиваться народы, пребывающие, как и прежде, в беспроектном историческом невежестве. Что (кроме невежества) подвигает людей на такое безумство — истреблять, истреблять, истреблять (иногда во имя будто бы национальных, иногда неких всеглобальных целей) себе подобных, то есть разрушать мир, созданный природой для жизни и радости? Страх перед властью или перед внушаемым словом? Я полагал раньше, что метод тронного устрашения, тронного насилия — это метод прошлых веков, что он архаичен и что на смену ему явилось «точное» (по воздействию) и вовремя сказанное (особенно с возникновением СМИ, теле- и радиовещания, паутиной сети Интернета) слово; но, возможно, мнение это ошибочно, ибо не столетие, не тысячелетие назад властители начали свой чудовищный эксперимент по воздействию словом на поработанные простолюдинские массы. Если допустить, что фараоны пришли с войском и захватили Египет, то такая экспансия, во-первых, не обошлась бы без сражения, однако в истории нет свидетельств о какой-либо битве, предшествовавшей воцарению абсолютистских державников на древнеегипетской земле, и, во-вторых, если бы такой факт имел место и был бы хоть как-то зафиксирован в монументах или сооружениях-памятниках, то истоком цивилизации, то есть «колыбелью» или «зарей человечества», пришлось бы считать не Древний Египет, не Древнее Царство, а то людское сообщество, ту территорию, ту державу, откуда явились захватчики и где уже в полном объеме торжествовала система господства и рабства, система хищнического мироустройства. Но, повторяю, история здесь глуха и нема — либо по некоей тронной заданности, либо потому, что ничего подобного, то есть военной экспансии, в действительности вовсе не было, и Древнее Царство как первая государственная общность возникло на нильской земле совсем на иных (и тоже, возможно, привнесенных) основах и побуждениях. Я более склонен полагать, что фараоны, воцарившиеся на сорок веков на древнеегипетской земле, были миссионерами, то есть носителями неких новых идей в устройстве общественного бытия; пришлость их совершенно очевидна (хотя и неизвестно, откуда они пришли и к какому роду или племени принадлежали), как очевиден и их коварнейший замысел — бескровный захват власти. В своих действиях они оказались первопроездцами или скорее первооткрывателями таких явлений жизни, как престольное чужеродство (когда во главе народа становятся люди, не имеющие к нему никакого отношения) и как значение и сила слова в покорении и усмирении простолюдинских масс. Да, я более склоняюсь к этому прецеденту, перманентно (и с нарастанием) повторявшемуся в веках и достигнутому сегодня полного или почти полного совершенства, так что глубоко ошибают-

ся те, кто полагает, что лишь с появлением массовых информационных возможностей начал усиленно проводиться зомби-эксперимент над простолюдинским большинством; нет, это не так, подобный эксперимент ведется давно, он имеет столь же древние исторические корни, что и государственность, и непонятно только одно, почему явление это веками оставалось, как остается и сегодня, вне поля зрения академических столпов знаний.

LI

Однако вернемся непосредственно к теме повествования. Выше я уже упоминал, что государство по сути и предназначению представляет собой (хоть с точки зрения научной, хоть с точки зрения житейской логики) тысячекратно увеличенную копию первоячейки жизни — семьи, да иначе и не могло быть, ибо в истории нет примера, чтобы человеческое воображение смогло переступить за порог окружающей действительности; фараоны, то есть теоретики бескровного или скорее так называемого бескровного захвата власти, думаю, с первых же шагов своего царствования поняли, что управлять народом можно, только объединив людей в определенную социальную общность, так что у пришлых хозяев нильской земли оставался, по сути дела, только один пример для создания такой общности. В идеале это был правильный выбор, но в исполнении, как я уже говорил в предшествующих главах, когда была взята только схема первоячейки жизни и отброшено все то, что делало эту ячейку живым, действующим организмом, работавшим на удовлетворение потребностей всех, кто входил в круг хозяйских забот, — в исполнении, мягко говоря, все оказалось перевернутым с ног на голову. Крестьянин (а по тем временам землепашец или скотовод составляли базовую основу любого национального образования) прежде всего возводил жилище — для себя, своих чад, живности, наполнявшей его подворье, и возводил с максимальными удобствами для всех (разумеется, в пределах тогдашних норм и традиций); фараоны, должные вроде бы выступать в роли главы семьи (хозяина крестьянского дома), начали построение своей социальной общности (прообраз будущего государства) со строительства дворцов, храмов, пирамид, или, так сказать, с самообслуживания, и с тех пор, да, именно с тех древних пор принцип самообслуживания стал главным прецедентом для тронной деятельности. Дворцы породили дворцовую жизнь, дворцовую культуру, дворцовое барство на фоне хижинной обездоленности, нищеты и бесправия, алчность правителей, болезненно заботившихся о бессмертии своих тронов, настраивала их на новые и новые (по отношению к подданным) рэкетирские «подвиги», и стремление к общему благу, то есть к тому, что по логике вещей или, вернее, по прецеденту семейного уклада жизни должно было стать главной заботой государства (в конце концов ведь деятельность правителя мы всегда сравниваем с деятельностью главы семейства или клана), — стремление к общему благу перерождается лишь в озвучиваемый время от времени идеологический трафарет, далекий от действительно совершавшихся дел. Мир наводнен царскими дворцами, княжескими замками, помещичьими усадьбами, и если учесть, что материя не исчезает, а только перетекает из одного сосуда в другой, то относительно дворцов, храмов и хижин можно сделать вывод, что за двести с лишним веков из хижинного бытия было извлечено (для ублажения тронов) столько богатств, что пора бы уже остановиться и подумать о простолюдинах, которые, рождаясь (как, впрочем, и правители, и окружающая их элита) для жизни, по сути дела, не жили, а влачили, как продолжают влачить и теперь, жалкое существование. Мы думаем о государстве как о родном доме (по пуповине, все еще будто бы соединяющей государство с народом), тогда как оно, это так называемое общественное образование, давно уже переросло «детскую» ступень развития и превратилось в главнейший механизм политического, экономического, духовного подавления масс. Кому-то может показаться, что я отвергаю государственность как

форму общественного бытия, но это не так; я отвергаю не государственность вообще как форму жизни (она вполне могла бы сообразоваться на иной, доброжелательной к людям основе), но то, что мы имеем сегодня и что, пройдя через пространство тысячелетий и совершенствуясь, как утверждают историки и философы, совершенствовалось не в достижении общего блага, а в приемах насилия, ограбления и закабаления простолюдинских масс, отнимая у них и присваивая себе все, что можно было отнять и присвоить для упрочения тронного могущества. При беглом взгляде на этот исторический процесс, эту перманентную метаморфозность, через которую прошло государство, представ ныне перед нами во всей силе своей обособленности и бесконтрольности, может возникнуть предположение, что все, что связано с этим процессом (процессом становления общественного уклада жизни), вытекало будто бы из потребностей народных масс, то есть складывалось само собой, как может только складываться жизнь при естественном ходе развития; мнение это, которое скорее можно было бы назвать народным, чем научным (в конце концов огражденные частоколом исторического невежества, мы и сегодня склонны полагать, что государство и народ есть единое целое и потому оно не может не считаться с интересами народа),— мнение это представляется столь же незыблемым, как незыблема система господства и рабства, да и позволят ли столпы академических знаний самооголиться в нищете, скудости и предвзятости своих измышлений? В действительности же ничего естественного в формировании государственности не было (замедленность процесса — это еще далеко не естественность), а происходила невинная будто бы в простейшем восприятии терминологизация жизненных явлений, и именно она, терминологизация, способствовала рождению и легитимизации диктатуры, да, да, чуть ниже мы убедимся в этом, именно диктатуры на всех уровнях государственной власти от царя (президента), восседающего на престоле, до последнего чиновника, кровопийствующим клещом угнездившегося в забытой людьми и Богом провинциальной глухомани. Казалось бы, что особенного в том, что устройство домашнего очага, когда глава семьи был не наблюдателем этого житейски-созидательного процесса и не мучился ожиданием неких сказочных результатов, какие щедро в посулах выдавали правители, а трудом добивался желанных благ,— да, что особенного, если сие обыденное, естественное, понятное каждому дело получает название «политика»? Все идет, как идет, да и ничего вроде бы не должно измениться, и потому никто даже не обратил внимание на этот введенный в обиход термин. А напрасно, ибо последствия оказались куда более драматичными, чем когда-либо можно было представить. Над свободно-созидательной жизнью людей, в которой каждый прежде всего чувствовал себя человеком, хозяином домашнего очага, распорядителем своей судьбы (при общем однообразии деревенского быта у хлебопашца или у скотовода всегда оставалась возможность для проявления индивидуальности),— да, над этой именно свободно-созидательной простолюдинской жизнью был, по сути дела, занесен меч всеглобального ошаблонивания личностей; пока народы занимались созиданием своего индивидуального быта, правители искали способы управлять ими, и едва только простолюдинское большинство получило обобщенное название своей житейской повседневности, в руках у властей предрержащих оказался тот диктаторский рычаг воздействия на простой (по своему детскому еще мировосприятию) люд, каким и сегодня в полной мере (не считаясь с реальностью) пользуются все нынешние правители. Отобрав у народов право на самостоятельность, самобытность развития, правители, вдохновляемые «научными» выкладками (ведь политика давно уже превращена в науку, а там, где наука — я имею в виду историческую и философскую науки, — всегда измышления и ложь), до того доруководствовались в своих «стремлениях к общему благу», а по сути, благу для себя, для удовлетворения своих амбициозных потребностей, что прежде вольный, процветавший (на базе идиллических отношений) мир простолюдинского большинства был превращен в ошаблоненное нищетой и бесправием хижинное бытие. Получается так, что люди, когда они

были независимы и свободны и не стремились к научному обоснованию своего бытия, жили в достатке и благодати, но как только правители вкупе с учеными мужами взяли на себя эту повседневную простолюдинскую ношу (полагая, что заняты благотворительностью), на простолюдинские массы, словно эпидемия чумы, опустилось беспросветное рабство. Дело, конечно, не в терминах, какими и сегодня поименовываются явления жизни, а в том, как эти термины, выстраиваясь в ряд научно-обобщенных понятий, используются тронными и околотронными особами, полагающими, что они более чем кто-либо еще (простолюдины здесь вообще не в счет) знают альфу и омегу народного (ибо любят ссылаться на народ, будто бы денно и нощно пекутся о нем) жизнеустройства, тогда как на самом деле знания их никогда не простирались за пределы царских палат, барских, академических, предстоятельских кабинетов и келий. Политика, хотя она теперь и преобразована в науку, но только номинально, то есть по видимости, является изготовителем и координатором жизненаправляющих идей; на деле же всегда была охранительницей системы господства и рабства, которая, как неоднократно отмечалось выше, за тысячелетия и тысячелетия, несмотря на войны, революции, кровавые и бескровные дворцовые перевороты и бесконечные пределы мира, не только не претерпела никаких (в стержневой своей основе) изменений, но, напротив, обрела почти фараоновское абсолютистское господство над поработанными народами, странами, континентами. Наверное, глупо протестовать против обобщенных понятий, ибо без них невозможно было бы так раскладывать по полочкам исторические явления, как мы их раскладываем теперь для досконального вроде бы исследования, но одно дело — наука, которая, как дышло, куда повернул, туда и вышло, и совсем другое — жизнь в реальном своем драматизме; обычно то, что важно для науки, почти не имеет отношения к жизни (кроме, разумеется, чудовищно негативного своего влияния). Мы апеллируем понятиями «политика», «народ» и умысленно ли, не умысленно ли потеряли за этими понятиями человека как личность; рабство — это не только стальной ошейник, бесправие, безысходность, но прежде всего — единообразная, безлика людская масса, а ведь каждый, стоящий в этой толпе, — личность, как и восседающий на троне любой «богоизбранник», и если мы не замечаем этого ужасающего перекоса, то, возможно, пришла пора расписаться в полном своем бессилии.

ЛП

Не меньшее влияние на общую жизнь людей оказали и такие обобщенные понятие, как экономика, вобравшая в себя одновременно и руководство сельским хозяйством, и промышленным производством, и разработкой недр; культура, превратившаяся из творческого проявления народного духа в строго регламентированный атрибут дворцового ублажения; искусство как ветвь культуры, порожденная дворцовым барством и ни с какой стороны не соприкасающаяся с эстетическими потребностями простолюдинского большинства; зодчество как зеркальное отражение дворцовых идеалов, как вызов замороженному крестьянскому (хижинному) бытоустройству (архитекторов и строителей часто ослепляли и казнили, чтобы они больше нигде не смогли повторить возведенного ими шедевра); живопись и ваение, которые из простых потребностей изобразить себя и природу оказались дворцово-запрограммированными, с одной стороны, на возвеличивание царей, полководцев, дабы у народов было кому поклоняться, а с другой — на прославление библейских сюжетов, библейских героев-полубогов (религиозный фундаментализм тогда уже начинал довлеть над всем), на сооружение золотоотливных иконостасов, доводя их до непревзойденных образцов; и наконец песнопение и музыка, что в народе обычно соответствовало его духовному состоянию и что, попав затем в руки дворцовых манипуляторов, превратилось в инструмент магического воздействия (через органичные церковные пред-

ставления, молитвенные песнопения или, если вернуться к современности, через развращающие нравственность шлягеры) на те же простолюдинские массы. Конечно, это далеко не полная картина тех трагических изменений, какие последовали за эпохальной терминологизацией самых простых, обыденных, будничных явлений жизни; впрочем, терминологизация не завершена, сегодня она продолжается с удвоенной силой, внося в быт простолюдинских масс все новые и новые диктаторские перемены, правителей (как, впрочем, и ученых мужей, обтирающих своими одеждами монархические и президентские престолы) уже не устраивает терминологизация отдельных явлений (малая диктатура должна рождать большую и породила — глобализацию как преддверие новofараоновского абсолютизма), и они, обращаясь то к истории, то к современности, сочинили сказку о смене социальных формаций, согласно которой человеческое сообщество будто бы постоянно и неуклонно, ступень за ступенью продвигается к прогрессу и процветанию. Чтобы легитимизировать нынешнее непомерное расслоение людей на богатых (их всего-то жалкая кучка) и бедных, составляющих неподсчитанное простолюдинское большинство, нужно было найти такое обоснование, которое бы, начав разбег в глубочайшей древности, эпохально подтверждалось бы неким поэтапным ходом развития (правда тут может быть заменена только безукоризненным правдоподобием), и таким обоснованием явилась теория о некой смене социальных формаций. Эту теорию я считаю второй и самой убийственной волной терминологизации, когда естественная жизнь людей вгонялась не в политику (следовало бы подчеркнуть это слово) того или иного правителя, но припечатывалась уже так называемой социальной формацией, оккупационно захватывавшей народы и континенты. Нас уверяют, что рабовладельческий строй вышел из общинного и родового, и хотя утверждение это вызывает массу вопросов и недоумений, ни историки, ни философы, ни теологи не только не собираются подвергать сомнению эту ими же самими выдвинутую аксиому, а, напротив, всеми правдами и неправдами поддерживают ее; поддерживают потому, что от нее исходит легитимность классового расслоения, согласно которой правители, учредившие рабовладельческий строй, ни в чем не повинны, ибо они действовали по историческому прецеденту. Воздав хвалу фараонам как основоположникам «великой цивилизации» и посетовав (между строк) на процветавшее тогда рабство, столпы исторических и философских знаний пришли к глубокомысленному выводу, будто рабство, распространившееся было на присредиземноморские народы (достаточно вспомнить древнегреческую и Римскую империю), было заменено феодальным строем лишь потому, что рабский труд стал неэффективным и тормозил развитие производительных сил общества. Ни слова о человеке как первоединице жизни, о его страданиях, притеснениях; легитимна власть, следовательно, легитимно все, что она творит, легитимны нищета, бесправие да и само рабство, вытекающее будто бы из общего хода развития людских сообществ. Разумеется, историки и философы остерегаются подобных прямых высказываний, но сквозь все их труды пролегает, скрепляя их в некое стройное, логически выверенное повествование, эта стержневая тронная заданность, и потому не случайно, нет-нет, не случайно причиной падения рабовладельческого строя выдвигается не социальное неравенство, не угнетенное состояние масс, а некая неэффективность труда, заводящая общество в тупик. Эпоха рабства, читаем далее, заменяется так называемым феодальным устройством жизни, то есть те же рабовладельцы, самоопределившиеся в латифундистов, продолжают властвовать в необъявленных своих княжествах, а рабы, именуемые теперь батраками (будто батрак — это уже не раб), остались теми же бесправными людьми, вернее, рабочим скотом у процветающих феодалов. В жизни людских сообществ, как видим, не произошло никаких перемен, если не считать, конечно, усиления власти (укрепления ее легитимности), какое получили латифундисты, и приумножения бесправия, какое подкреплялось уже самим положением простолюдинских масс. Я не понимаю, какое может быть здесь деление на социальные формации, когда именно в социальном аспекте между ни-

ми нет никакого различия. В конце концов ведь и феодальный строй обанкротился, как пишут ученые мужи, все по той же причине — неэффективности, но теперь уже батрацкого труда. Что это? Простое совпадение или закономерность, выведенная иерархиями академических знаний? Если совпадение, то странное, ибо противоречит их же аксиоматическим утверждениям, а если закономерность, то вообще разрушается вся схема или, уточним, теория о так называемом поэтапном развитии человечества — смене социальных формаций. Если сказать образно, смена формаций напоминает мне известную присказку о граблях и нерадивом хозяине. Человечество, ведомое кумирами-поводырями, светилами академических и церковных знаний (я беру полный ряд, включая и капиталистические, и социалистические, и коммунистические, и нынешние, демократические преобразования), с каждой новой формацией наступает на одни и те же грабли и никак не может понять, почему смена эта не приносит результатов, а только возвращает нас, да-да, буквально возвращает на круги своя; властители остаются властителями, рабы — рабами, дворцовая жизнь, дворцовое барство — дворцовой жизнью и барством, хижинное бесправие и нищета — хижинным бесправием и нищетой, но мировое сообщество всякий раз после смены формаций делает вид, будто живет в новых условиях, приближающих его к достижению заветного «общего блага». Резонно было бы здесь заметить, что если при смене формаций главная составная жизни, то есть система господства и рабства, остается непоколебимой, то какой смысл в этой карточной тусовке, если тузы пребывают тузами, шестерки шестерками? Не лучше ли было бы оставить человечество в покое, открыв ему простор для самобытного развития, не ломать, не калечить поэпохально его традиционное бытие (дав при этом простолюдинскому большинству возможность к самообеспечению), не поднимать смут, не насыщать кровью землю, реки и не устилать природную красоту трупами убиенных за справедливость, не вступать в очередные переделы мира,— да, не лучше ли было бы остановиться на каком-то одном более или менее приемлемом варианте и начать совершенствовать его, то есть восстанавливать достоинство и порядок в общественных отношениях и общественном бытии. Фантазировать, конечно, я понимаю, можно много и по-разному, но жизнь рукотворная, подчеркиваю, рукотворная жизнь людей, однажды зараженная «идеалом» хищнического мироустройства, уже не может остановиться в своих тронноубийственных, тронно-разорительных схватках за богатство, славу и власть. Однако чем-то все же вызвалась потребность к декоративной смене социальных проблем; и вызывалась, думаю, не заботой кумиров-поводырей, обеспокоенных нерентабельностью то рабского, то батрацкого, то наемного труда (названия разные, суть едина), и не тем, что на мировое сообщество надвигался голод и надо было срочно что-то предпринять, чтобы предотвратить его (по крайней мере дворцовой сытости ничто не угрожало в этом плане), но скорее всего опасением народного бунта, способного смести все, в том числе и фараоновскую систему господства и рабства. Капитализм, возникший на волне кровавых революций, должен был, как ожидалось, изменить наконец установившийся на планете миропорядок, но на деле опять все свелось к злополучным граблям и нерадивому хозяину, и человечество, набив очередную шишку на лбу, так и не смогло выйти за рамки хищнической системы бытия. Теперь говорят, будто не столько после буржуазных, сколько после пролетарских революций двадцатого века мир все же стал другим, что, дескать, обрел новое лицо. Тут следует заметить, что каждый видит или способен увидеть лишь то, что желает увидеть, но я предпочитаю отталкиваться от реальных фактов, которые свидетельствуют, что и после самых кровавых революций нашего столетия мир (усилиями ведущей поводырской тройки: правителями, «подвижниками» от науки и Церкви) оказался поставленным на ту же колею гегемонизма власти и бесправия простолюдинских масс. Коммунистические идеалы, если без заданного пристрастия рассматривать их, были и остаются самыми привлекательными в своих теоретических обоснованиях (кое-что из Библии, кое-что из идиллического бытия), но в прак-

тическом воплощении они оказались зеркальной копией всех вместе взятых пережитых формаций с их дворцовым процветанием и хижинной нищетой, показывающей, что мир ни на шаг не продвинулся вперед от черты фараоновского абсолютизма. Человек уже своим рождением обретает все естественные права на жизнь (так по крайней мере должно быть), но с той минуты, как попадает в руки родоприемницы (акушерки), вместо естественных прав получает ограниченные, скажем так, права гражданина, нагруженного более обязанностями, чем правами, то есть оказывается в том мире господства и рабства, в котором, не прекращаясь ни на день, идет жесточайшая борьба за богатство, славу и власть; да, с первым шагом попадает не в благоустроенный для человека мир бытия (за тысячелетия страданий у людских сообществ была возможность создать таковой), а в мир коварства, в который так ли, иначе ли оказались втянутыми народы, но вместо правды об этом историческом и текущем бытии, какую ждем от родителей, от общества, держащего на кормлении элитно-академический корпус, от церковников, постоянно будто бы (через молитвенные бдения) общающихся с Богом и вполне сведуших будто бы в делах земного мироустройства, от государства, в чьих руках находятся электронные и неэлектронные СМИ и просвещение, через которое как раз и насаждается в простолюдинских массах ложное представление об историческом процессе развития, — вместо правды, которая помогла бы разобраться во всех этих чудовищных перекосах жизни, нам подается отъявленная ложь, закамуфлированная сетью терминологизированного диктаторства. Не отступили от сего тронно-канонизированного правила и демократы, без тени смущения объявившие себя носителями свободы и справедливости и успевшие (под крышей ими же самими устроенной лозунговой шумихи) трижды за десятилетие обобрать и унижить российский люд, и все это потому, что мы не знаем ни своей, отечественной, ни всемирной истории и не можем понять логику обманов, издревле, да, издревле захлестывающих нас своими златоискрящимися волнами несбыточных надежд и кладбищенских утешений.

ЛШ

Мне кажется, нет для любого здравомыслящего человека большего унижения, чем признание в том, что он не знает своей отечественной истории; что-то там происходило в веках, были какие-то нашествия, войны, захватнические походы, сменялись великие князья, цари, императоры, кровопийствовавшие над простолюдинскими массами, ходили по Руси самозванцы, внедрялись какие-то законы, принимались доктрины, конституции, вершились казни, да мало ли чего не было в истории нашего народа и государства, однако было и былшем поросло, а жизнь людей как текла, так вроде бы и течет, подтверждая бессмертие своей простолюдинской нивы, вносящей безмянными плодами или, вернее, поддерживающей в людях веру в торжество справедливости, в абсолютизм добрых начал, без которых невозможно было бы существовать (как многие думают и сегодня) ни личностям, ни людским сообществам. Мир един, целостен, мне уже не раз приходилось говорить об этом, и все, что входит в него на правах стержневой ли, не стержневой ли основы, все-все варится в едином котле самобытных (иного от хищнического мироустройства нельзя и ожидать) идей и идеалов. Разумеется, человечество невозможно насильственно принудить изучать историю, ибо познание прошлого — это только часть, хотя и очень важная, в раскладе общественных и житейских интересов, и, видимо, на площадке этих интересов как раз и начали возникать как определенная потребность жизни историческая и философская науки. Возможно, они взрастали на основе искреннего стремления к познанию миробытия, но, возможно, и я этого не исключаю (более того, даже целиком придерживаюсь этой второй версии), людскому сообществу предлагались, образно или обобщенно говоря, некие посреднические ус-

луги в познании мироздания, и человечество, заинтересованное в них (точно так же, как и мы сегодня), с верой и благодарностью их приняло; более того, не просто приняло, но нарекло этих исходно-дворцовых посланцев высочайшим званием «подвижников», готовых положить жизни на священный алтарь знаний. Конечно, трудно усомниться в правоте наших предков, принявших такое решение, они были искренни и перед собой, и перед историей, выделяя в особый клан так называемых знатоков жизни и вещателей истины (думаю, вряд ли они понимали, что и на какой срок индульгируют), да ведь и то сказать, в те древнейшие времена, когда в сознание людей укладывался первый пласт так называемых научных изысканий, трудно было заподозрить оракульских мудрецов в предательстве интересов народа, интересов собственно науки (в конце концов ведь письменная история народов, человечества сочинялась в оракульских святилищах, заполненных языческими идолами, и монастырских кельях, обставленных ликами христианских святых), но теперь, когда напластования утяжелились до значения эпох, эр и ложь в этих напластованиях, потеснив истину, почти целиком заменила ее (реализм давно уже нам только снится), — представление о «подвижничестве» ученых мужей должно было бы в корне измениться, а сами иерархи знаний, посыпав головы пеплом, уйти в небытие. Однако мечта о справедливости, как это обычно бывало прежде, и жизнь, загнанная в жесткие рукотворные рамки, — понятия несомнимые; поводярствующая верхушка вкупе с подножной элитной обывательщиной, заняв свои теплые (на крови) места под солнцем, никогда не думали, как не думают и теперь, о восстановлении справедливости; они были и остаются противниками любого пересмотра истории (пересмотра тех условий бытия, в каких им вольготно управлять и барствовать), а пример тронов — главнейший пример для подражания ученым мужам, поскольку, уютно устроившись под крышей своих эпохальных напластований, они настолько ревниво стерегут возведенный ими «величественный храм наук», что любое даже малейшее реалистическое прикосновение к нему представляется им прямым посягательством на канонизированную в веках истину. Апатичность или, вернее, самозащита правителей и ученых мужей, как и апатичность народа, в данном случае и объяснимы, и закономерны; правителей вполне устраивала, как устраивает и сегодня древнеегипетская система господства и рабства, и им совсем не с руки подпиливать сук, на котором сидят; народ, народы, для которых фараоновская система есть наивысшее зло жизни, к сожалению, не нашли ничего лучшего, как только индульгировать своим смирением и покорством бессмертие дворцового и храмового барства. Нам кажется (по устоявшейся уже традиции), что корни исторических да и текущих явлений исходят от поводярствующих личностей, и мы либо поддерживаем их, либо спешим согнать с престола, и в этих сменах кумиров, в этом противостоянии ищем альфу и омегу жизни, тогда как дело не только, вернее, не столько в царствующих или тиранствующих особах, сколько в тех мировых тенденциях развития, которые, однажды утвердившись на волне классового расслоения, диктуют и сегодня правителям и народам кодекс своего хищнического абсолютизма. Объясняется же все тем, что правители вооружены знаниями о народе, о поведении простолюдинских масс и соответственно манипулируют ими (разумеется, в свою пользу), народ же, то есть простолюдинское большинство, живущее по законам справедливости и добропорядочности (что невольно переносится и на царствующих особ), — простолюдинское большинство, пользующееся только поверхностными знаниями о власти, обычно оказывалось, как оказывается и в наше время, беспомощным перед кумирами-поводырями, владеющими (против них) тысячелетним опытом оглупления илотов, плебеев, смердов и т. д. В познании миробытия давно уже и четко определились два направления: реалистическое, или истинное, огражденное дворцовым безмолвием, и иллюзорное, основанное на правдоподобных измышлениях и просветительски поданное (оно таковым подается и сегодня) в народ, и у основания этой развилки лежит тот самый «философский камень» (или, вернее, положен фараоновской державностью), который одним, правителям и

холопски притулившимся к ним ученым мужам, служит (и давно уже служит) бессменным и четким ориентиром их дворцовой жизни, дворцового барства (с лиц их не сходит вековая усмешка, едва только речь заходит о «философском камне»), тогда как для других, стремящихся к реальному освещению исторической и текущей действительности, остается и по сей день недоступной и не поддающейся разгадке тайной, преграждающей путь к познанию и истолкованию промахов, ошибок, злостно-целенаправленных действий, допущенных человечеством в процессе развития. Да, все дело в этой вилке (вилке жизнеподготовленности, я бы назвал ее), разделяющей правителей и народ не по дворцовому процветанию и хижинной нищете, а по степени знания законов и закономерностей исторического и текущего бытия, и никто ни из церковников, ни из иерархов знаний ни словом не обмолвился в своих трудах о развилке, положившей начало ущемлению (прав на познание) простолюдинского большинства; знание реальной истории есть прежде всего оружие защиты народа, его самосохранения, и если бы простолюдины осознали, да, хотя бы осознали эту простую истину, мрачный горизонт бытия осветился бы той полоской зари, которая сегодня так нужна человечеству для обретения сил и бодрости перед назревающими великими событиями. Читателю, наверное, не совсем понятно, почему автор, начав с описания событий отечественной истории (с так называемого «призвания» варягов на княжение), отошел от первоначального замысла и вновь вернулся ко временам древнеегипетских пирамид, древнегреческой и Римской империй, а вернее, к тому, что послужило и продолжает служить исходной, или, сказать иначе, отправной, точкой всеохватного насилия над человеческой личностью, людскими сообществами, народами, странами, континентами; всемирная история есть совокупность национальных историй, так что все, что происходило и происходит в мире, в той или иной степени, но неминуемо захватывало все живущие на Земле племена и народы, и в этом есть своя, может быть, страшная, чудовищная закономерность, против которой человечество, перенося свои страдания из эпохи в эпоху, из эры в эру, так до сих пор не выработало достойного нейтрализатора. Ключевой фразой нашей истории (хотя это официально и не признано) является летописное обоснование злополучного (и все же так называемого) «призвания» чужеродцев на славянский престол, дескать, «земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет»; кем и когда она была сочинена и когда вписана в текст «Повести временных лет» — у истории нет ответа на этот вопрос; нет потому, что сама «Повесть...» с момента ее создания претерпела столько редакций, что никто уже не может сказать, что было в первом, втором, третьем, четвертом списках, поскольку всякий раз после редактирования оригинал словно по наваждению таинственно и бесследно исчезал, обнажая очередную пустоту в нашей и без того обобранной, куцей славянской истории. Шло ли это от исконного ротозейства (здесь, как шило в мешке, проступает историческое невежество, в каком держали и продолжают удерживать простолюдинов), или все упиралось в чужеземство, оккупировавшее престол и доверившее грамотеям все от того же чужеродства сообразовывать славянскую историю и (сообразовали — ложь на лжи — и продолжают беспардонно сообразовывать в том же духе); явление сие покрыто глухой пеленой, застлано измышлениями и недомолвками, среди которых, как в густом тумане, теряется след славянской самобытности. Я давно уже пришел к выводу, что с тех пор, как мировому сообществу было навязано хищническое мироустройство, народы уже не могли развиваться самостоятельно, то есть в традиционно-национальных условиях бытия; участи этой не избежал и славянский люд, откровенно признавшийся в известном «призвании» варягов на престол, что не может на своей «великой и обильной земле» навести порядок; порядка к тому времени уже не было ни в одном народе, так что изречение российских мудрецов вполне могло бы соответствовать как прошлому, так и теперешнему состоянию жизни; в конце концов ведь Земля (в планетном своем охвате) действительно велика и обильна. И действительно, порядка в людских сообществах как не было, так и нет, и тут нет никакой слу-

чайности; приведенный пример показывает, что у России нет и никогда не было некоего своего особого пути развития, как пытаются доказать современные историки и философы, а все происходившее и происходящее в ней строго, может быть, даже строжайше регламентировано общемировыми тенденциями развития.

LIV

Начну с распространенной истины, что есть общеславянская история, уходящая корнями в глубь веков, которой по стечению весьма и весьма странных обстоятельств (прежде всего из-за разрозненности) сегодня никто всерьез не занимается (словно некогда великий и могущественный народ уже постигла участь кельтов), и есть национальные славянские истории, которые противостоят друг другу скорее на религиозной (католичество, православие), чем на социальной или языковой несовместимости. Раскол — это не соизмеримая ни с какими преходящими катаклизмами беда славянства, и начало этого самоубийственного для нас явления восходит ко временам цезарских походов и насаждения христианства; само же разделение произошло не от неуживчивости наших единокровных предков, как это пытаются представить нынешние западноевропейские и российские историки и философы, а в результате мощной духовной и силовой экспансии королевских европейских дворов (разделяй и властвуй), нацеленных на завоевание трона мирового господства. Фараоновским державникам, вышедшим на захват обетованных земель, поработившим народы Присредиземноморья (вспомним Греческую и Римскую империи), уничтожившим кельтов и подчинившим себе Европу, видимо, все это показалось недостаточным для их разгоревшихся тронных аппетитов, и они обратили свой хищнический взор на земли славян. Первым, кто заложил в политику европейских королевских дворов идею славяноненавистничества и славяноистребления, был создатель «Великой (на пепелище римских развалин) Священной Римской (европейской) империи» Карл Великий. Провозгласив доктрину *Lebensraum*, то есть расширения жизненного пространства за счет славянских земель (доктрина эта до сих пор будоражит умы западных правителей), он как бы открыл путь захватническим походам на Восток, и хотя успехи его в этом плане были невелики, но лиха беда начало; тысячи больших и малых походов с тех пор обрушивались на славянские земли, и это не могло не отразиться на характере и устройстве быта славян. Древняя и древнейшая наша история (история доцезарских походов и христианского миссионизма) была просто-напросто украдена у нас; любые даже незначительные свидетельства (кроме уцелевших работ Геродота и Тацита и греко-римских философов, ходивших в страну «славных Гипербореев») были превращены в прах и преданы забвению. Выходит, что славянство, заселявшее две трети территории Европы, вроде как бы существовало (опять же Геродот и Тацит), но вроде бы и не существовало, ибо следы существования, весь богатейший культурный, экономический, социальный уклад жизни (прямо противоположный хищническому мироустройству) не раз и не два подвергался разрушительным вандалистским набегам, был в конце концов опорочен, раздавлен и втопан в небытие истории (волной римского экспансионизма и последовавшей за ней волной прямого, ни на чем не основанного славяноненавистничества тронных королевских персон и их элитных прислужников); первыми подобному вандализму подверглись народы Присредиземноморья, затем Европы, сумевшие в схватках с римлянами растерять все свои национально-самобытные достоинства, и следующим на очереди оказался могущественный славянский анклав (могущественный не военным потенциалом, а достижениями в области культуры и общественного — идиллического — строительства). Цель вандализма не всегда была так ясна, как она ясна сегодня; одно дело — разрушение дворцов, храмов (любая власть ставит на пьедесталы своих кумиров), и совсем другое — когда народы

целенаправленно, планомерно лишают исторических корней жизни. Славянство (в этом раскладе эпох) подвергалось двойному вандализму; с одной стороны, разрушались святыни, объединявшие и центрировавшие нашу национальную самобытность (народ, соединенный корнями со своей историей,— это всегда могущественный народ), а с другой — произошло великое, о котором историки и философы предпочитают умалчивать, духовное ограбление славян, следы которого спустя века вдруг, к изумлению даже самых признанных иерархов знаний, обнаружались на греческом Олимпе. Имена большинства олимпийских богов ни о чем не говорят грекам, они выглядят явно привнесенными, чужеродными (и по смыслу, и по звучанию), а точнее, заимствованными у славян; но открытие это было тут же и закрыто, то есть предано умолчанию, ибо если признать, что греческий Олимп заселен украденными славянскими богами, то придется признать и то, что у славян некогда была высочайшая культура, вандально стертая с лица Земли, а духовные ее ценности, неподвластные тлену, перенесены на греческий Олимп. Откровенное, правдивое изложение истории никогда не бывает по вкусу правителям, но еще более — прислуживающим им ведущим иерархам знаний; славян вандально притесняли и обворовывали не одно и не два столетия, а когда уже все монументальное было разрушено и втоптанно в грязь веков, а духовное было перенесено на греческий Олимп и вмонтировано в греческую историю, определив таким образом ее величие на века (таким же воровским способом действовал и Рим, перетащив греческую, а вернее, славяно-греческую культуру к себе и объявив ее великим достоянием империи),— да, когда уже все было вандально разрушено и реквизировано у славян, их объявили иванами, не помнящими родства. Я не знаю, чего больше в этом презрительном выражении: цинизма, унижения, насмешки,— но одно здесь предстает понятным и ясным — большой народ — опасный народ, и, лишив его исторических корней, надо и нравственно, духовно уничтожить его; зараженные карфагенизмом правители Запада не могли остановиться на половине пути, и если тогда, в те далекие времена, не все задуманное удалось им претворить в жизнь, то, надо сказать, они просто просчитались. Славяне хотя и не были столь могущественными воинами, чтобы достойно противостоять легионам Карла Великого, и не были столь духовно крепки, чтобы преградить путь саранчовому нашествию христианских миссионеров, но, как истинно великий народ, они сумели, хотя бы и замкнувшись в себе, достойно выдержать этот первый, авангардный напор носителей фараоновской хищнической державности. Сегодня мало кто задумывается над тем, сколько зафиксированных в истории и незафиксированных экспансионистских нашествий было совершено на западных и восточных славян, а ведь это наша история, наше драматическое прошлое, не разобравшись в котором, нельзя строить ни настоящее, ни будущее. Кто-то, может быть, согласится с этим, кто-то не согласится, но факт остается фактом: карфагенизм по отношению к славянству в последние столетия вновь начал набирать силу; вот уже и труды Геродота и Тацита ставятся под сомнение, а самих этих историков-реалистов называют прославянски настроенными личностями; случайно это или не случайно, время показывает — не случайно, ибо вся наша древняя и древнейшая история намеренно насыщается понятиями «дикость» и «варварство», как очередное напоминание мировому сообществу о некоей будто бы неполноценности (неразвитости или недоразвитости) славянской расы. Возникает вопрос, чем вызвана эта новая (полагаю, даже не вторая, третья, четвертая, а десятая) волна всеобщего (я не абсолютизирую, поскольку еще далеко не все народы и государства подчинены диктату мирового семибоярского державства) славяноненавистничества? По крайней мере столпы академических знаний самообрекли себя в этом вопросе на стоическое молчание; они притворились глухими и немыми, хотя многие явления жизни позволяют все-таки кое-что прояснить в пятнадцативековой тайне насаждения этой чудовищной античеловечности, замеченной еще Карамзиным во время путешествия по Европе. Десятилетие назад я тоже был поражен неким достаточно странным фактом. В начале перестройки, да, именно в канун пере-

стройки, на одном из каналов государственного телевидения вдруг прерывается передача, и появившаяся на экране личность довольно жестким, не допускающим возражений тоном заявляет, что народ, который посмеет встать против еврейства, будет стерт с лица Земли. Адресовано это было явно российскому славянству и, повторяю, именно в начале перестройки, то есть капитализации нашей жизни, но почему славянству, ведь мы всегда, то есть веками, жили в мире с евреями и не раз в бедах выручали их? Однако это прошло и оставило в душах русских людей настороженность и смятение; мы тяготимся этим, тяготится этим же и мировое сообщество; не желая попасть в сферу сих нешуточных устрашений (если опираться на эпохальную действительность), многие народы, государства, не решаясь на самостоятельность действий, не нашли ничего лучшего, как вернуться к подзабытому славяноненавистничеству, памятного по прошлым векам, но без учета реальных истоков этой целенаправленной травли ни в чем не повинного, добродушного славянского люда. По тому, как подготовлена эта новая волна опорочивания и унижения восточных славян, можно сделать вывод, что на сей раз западно-захватнические силы вознамерились основательно сломить наметенный ими к уничтожению народ и захватить его богатейшее (по известному прецеденту со времен египетских пирамид) «обетованное» пространство. Так они поступили с народами Присредиземноморья, затем в Европе, уничтожив кельтов и ополовинив вообще коренное население континента, а оставшуюся половину спустя столетия побросали в костры инквизиции; так поступили во времена открытия и освоения Америки с индейцами, принявшись уничтожать их, а жалкие остатки загнав в самоистощающие себя резервации; и именно эту участь подготовили (призвав в обязательные свои союзники так называемое мировое сообщество) теперь непокорному, все еще упорствующему восточному славянству. А ведь истина открывается просто: они точат зубы на богатейшие природными ресурсами (да и рабами, если, конечно, удастся окончательно поставить нас на колени) наши земли; в прошлом их интересовали пушнина, древесина, плодородные черноземы, ныне же — недра, то есть нефть, газ, алмазы, золото, цветные металлы, и, видимо, аппетит на эту «обетованную» землю (доставшуюся будто не тому народу) заслоняет в них свято-природное чувство человечности. Русский народ, если он не хочет подвергнуться участи кельтов или американских индейцев, не должен внимать льстивым речам современных западных миссионеров, поднаторевших, особенно за последние века, во лжи, двуличии, коварстве и обманах (мягко стелят, да жестко спят); вполне очевидно, что нас окончательно берутся лишить этой новой волной славяноненавистничества исторических корней жизни, превратить не формально, а реально в иванов, не помнящих родства, и, чтобы защититься от этого возобновленного ныне многотысячелетнего бедствия, нужно сегодня уже встать единой стеной на пути этой беспрецедентной (и беспричинной, да, главное, беспричинной) травли во всех ипостасях нашего бытия и вернуть так bestолково, по сути дела, ротозейски утраченное человеческое достоинство.

LV

Второй этап российской истории по официальной версии начинается с появления Рюриковичей на нашей земле; по сути же дела, этап этот (хотя для меня жизнь всегда оставалась и остается единой, целостной и всякое деление на этапы представляется определенной условностью) исчисляется гораздо ранним сроком, но Рюриковичи, следуя, видимо, мировым тенденциям развития, вышедшим из нильской земли, целенаправленно исключили все, что было предтечей их господства (и что относилось лишь к захваченным ими славянам), и положили в основу изложения только то, что относилось к их поработительским (великокняжеским) деяниям на оккупированной ими славянской земле. Таким образом, вслед за уничтожением древней и древнейшей нашей истории, в результате

чего мы оказались иванами, не помнящими родства, нас оголили (теперь уже Рюриковичи) во второй раз, наложив черное пятно на более чем двадцативековой и главнейший для национального самосознания период жизни. Да, второй этап начался задолго до появления Рюриковичей, его можно было бы датировать в промежутке между хождением греческо-римских историков в страну «славных Гипербореев», походами Цезаря, Карла Великого и насаждением христианства; в то время в жизнеустройстве восточных славян, да и не только восточных, верховенствовал еще идиллический образ жизни; предки наши не знали ни господства, ни рабства (сомневающимся в этом еще раз предлагаю обратиться хотя бы к трудам Геродота и Тацита), не испытывали ни диктата империй, ни насилия царей, королей, императоров (сие не означает, что не было государственности, она была, но строилась совсем на других основах, чем фараоновская хищническая державность), и в этот благословенный мир добронравных, миролюбивых людей, как нож в сердце, ворвалась, да, буквально ворвалась жизнеистребительная система господства и рабства. Первыми поставщиками ее, хотя, может быть, это прозвучит непривычно и странно, следует считать скандинавских викингов (обычных варяжских разбойных или, вернее, пиратских шаяк, если не возвышенно, а приземленно толковать это явление); их превозносят сегодня как великих мореплавателей, за пять с лишним столетий до Колумба побывавших будто бы в Америке и, по сути дела, открывших этот континент (что не вполне доказано, но весьма возможно, хотя итог этого открытия нулевой), как исследователей северных морей (островов, континентов), спускавшихся и к южным параллелям, их интересовали чужие земли, чужие народы (и этот интерес, если судить по преподносимым источникам, тоже мало что внес в историческое развитие), но я сомневаюсь, что морские и сухопутные вылазки их осуществлялись лишь ради простого и страстного любопытства, ради возможности проявить мужество и с этим похвальным титулом войти в историю; если воспринимать их по позднейшим пиратским разбойным делам, а мы знаем, что настоящее вытекает из прошлого, то, вероятнее всего, не бесцельными были их морские воюжи и сухопутные наскоки. Викинги — это бутафорский престиж нации, если верить тому, что говорится и пишется о них; но история не может приниматься на веру, действительность ее в событиях и фактах; обобрав побережья Северного и Балтийского морей, они начали искать проход к Средиземному, на котором, естественно (еще со времен Древнего Царства), свирепствовали свои пиратские дружины; пройти сухим путем через Центр Европы викингам (варягам) не удалось, поскольку дорогу преграждали сначала греческие фаланги, затем римские легионеры, и тогда, решив поискать иной путь, они двинулись по рекам сквозь земли восточных славян к Черному морю, к богатейшей работорговой Византии. Историки наши (разумеется, с приходом Рюриковичей) стали называть его «торговым путем из варяг в греки», но истинное предназначение его отнюдь не было торговым. Путь закладывался как разбойный (он оставался разбойным и после явления Рюриковичей на славянской земле); викинги, они в то время однозначно уже именовали себя варягами, а свои пиратские шайки русью (см. «Повесть временных лет»), первоначально досаждали лишь Константинополю, осаждая его и беря с него богатейшие откупы, затем границы их разбойных деяний перекинулись на Каспий, где лежали еще не тронутые скандинавскими ордами персидские земли, и побережное население этого внутриконтинентального моря, страдая от подобных набегов, уходило в глубь страны. Награбленные богатства надо было переправлять на скандинавскую родину, и, чтобы поставить это ремесло на профессиональный, как мы бы сказали теперь, уровень, они на своем открытом ими воровском пути, тесня от него славян и грабя их, превратили Киев в свое передаточное звено; одни пираты, пираты-добытчики, караванами везли награбленное в этот днепровский город, сбывали его землякам-переправщикам, отходившим в Скандинавию, и после пьяных оргий, забав и отдыха вновь направлялись на добычу. На Каспии, чтобы иметь базовую основу для походов в глубь Персии, был основан ими город Русь (Россия); он просущество-

вал более трех или даже четырех столетий, отсюда варяги нанимались в охрану к роксоланам (евреям, державшим шелковый путь), кормились за счет неплохой, видимо, оплаты этого военного труда, а когда шелковый путь приказал долго жить (не без усилия персов), город Русь (Россия) был брошен варягами, запустел, и от него остались лишь скудные воспоминания. На всем своем разбойном пути «из варяг в греки» скандинавские пиратские шайки возводили сельские поселения (типа деревни на Валдае, из которой затем Вещий Олег привез невесту князю Игорю — будущую равноапостольную княгиню Ольгу); располосовав восточное славянство надвое этим своим прорубленным окном к азиатским богатствам, они первыми, как я уже говорил, привнесли дыхание хищнического мироустройства в уравновешенный славянский быт, оттеснили наших предков с родовых земель частью в лесные, частью в равнинные места, разбив единую славянскую общность на полян, древлян, родимичей, кривичей и т. д. и отбросив таким образом наш народ, нашу самобытность в создании единого, целостного государства на сотни лет назад. По ходу повествования нам еще придется вернуться к этим эпизодам отечественной истории, ибо, памятуя о городе Русь (Россия), многие зарубежные да и наши историки, путая варягов со славянами («русский народ» и варяжский город Россия на Каспии), полагают, что разбоем занимались русские люди, то есть славяне, и что они же нанимались к роксоланам сопровождать их караваны по шелковому пути; на этом основании делают глубоко ошибочные выводы о давнем и плодотворном сотрудничестве богатых евреев с бедными, но воинственными русичами (разумеется, под патронажем роксоланов), держатели шелкового пути будто бы давали нашим предкам работу (отбивать наскоки персов на караваны) и вообще помогали жить и развиваться. Однако предки наши никогда не нанимались к роксоланам, а тихо, мирно, добронравно жили по правобережью и левобережью Днепра и прилегавшим к нему рекам, занимались земледелием, скотоводством, и понятие «русь» имело для них разве что пугающее значение и ни с какой стороны не связывалось ни с прошлым, ни с настоящим; к тому времени они уже, как отмечалось выше, прозывались полянами, древлянами, родимичами, кривичами, и в спокойном, ясном сознании их, возможно, лишь смутным предчувствием пробуждалась тревога за свое самобытное будущее. Чувство это пробуждалось от варяжских пиратских орд, сновавших взад-вперед с награбленным добром по открытому ими разбойному пути, но спустя несколько столетий, так как персидские берега Каспия были опустошены, а на осаду Константинополя не хватало сил, движение это начало постепенно затухать, да и затихло бы, если бы не киевский князь Святослав, решивший повторить «подвиги» своих родичей. Думаю, что так же ошибочно связывать имя этого безродного, иначе не скажешь, князя с русскими людьми, со славянством. Ведь Киевская Русь, как и город на Каспии, получила название от варяжской дружины (от Рюриковичей, пришедших к нам «со всей русью»), Святослав был прямым потомком викингов (варягов), дружина его состояла сплошь из соплеменников, о чем свидетельствует историческая действительность, и хотя ученые мужи замалчивают этот факт, полный энергии киевский князь, конечно же, был достаточно осведомлен о разбойных (геройских, по их мнению) подвигах предшественников и не случайно, прособирав дань со своих славянских анклавов (полян, древлян, родимичей, кривичей), двинулся на Каспий к персидским берегам. Он вел себя точно так же, как вели себя викинги; поняв, что на Каспии ему делать нечего, ибо все уже до него было разграблено, разорено, опустошено, он двинулся со своей могучей варяжской дружиной, считавшей себя наследницей викингов (какой-никакой, а патриотизм), на Дунай, в Даккию, а затем и во Фракию, то есть в южные славянские земли; цель этих его походов, то есть бессмысленность, так до сих пор и остается невыясненной, он был властелином Киевской Руси, и возникает вопрос: для чего от родного престола искал престол в чужих странах? Такая неясность, думаю, только подтверждает догадку о викингах, странствовавших по свету в поисках неизвестно чего и для чего. Святослав был плоть от плоти своих неумных предков, он обос-

новывался то царем во Фракии, то правителем в Дакии, то шел на Константинополь, осаждал его и требовал непомерный откуп. Но викингский щит не может служить оправданием киевскому князю, и его разбойные дела, еще раз напоминая, нельзя связывать с тихо и мирно жившим славянством; однако связывают, связывают вопреки фактам истории и таким образом еще и еще раз превращают нас в диких и варварских людишек, не знающих ничего, кроме насилия и душегубства. Ложь на ложь и еще раз ложь на ложь (по доктрине Карла Великого и европейских королевских дворов) — и вот уже на славян наложен новый виток вселенского терния.

LVI

Следом за первым и вторым было третье отсечение славянской истории, то есть период, когда самым основательным образом вторглась в мирную, идиллическую или, вернее, во многом еще идиллическую жизнь восточных славян фараоновская система господства и рабства, система хищнического мироустройства. Викинговавшие варяги — я так бы назвал это скандинавское разбойное племя, — расколовшие, как уже отмечалось, единый славянский анклав надвое и раздробившие его на некие вроде бы родовые общины (летописцы и историки полагают, что к тому времени мы жили еще именно родовыми общинами, и ложь эта, я не знаю, для чего выдуманная, настолько исказила и продолжает искажать историю, что создается впечатление, будто у предков наших не было ни великой культуры, ни культуры жизни вообще, никто не разрушал святых для нас памятников и не умыкал наших языческих богов на греческий Олимп), — викинговавшие варяги, расколовшие нас и отбросившие чуть ли не к периоду родовых общин, только проторили дорогу тогдашним хищническим тенденциям развития человечества, но двинувшиеся вслед за ними полчища готов, первыми поднявшие на славянской земле флаг престольного чужеродства (флаг этот, многократно перекрашивавшийся за века, но по сути остававшийся все тем же флагом престольного чужеродства, до сих пор торжественно развевается и над Кремлем, и над всей раскинувшейся на бескрайних просторах Россией, — готы во главе со своими действительными, а не самозванными, подобно Рюриковичам, князьями оказались и первыми оккупантами, и первыми создателями чуждой для нас (на основах господства и рабства) империи. В первой книге этого многотомного повествования я рассказывал, каким образом на базе славянских племен возникла эта империя, о ее первом царе Эрманарихе, или Германарихе, правившем в ней более пятидесяти лет (я назвал ее тогда Русью Первой, и под этим грифом она вполне могла бы войти в отечественную историю, если бы не престижные амбиции Рюриковичей), о том, как она была уничтожена нашествием гуннов, а теперь намерен обратиться лишь к истокам этого несколько странного, как видится мне, явления, к его корням и связям с викинговавшими до них в этих местах варягами. Начну, может быть, с несколько неожиданного утверждения, что как в природе, так и в развитии человечества есть некие не рукотворные, а естественные шаблоны, то есть определенные явления жизни, неизменно повторяющиеся из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие и оказывающие огромное влияние на общие обстоятельства бытия. К таким явлениям я прежде всего отношу территориальное общение, во-первых, в рамках национально-родственных связей (в большинстве случаев) и, во-вторых, просто от соприкосновения с соседствующими народами, в результате которого происходит самый интенсивный обмен опытом (разумеется, и дурного, и положительного толка); обмен, далеко опережающий частные интересы, обмен информацией, люди, людские сообщества расширяют горизонт восприятия мира и обретают устойчивую тенденцию выстраивать свое будущее по тому или иному приемлемому прецеденту с поправками лишь на национальный характер, национальную самобытность. Несмотря на некоторое, даже иногда значительное, расхождение

укладов жизни восточных и западных славян, они были приверженцами одной и той же идиллической системы бытия, и это ставило их в ряд могущественных европейских народов, стремившихся к единому миролюбивому и добронравному существованию как между своими, так и между соседствовавшими сообществами. Есть исторический факт, доказывающий это: славяне никогда никого не облаживали данью, хотя по своему могущественному многолюдству вполне могли бы делать это, и — разве этого недостаточно для характеристики наших тихих, миролюбивых предков, передавших нам свои нравственные идеалы, которые, кстати сказать, оказались совершенно непригодными в условиях хищнического мироустройства. Явление это легко просматривается у кельтов, у многих других европейских народов, да и у неевропейских, и точно так же оно было присуще и скандинавскому, а вернее, всему прибалтийскому людскому сообществу, с той только разницей, что сообщество это подверглось шаблонизированному влиянию викинговщины, или викингонизации, то есть обрело совершенно противоположное славянству восприятие жизни (я имею в виду прежде всего восточное славянство), разбойные интересы, страсти и настроения. Викинги (варяги), гулявшие по свету, оставляли после себя легенды о своих походах, а награбленное добро, привозившееся ими, служило доказательством их «воинских подвигов», молва об этом, естественно, распространялась по всему прибалтийскому побережью, возбуждала интерес и стимулировала новые и новые походы; возможно, когда варяжские нашествия на Византию и Персию начали ослабевать, истощаться (персы уходили в глубь страны от опустошительных набегов скандинавских русичей, а Константинополь набирал могущество и становился неприступным), вольно или невольно начинала возрастать популярность легенд, с одной стороны, красочно описывающих ратные успехи викингов, а с другой — создававших преувеличенное представление о якобы все еще несметных азиатских богатствах, и, думаю, на волне этих ложных свидетельств как раз и возникло движение готов. Населявшие северное побережье Балтийского моря, они, как истые немцы, самым тщательным образом готовились к своему южному походу. По свидетельству тех времен, они не хотели ограничиваться только разбоем и ограблением, цель их была основательной и грандиозной — взять Константинополь, покорить Византию и создать на основе этого работоргового (христианско-православного) государства свою готскую империю, которая по замыслу могла бы соперничать с уже распадавшимся тогда Римом; да, как истые немцы, они собрали достаточно внушительное по тем временам войско и двинулись всей этой несметной готской ордой «из варяг в греки», и нетрудно предугадать, какой след, прошагав от моря до моря, оставило это войско на славянской земле. На десятки верст по обочинам этого пути все разорялось, уничтожалось, отбиралось, съедалось, кострами пылали селения наших предков; естественно предположить, поскольку готы были уже приобщены к системе господства и рабства, они забирали славян для нужд войска, чтобы затем выставить этих несчастных на работорговых рынках Востока. Это было первое колоссальное бедствие, обрушившееся на восточных славян, и предки наши, во многом исповедовавшие еще идиллические устои бытия, не были готовы к такому повороту событий; сегодня у многих может сложиться впечатление, будто прапрадеды просто-напросто оказались (возможно, пребывают и теперь, когда требуется защитить свои интересы) слабым, беззащитным народом, не умевшим постоять за себя, но это не так; они не ходили в походы, никого не завоевывали, жили и жили своей самобытной основательностью, и мир (разумеется, в соответствии с их добропорядочностью) представлялся им единым и справедливым, где человек не может обидеть человека зазря, равно как и народ не может насильничать над другим; да, славяне не были готовы к такому повороту событий, они не готовились к войнам, не оттачивали ратное мастерство, как делали немцы, скандинавы, и эта вроде бы объясненная беспечность дорого затем обошлась и продолжает обходиться нам. Я пишу об этом не с сожалением, а с гордостью за наших прапраотцов, что они так строго блюли человечность и

нравственность, не были ни душегубами, ни властителями и не навязывали свой опыт жизни другим сообществам. Думаю, таким прошлым мог бы гордиться любой народ, но только не мы сами, руководимые (из столетия в столетие) нашим «доблестным» престольным чужеродством. Итак, вслед за викинговавшими варягами восточное славянство было расплосовано двинувшимися готскими ордами. Они, как крестоносцы, облаченные в латы, более полутора лет пеше и конно топтали нашу землю, свирепствуя, как позднее свирепствовали только кочевые племена, вал за валом наваливавшиеся на нас, и годы эти (годы, совершенно выпавшие из нашей истории благодаря, как уже отмечалось здесь, амбициозности Рюриковичей) были только началом наших эпохально-бесчисленных страданий. Пройдя путь «из варяг в греки», готы подступили к Константинополю и обложили его с моря и суши; они вполне могли бы взять и разрушить эту православную цитадель, но с хитрой и коварной Византией не так-то просто оказалось справиться. Византийские императоры, они же и главнейшие церковные предстоятели, обычно избегали прямых военных столкновений, предпочитали действовать хитростью, затеивали переговоры и предлагали дары (благо богатств было у них предостаточно); точно так же они поступили и с готами, пригласив их князей, возглавлявших войско, в свои золотоотливные палаты и храмы; им было что показать северным варварам, изумив их и, по сути дела, обезоружив несказанной роскошью и красотой; предложили не рушить благословенное Богом сказочное православное царство, а принять (от Господа же) дары и поискать своего счастья в других, никем пока еще не занятых, но достойных обетованных землях. История не обладает данными, сколько длились эти переговоры — неделю, две, войско от бездеятельности начало уже мародерствовать в окрестностях Константинополя, но готские князья все не принимали решения; одни были за то, чтобы штурмом взять православную столицу и объявить о создании Готской империи (подобно тысячелетнему рейху), другие хотели избежать кровопролития, принять дары и двинуться на сопредельные страны, тем более что византийский император и патриарх указывал на славянство. «Берите, владейте,— говорил он готским князьям, среди которых был и будущий создатель Руси Первой Эрманарих,— а мы обещаем самое деятельное содействие». Странно, конечно, очень странно, но судьба восточного славянства в очередной раз решалась не славянами и не на славянской земле.

LVII

Готские князья так и не пришли к согласию, войско разделилось, одна часть его, возглавляемая молодым, энергичным князем Эрманарихом (Германарихом), двинулась на земли восточных славян, другая — во Фракию и Дакию, и таким образом была создана не одна, а две готских империи: южная, на базе дунайских и придунайских славянских племен, и северная, вобравшая в себя всю восточнославянскую территорию. По арабским источникам, Эрманарих довольно легко одолел наших предков, можно сказать, прогарцевал, как победитель, красуясь перед войском, сопротивление оказывалось ему слабое по известным причинам: он не разрушал города, не жег селения, не брал никого в полон, поскольку собирался править этой страной, этим народом; летописцы и биографы, сопровождавшие его в походе, пели ему славу, возвеличивали, героизируя его ратные и нератные деяния, и все это, если бы не было жизнью, могло сойти за грандиозный разыгрываемый спектакль. Возможно, он не столько был государственным мужем (хотя и создал Русь Первую, то есть державу, с которой вынуждены были считаться и Византия, и арабские страны), сколько любил представлять; к войску ли, к народу ли он всегда выезжал на гарцующем коне под красной попоной, все на нем отливало золотым блеском и производило впечатление. Он был популярен, народ чтил его за парадную молодцеватость; он создал по-своему романтический образ царя и умер, как жил, картинно: будучи

уже столетилетним старцем, кинулся с обнаженным мечом на подступавших гуннов. Между тем это тоже был важный период в нашей истории, славный или бесславный, нам остается только гадать, ибо Русью Первой (только потому, видимо, что она прозывалась Готской империей, и немцы считали и продолжают считать ее частью своего «славного» прошлого) никто у нас всерьез не занимался и, похоже, не собирается заниматься теперь. Рюриковичам это было не нужно, они лишь хотели, чтобы никто не только не предвзял, но и не мог предвзять их господство на славянской земле, иначе говоря, начинали свою историю, свой отсчет времени и ориентировались сугубо на свои варяжские интересы; историкам и философам, давно и основательно прославившим себя в роли академического чужеродства (вспомним засилие немцев в науке, с которым боролся Ломоносов), тоже представлялось не с руки вязываться в весьма и весьма сомнительное, как они полагали, прошлое, пронизанное немецким твердолобием (думаю, сентиментальность и человечность — явления несовместимые), а все последовавшие за Рюриковичами кремлевские сидельцы — Романовы, коммунисты, демократы — стремились и стремятся лишь утвердить себя в истории; во всяком случае, из прошлого славян оказался выброшенным еще один важный период жизни, наложивший, безусловно, свой отпечаток на наше самобытное житье. Между тем Русь Первая — это было весьма любопытное и странное для того времени государство, которое нельзя считать ни чисто немецким, как это делают наши западные соседи, ни однородно славянским, хотя основу составляли именно славяне, в нем уживались разные национальности, и за все царствование Эрманариха не было отмечено ни бунтов, ни восстаний, ни карательных экспедиций и казней; правил государством царь со боярами, содержал войско, правящая верхушка во главе с коронованной особой исповедовала католицизм, в пределах возможного была распространена письменность, а при внуке Эрманариха Виннитаре велась летопись. Летопись эта и сегодня хранится в архивах Германии, но, повторяю, ни к Руси Первой, ни к Виннитаровой летописи у наших ученых мужей как не было, так и нет интереса. Конечно, исторический процесс — не кофейная гуща, и никакие домыслы о том, как повернулась бы жизнь, если бы события протекали в ином, чем было обусловлено, русле, невозможны; они протекали так, как протекали, и никто не вправе отсекал их от нашей истории. Русь Первая имела (опять же по арабским источникам) достаточно оформленную государственную структуру подчинения и соподчинения, и хотя теперь трудно установить, каким образом собиралась дань с населения, но, во всяком случае, не разбойными наскоками на славянские анклавные — полян, древлян, кривичей, родимичей, как делали это в начале своего господства Рюриковичи, привыкшие к викинговому рэкетиству, и хотя бы уже в этом отношении Готская империя, или Русь Первая, стояла на несколько порядков выше Киевской Руси. Это был, по сути дела, первый опыт славянской государственности (я имею в виду ее базовую основу), и если бы мы через наше трижды усеченное просветительство хоть что-либо знали об этом периоде нашей истории, то могли бы извлечь из нее определенный поучительный урок. Но мы ничего не знали и не знаем о Руси Первой (V—VI века нашей эры), и я убежден, большинство русских людей сегодня даже понятия не имеют об этой нашей ранней государственности. Я не преувеличиваю, а подвожу только реальный итог нашего «славного» просветительства. Думаю, не дело задаваться историку риторическими вопросами, и все же: почему нас отсекают от нашей истории (какой бы она ни была, героической или негероической, но она наша, кровная), почему нас вгоняют в пресловутое ложе иванов, не помнящих родства? У меня складывается впечатление, что все это неспроста, что здесь явно просматривается эпохальный антиславянский замысел, сравнимый разве что с травлей и опорочиванием кельтов, в свое время предпринятой римскими цезарями; они, эти цезари (Рима нет, а цезари действуют и процветают), настолько заражены карфагенизмом, что, пока не уничтожат намеченную жертву, не закопают останки ее в могильную яму, не успокоятся, и этот трафарет античеловечного, а по нынешнему полити-

канству — славяноненавистнического мышления безотказно по крайней мере действовал в веках и действует теперь. Народы загоняются в беспросветное рабство — силой оружия, силой слова, а тех, кто противится, разоряют экономически, уничтожают политически, обездоливают исторически, то есть ставят в положение изгоев, а затем измываются над этим их изгойством, как над неким национально-врожденным пороком, от которого невозможно избавиться; грабят-ся государства, грабят-ся континенты (из чего-то же вырастают небоскребы), а новоиспеченные фараоновские державники все не могут насытиться, они буквально свирепствуют, объявив себя хозяевами планеты, и не случайно именно сегодня, да, именно сегодня, вновь и все громче раздаются голоса: «Карфаген должен быть уничтожен»; кто и что подразумевается под Карфагеном, чаще всего замалчивается, чужеродные правители, стоящие во главе почти всех государств (это династический клан «богоизбранников») и как огня боящиеся своего народа (подъема народного патриотизма), возможно, и понимают, что происходит в мире, но делают вид, будто их это не касается, и либо, в лучшем случае, отмалчиваются, либо лизоблюдски подыгрывают самозванным вершителям человеческих судеб. Думаю, читатель не осудит меня за это неожиданно вырвавшееся отступление, которое может показаться риторическим, но, смею заверить, это не так; я просто пытаюсь восстановить тот мостик между прошлым и настоящим, о котором не любят говорить ни историки, ни философы, ни политики, но который тем не менее есть, он существует и показывает, что, какие бы ярлыки благородства мы ни наклеивали на систему господства и рабства, она остается неизменной в своей стержневой основе и не позволяет никому свернуть с ее хищнической колеи. Однако обратимся к прерванному тексту. Хорош ли, плох ли был опыт Руси Первой, но он был и, повторяю, не мог не наложить свой отпечаток на наше самобытное развитие; не знаю, возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, разбитый на анклавов славянский люд (разбитый викингами, прорубившими пиратский путь «из варяг в греки») вновь ощутил себя единым могучим народом, на горизонте нашей истории засветилась полоска зари, но жизнь опять делает крутой поворот и обрушивает на восточных славян не охватное по масштабам бедствие.

LVIII

Всемирная история — это распахнутая книга человеческого бытия; так по крайней мере полагают ученые мужи, принимаясь за изложение исторического процесса развития (варианты, варианты, варианты, и, как видно, нет и не будет им конца); все вроде бы вполне естественно, познание, как и жизнь, не имеет границ и должно находиться в постоянном движении, однако если обратиться к действительности, как это происходит реально, то без каких-либо усилий можно заметить, что ничего распахнутого в исследовании нашего прошлого нет, а есть только специально отведенный властителями коридор для летописцев и историографов, по которому дозволено им веками ходить взад-вперед, ублажая и возвеличивая систему господства и рабства и нагромождая на застагнированную ложь свои изысканные правдоподобия, и есть запретные отсеки вдоль этого коридора, куда не разрешено ступить никому (не было сделано исключений даже Платону и Аристотелю) и где таятся ключи от многих и многих загадочных (якобы загадочных) явлений жизни. Сдается мне, что нет никакой другой науки, в которой познание истины сопровождалось бы таким количеством запретов, как в исторической, и сколь ни прискорбно говорить об этом, однако реальность есть реальность, меняются правители, режимы, но запретное остается запретным, а это означает, что есть нечто неизвестное нам, на чем стояли и будут стоять троны, обеспечивая себе долголетие и могущество сокрытием правды во имя лжи. Выше я уже приводил примеры, когда ученые мужи загадочно, да, я снова произношу это слово, обходили молчанием многие судьбоносные явления

бытия, и к перечню этих неисследованных явлений хочу добавить здесь остающуюся в тени многотысячелетнюю (со времен Древнего Царства) историю противостояния Европы и Азии (белых и черных, католических, православных христиан и мусульман), ее корневые истоки, развитие и приближение к кульминационной развязке. Нельзя сказать, чтобы тема сия никогда не затрагивалась политиками, историками, философами; нет, почему же, затрагивалась, но только в тех временных рамках и с учетом лишь тех конкретных народов, которые втягивались в конфликт, а ведь локальность мышления, как и локальность взгляда, не могла способствовать осознанию глубинной разрушительной силы этого эпохально повторяющегося чудовищного прецедента истории. Наши, да и закордонные академические столпы знаний объясняют нашествия гуннов, аваров, татаро-монголов на Европу перенаселенностью азиатского континента; что же, возможно, в этом есть некая доля правды, да, лишь доля, то есть часть от целого или, сказать иначе, верхушка айсберга, ибо истинная суть этих нашествий — ответный удар Европе за поход Александра Македонского в Азию. Из столетия в столетие древние греки конфронтировали с персами, противостояние, если посмотреть на него с высоты текущих десятилетий, напоминало перетягивание каната, успех сопутствовал то одной, то другой стороне, и, чтобы покончить с этой перманентно-обременительной тяжбой, сын македонского царя Филиппа Александр, едва вступив на престол, двинул свои несгибаемые железные фаланги на азиатский континент. Одерживая победу за победой над бесчисленными воинами царя Дария, европейский мститель (хотя историки никогда не называли и не называют его так) был молод и, может быть, именно по молодости жестоко расправлялся с побежденными, прилюдно отсекал им головы, сажал на кол, вешал, распинал на крестах, расставленных по песчаной отмели вдоль Красного моря, не щадил ни правителей, ни народы, решавшиеся противостоять ему, азиатский люд охватывал ужас при одном только упоминании имени греческого полководца, так что европейцы, поощряемые юным македонским царем, выглядели (по своим кровавым свершениям) ничуть не лучше тех гуннских (аварских, татаро-монгольских) орд, которые с той же целью, как я уже говорил, вторглись спустя столетия на европейский простор. Прижизненные биографы Александра Македонского не оставили ясных свидетельств о целях похода своего кумира, а все, что позднее сочинялось о нем, может рассматриваться только как героизированный монтаж бессмысленных (по историческим итогам) разорительных деяний возликовавшего грека. Александр, как пишут о нем ученые мужи, мечтал повторить подвиг Геракла и повторил его (странная, если не сказать большего, цель для подобного похода); другие, кто вообще склонен к романтизации истории, видят в поступках своего любимца лишь то (опять же бессмысленное) геройство, которым буквально бравировал везучий завоеватель; он был властолюбив, умен, бесстрашен (в таком возрасте люди вообще не думают о смерти), и весь поход казался ему одухотворенной инсценировкой, в которой торжество, и только торжество, должно было сопутствовать ему, потому и не замечал, а может, просто не придавал значения тому кровавому следу, какой оставляли его железные фаланги, проходя через чужие народы и государства. Однако такая романтика тоже ничего общего не имеет с реальной действительностью; Европа (не только Греция и Македония) ликовала, получая победные реляции полководца, и всем было ясно, какой исторический урок давался азиатским народам; Азия же в ужасе содрогалась от этого дававшегося ей урока и закладывала в память будущих поколений возможные ответные меры. Память у народов остра, долговечна, она более живуча, чем память отдельных личностей; личности умирают, унося с собой в могилу неотмщенные обиды, народы живут вечно, эстафетно накапливая страдания поколений и заряжаясь мщением, и хотя историки, философы и особенно политики, занимающиеся обслуживанием тронов, не признавали и не хотят признавать этого, но фактор сей существует и во многом (не только через века, но и через тысячелетия) определяет социальные и нравственные поступки людских сообществ. Мы чтим своих полководцев, равно обагрыв-

ших кровью и европейские, и азиатские земли, возвеличиваем их, ставим им памятники и поем вечную славу, не считаясь с тем, что другая половина человечества, испытавшая на себе ужас этих необъяснимых нашествий (того же Александра Македонского или папских крестоносцев), отвергает этих кумиров и возводит на пьедесталы своих, ненавистных и не приемлемых для нас — Аттилу, Тамерлана, хана Бояна, Чингисхана, Батыя, и это устоявшееся разнообразие одних и тех же кровавых событий лишь наглядно подтверждает высказанную здесь мысль о перманентно-возрастающем противостоянии народов европейского и азиатского континентов. В древности не было Интернета, этого чудовищного (по возможностям распространения лжи) механизма зомбирования в руках правителей, место его занимала народная молва, которая хотя и медленно, хотя и со своими искажениями и преувеличениями, но все же разносила по миру весть о свершавшихся исторических событиях. Великий греческий полководец, окруженный фалангами натренированных в сечах воинов, не дошел до Алтая, не достиг байкальских берегов, кочевые народы не видели его на просторах своих густотравных степей, не испытали его жестокостей, до них доходили лишь слухи о некоем страшном нашествии белых людей (европейцев), и слухи эти производили далеко не однозначное впечатление на правителей и людские массы. В массах лишь зрело беспокойство от приближавшейся беды, от которой надо искать защиту, однако беда была там, на подступах к Афганистану и Индии, и, как это характерно для всех народов в преддверии катастроф, жизнь шла своим чередом, и тот внутренний дух отмщения, каким заражены были покоренные Александром народы, растекаясь по азиатскому континенту, в любой момент готов был поднять массы и двинуть их на Запад. Но пока мстительная сила только зрела в душах и не получала простора, внешне все оставалось спокойно, кочевые племена перегоняли с пастбища на пастбище свои бесчисленные отары, ставили и разбирали юрты, страдая лишь от притеснений вождей, вожди же, соперничая за господство, втягивали в свои тронные авантюры подвластные племена, степь заливалась кровью, устилалась трупами, и, казалось, никому не было дела до ответного мстительного удара по европейцам; не было, пока молодой, властолюбивый Аттила, покорив прибайкальские и алтайские племена и ощутив себя фигурой мирового значения (нельзя же всерьез полагать, что вожди азиатских племен были сплошными неучами), не огласил истинную цель своего намечавшегося похода. Историки и философы полагают (на основании будто бы высказываний самого Аттилы), что он двинулся на Европу с некими экологическими, если по-современному, целями — очистить землю от живых могильников, то есть городов, селений, домов, любых строений, и вернуть человечество к первозданному (будет день, будет пища) существованию. Должен признаться, что в какой-то мере и я тоже поверил в эту возвеличивающую гуннского предводителя легенду, хотя самая элементарная логика подсказывает, что цель была иной, и она вполне соответствовала велению времени и настроениям масс. Люди вряд ли бы бесчисленными толпами пошли к нему, если бы он огласил только экологическую программу своих намерений, ибо для чего было им покидать родные края и идти на чужбину биться и умирать непонятно за что? Простые люди, ведь они просты только в повседневности, перед ними надо было поставить задачу глобального масштаба, исполнение которой возвеличило бы их до исторической значимости, и гуннский предводитель, будущий властелин Азии и Европы, чувствуя, еще раз говорю, настроение масс, вынужден был открыть им истинную цель своего похода — месть европейцам за кровавые злодеяния Александра Македонского в Азии. Конечно, я понимаю, что выдвигаю лишь версию, невероятную тем, что она, эта версия, врываясь в запретную зону истории, разбивает веками навязывавшийся шаблон и ставит всех нас перед фактом конфронтации двух континентов, и тут я бы предостерег оппонентов от скороспелых выводов; загадка Аттилы — это не загадка истории, которую нельзя разгадать, хотя всё в ней свершается по прецеденту (лишь с незначительными поправками, не затрагивающими стержневой основы); в конце

концов есть поведение правителей, которое достаточно изучено, и есть настроение масс, подчиненное духовным порывам, и трудно поверить, чтобы Аттила и орды простолюдинов, собиравшиеся вокруг него, действовали как-то иначе, чем было принято тогда (да и принято теперь) действовать в подобных обстоятельствах.

LIX

Аттила готовился к походу основательно, в степь, по стойбищам, были разосланы гонцы с вестью о готовившемся походе на запад, чтобы наказать Европу за ее злодеяния в Азии; цель эта, ложась на подготовленную почву отмищения, находила понимание у простого кочевого люда, озабоченного слухами и легендами (страшилками) о жестокости греческого полководца, народ готов был встать на защиту своего достоинства, и вскоре к ханской стоянке Аттилы начали толпами стекаться возбужденные предстоящим походом (предстоящим отмищением) закоренелые степняки. Они прибывали целыми таборами, да простится мне это осовременивание, гнали впереди себя отары овец, табуны коней, в черных двухколесных кибитках (арбах), где находился весь их нажитый скарб, сидели женщины, дети, и вроде бы незаметно, незаметно, но к середине лета возле ханского шатра (белой юрты Аттилы), живым кольцом опоясывая его, образовался уходящий к горизонту город из черных кочевых кибиток и наездников (на низкорослых, монгольской породы, лохматых лошаденках), которые, еще не вкусив прелестей похода (безнаказанности, разбоя и грабежей), держались так, будто уже положили к своим ногам жалкую, ничтожную Европу. Так ли было на самом деле, как представляется мне (и что историческим изложением ложится на бумагу), или в иных, более ярких и достоверных подробностях — время не оставило нам свидетельств (да и в деталях ли дело, если все держится на стержневой основе); во всяком случае, Аттила, видя такое скопление воинов (скопление черных кибиток с женами и детьми, говорившими о серьезности намерений их мужей и сыновей), тоже ощущал себя на высоте величия, которое можно было бы охарактеризовать словами: «Ужо тебе, Александр!» Весной, едва земля оголилась от снега, он двинулся со всей своей конной и кибиточной армией в поход; вместе с еще более молодым, чем он сам, ханом Баламбером он ехал впереди этой растянувшейся на десятки верст армады, которую замыкали отары овец и конские табуны; в пути, пока добирался до Волги, к нему присоединялись все новые и новые толпы кочевников, настроенных больше на разбой, грабежи, рэкетиство, и масса эта, оглушая степь топотом копыт, скрипом колес и ревом скота, утомленного переходами, устрашающе приближалась к пределам европейских (славянских, точнее, восточнославянских) земель. Мы часто употребляем выражение: «Дремотная Азия, пребывающая в роскоши, неге и разврате». Я не думаю, что оно отражало или отражает истинное состояние жизни азиатских народов; народы везде живут в нищете и несправедливости, и их нельзя упрекать в дремотности, неге и роскоши; другое дело — правители и их элитные окружения, коих дворцовое барство время от времени повергает в летаргический сон, и как ни странно прозвучит это, но именно перед нашествием гуннов, когда гул от арьергардной Аттиловой конницы грозным эхом отдавался уже на берегах Рейна, Европа, начинающая престольными чужеродствами (то есть безразличием к коренному простолюдинству), дремотно ожидала, не предпринимая ничего, своей роковой участи. В первом томе «Призвания...» я подробно рассказывал о нашествии гуннов на нашу землю, о сопротивлении, какое оказала Русь Первая (Готская империя) ордам Аттилы; войско Эрманариха, в котором были и славянские полки, отчаянно обороняло столицу, располагавшуюся в районе нынешнего Киева (на Днепре, вблизи сарматских могильников, как уточняют арабские источники), но силы были настолько неравными, что к исходу боя уже некому было защищать ни дворец Эрманариха, ни своего картинно (с поднятым

в руках мечом) погибшего столетилетнего державного предводителя. Забегая вперед, скажу, что Русь Первая, по сути дела, была обречена на поражение; хотя Эрманариху регулярно докладывали (с того дня, как только Аттила со своей конной и чернокибиточной армией, переправившись через Волгу, начал расширяющимся клином врзаться в земли восточных славян) о приближении азиатских полчищ, царь не предпринимал ничего, чтобы поднять народ, то есть славянское простолодинское большинство, и, вооружив его, выйти навстречу захватчикам; по утверждению арабских летописцев такая возможность у Эрманариха была, славяне вполне могли остановить Аттилу и рассеять его кибиточное войско по приволжской степи, но, как видно, у царя не хватило ни ума, ни мужества опереться на народ, он понадеялся только на дружину и полки, собранные вокруг дворца (перманентная ошибка многих и многих поколений правителей), и самонадеянность эта, это небрежение чернью дорого обошлись затем правителю и народу. Взяв столицу Руси Первой (Готской империи), Аттила бросил ее на разграбление; улицы были завалены трупами, дома разрушены, сожжены, на площади перед пепелищем царского дворца с азиатской изощренностью казнили пленных (так и хочется сказать: в подражание великому греческому полководцу), и Аттила с коня молча, сосредоточенно смотрел на происходившее; какие мысли бродили в его наголо побритой голове, наслаждался ли он зрелищем (что вероятнее всего) или ужасался тому, что делал и не мог уже остановить, как пущенную в намет конную лаву на противника, — история в эмоциях еще более тленна, чем в поступках, событиях, фактах; известно лишь, что немногим горожанам, кинувшимся в спасительный лес, удалось выжить. Разрушив, а по сути сровняв с землей столицу Руси Первой, Аттила двинулся дальше в глубь славянских земель; он шел почти беспрепятственно, ему никто не оказывал сопротивления, и это, с одной стороны, потому, что сельский (коренной) люд не имел ни оружия, ни вожаков, способных организовать народ, а с другой — люди были настолько запуганы зверствами азиатских пришельцев, что разбежались по лесам, бросая жилища и спасая жизни, где их отлавливали гуннские наездники и либо расправлялись на месте, либо брали в плен, приставляли к конским табунам, отарам и ко всякому иному черному делу, на котором можно было использовать рабский труд. В действиях Атилиловых орд, если бы современники могли посмотреть на них не как на некое неизбежное (драматическое) событие, а через призму взаимосвязанных исторических прецедентов, они наверняка заметили бы, что в основе деяний гуннского лидера лежит нечто большее, чем только экологическое очищение земли от живых могильников; он не просто злодействовал, превращая в пепел города и селения и оставляя после себя безлюдную, выжженную пустыню, но злодействовал целенаправленно, с определенной мстительной заданностью, которой заряжен был сам, заряжены его орды, стремительно продвигавшиеся к центру Европы. Александр Македонский завоевывал Азию играючи; он видел противников только в тех личностях и тех народах, которые с мечом и в латах поднимались против него, вернее, когда лицом к лицу встречался с ними в сечах, и проявлял не только милосердие, но и дружелюбие к тем, кто покорялся его власти и признавал в нем императора и Бога. Ему нравилось азиатское барство (в противоположность сухой, строго регламентированной греческой демократии), и, желая соединить это барство с греческим укладом жизни, он пытался нарядить сопровождавшую его придворную элиту в просторные (легкие и продуваемые, как ему казалось) азиатские одежды. Греческий полководец, несмотря на многовековую тягбу с персами, а точнее, с Азией, не горел мстительностью к народам этого континента; Аттила же (и напрасно ученые мужи, то есть историки и философы, обходят молчанием этот вопрос) хотя и считал себя Богом или, скромнее, наместником Бога на земле, но в нем не было того милосердного начала, той (понятной всем нам) непосредственности в деяниях и поступках, которая так ли, иначе ли могла вставать на пути к его кровавым пиршествам, и это еще и еще раз доказывает достоверность выдвинутой здесь версии об истоках гуннского, да и не только гуннского (о чем еще

пойдет разговор) нашествий. Тут надо сказать, а точнее, согласиться с арабскими летописными свидетельствами, что гунны в начале своего мстительного похода на Европу действительно не были так сильны, как считают исследователи этого чудовищно-драматического явления (чудовищно-драматического не только для славян и других европейских народов, но и для самих так называемых мстителей, усеявших костыми весь пройденный ими путь от Алтайских гор до Рейна); да и сам Аттила — не случайно же он стоял более двух лет на Волге, не решаясь переправиться через нее, и хотя мы ничего не знаем о сомнениях азиатского полководца, но то, что он колебался, четко просматривается в его стагнационных действиях. До Волги войско Аттилы усиливалось, как уже говорилось выше, толпами единоплеменников, не желавших упустить возможность пожить за счет других народов; после Волги, после того, как была взята и сожжена столица Руси Первой, он стал привлекать (разумеется, насильственно, под угрозой смертной казни) к себе на службу молодежь из покоренных народов, главным образом славян, угров (венгров), болгар; бритоголовые, как истые азиаты, наряженные в традиционные черные одеяния, они разбивались на полки, ничем не отличавшиеся от гуннских, и к тому периоду, когда орды Аттилы, действовавшие на южном фланге, подступили к границам Сербии и Рима, а продвигавшиеся северной стороной поили коней в Рейне, славяно-угро-болгарские формирования составляли главную ударную силу азиатских захватчиков. С ней уже не могли справиться ни римские железные легионы, ни византийские вылазки из-за крепостных стен, ни скучившиеся за Рейном немцы, державшие оборону на последнем свободном пятачке европейской земли.

LX

Мы привыкли полагать (по внушениям официальных учителей и наставников жизни), что расизм — понятие однозначное, что оно связано с провозглашением превосходства одной нации над другой или другими и что последствия такого чудовищно-античеловечного явления обычно оборачиваются для людских сообществ неизмеримой трагедией; я не собираюсь опровергать эту формулировку, не раз подтверждавшуюся на пространстве веков и получившую подтверждение в новейшей истории походом тысячелетнего рейха на Россию, но, мне кажется, расизм как историческое явление общечеловеческого бытия незаслуженно (или скорее целенаправленно) сведен до междуусобных кровавых разборок, тогда как масштаб его проявления, если как следует присмотреться, не ограничивается только этими означенными рамками; он, то есть известный нам расизм, дополняется, во-первых, расизмом клановым, еще более коварным и распространенным во всех сферах нашего бытия, и, во-вторых, расизмом государственным, или державным, о которых большинство людей не имеет даже понятия, что таковые существуют и изо дня в день, из эпохи в эпоху угнетают нас. Во всех трех проявлениях расизм, что бы мы ни говорили о нем, является неизменной и неотменной составной частью тронной политики; традиционно политика эта восходит к Древнему Царству и фараоновскому Египту, как к прародителям торжествующего ныне хищнического мироустройства. К добронравным и дружелюбным египтянам явились чужеродцы и, объявив себя «детьми Солнца и Неба», то есть определившись со своим превосходством над коренным людом, принялись устанавливать свой порядок бытия. Порядок этот известен — господство и рабство, доведенные до абсолютизма (и в этом плане все рассуждения ученых мужей о «колыбели человечества» и «заре цивилизации» мне представляются наивными и смешными), и если мы отойдем от привычного исторического шаблона, согласно которому правители есть правители, и тут ничего не поделаешь, а народ есть народ, и тут тоже ничего не поделаешь, то есть от некой естественности будто бы хищнического бытия, и откроем (хотя бы для се-

бя) реальность жизни, то фараоновский порядок предстанет перед нами как первоначальный прецедент прямого и явного государственного (державного) расизма. Правители, которым была чужда самобытность завоеванного народа, взяли решительно искоренять ее, вгоняя таким образом простой люд в безродство, обращая его в рабочий скот, абсолютных рабов, и опорой в этом античеловечном деянии им служили тронная власть и божественное (оно же будто бы и национальное) превосходство. Я понимаю, что отступаю от текста, но, если по большому счету, отступление это — вовсе и не отступление, ибо оно расширяет диапазон исторического видения и открывает простор ко многим и многим необъясненным, скрытым процессам жизни, через которые в свое время прошли почти все народы мира и вот уже второе тысячелетие проходим мы, задаваясь одним и тем же безответным вопросом: что с нами происходит? А между тем скрытые от простолюдинского большинства эти процессы жизни, и скрытые, как выясняется, злонамеренно, могли бы (при определенных, то есть вышеназванных, условиях) проясниться не только в своих реалистических очертаниях, но и в основной своей стержневой сути. Если бы над народами не стояли престольные чужеродства (по прецеденту фараоновского Египта), возможно, не было бы ни государственного (державного), ни кланового, вышедшего из державного, расизма; мир человеческого бытия, если обозреть его, скажем, с какой-нибудь спутниковой орбиты, предстал бы перед нами утыканным церквями, костелами, мечетями, синагогами (всеохватная религиозная власть); престольные чужеродства, паутино сковавшие народы, страны, континенты, невозможно рассмотреть ни с какой орбитальной высоты, однако ими так же, как и религиозными храмами, наводнен сегодня мир человеческого бытия (всеохватная светская власть), и хотя все мы так ли, иначе ли сознаем нелепость и несправедливость такого исторического перекося (правители торжествуют, народы бедствуют), но, подвергнутые тысячелетним внушениям и воспитанные в вековых традициях превосходства власти над народом (в чем как раз и заключено скрытое коварство государственного, державного расизма), чувствуем себя бессильными или, вернее, безоружными (по скудости своих исторических знаний) перед всемогущим, всемирно спаянным или, если точнее, кланово-породненным престольным чужеродством. У меня складывается впечатление, что не случайно из трех форм расизма — националистического, государственного, кланового — был выбран для битвы только националистический, тогда как два других, представлявших и представляющих суть всей многоэпохальной политики тронов, загнаны в тень, приглушены, словно их никогда не было и не могло быть. Почему? Да потому, что расизм, распыленный на три значимости, так ли, иначе ли затрагивал бы самые сокровенные интересы тронов, а сведенный к одному, прикрыл, словно зонтом-невидимкой, два других, составлявших и составляющих ныне опору власти. Расизм в том значении, в каком мы воспринимаем его, — явление, как показывает действительность, разового порядка; вокруг него больше шумихи, чем разоблачения, из него сделали пугало для народов (что не беспочвенно), чтобы на корню подрывать патриотические движения, в то время как за этой ширмой (шумихой) вольготно действуют, то есть живут и процветают в своей заданной повседневности, государственный (державный) и клановый расизм. Суть государственного расизма заключается в том, чтобы не допускать коренной люд к рычагам власти (историк Соловьев, к примеру, свидетельствует, что спустя столетие после прихода Рюриковичей на нашу землю ни одного славянского лица уже нельзя было разглядеть среди воевод, бояр и дворян); суть кланового расизма, целиком вышедшего из державного (я называю его еще азиатским), есть ни больше ни меньше как повторение державного, только на другом, можно сказать, бытовом уровне, когда определенными выходцами из элитных кругов захватываются такие сферы деятельности человека, как культура, литература, искусство, зодчество, наука, религия, то есть все, чем определяется духовная жизнь народа, и замыкается или закольцовывается на одних только вошедших в такой клан личностях, породненных либо чужеродством, либо профессиональ-

ной принадлежностью. Державный и клановый расизм — это клещи, в которых цепко зажат русский народ (простолюдинство мира вообще), и клещи эти не только не позволяют нам развиваться в согласии со своей традиционной самобытностью, но ставят в положение неких изначально будто бы ущербных существ («мусор человечества», как выразился главный идеолог марксизма, вождь мирового пролетариата), не способных ни на какие самостоятельные решения; оценка эта (равнозначная клейму), хотя ей вроде бы не придается значение, широко бытует как у нас в стране, так и за ее пределами и делает свое антиславянское дело. Наверное, позволительно будет заметить здесь, что любой человек, перманентно подвергающийся стрессовым состояниям, уже не может адекватно воспринимать окружающую действительность и ориентироваться в ней, психика его нарушена, и вольно или невольно люди начинают видеть в нем потенциальную опасность, точно то же происходит с народами, подвергающимися из столетия в столетие стрессовой обработке, они куда болезненнее переносят тронно-предначертанные им изломы жизни, чем отдельные личности, и от растерянности, бессилия и беспомощности готовы идти хоть в рабство. Нечто подобное (только за минувшие пятнадцать столетий) происходило да и происходит со славянством (русским людом в особенности), попавшим в мясорубку европейских и азиатских нашествий; каждое новое престольное чужеродство, начиная от готов, гуннов, аваров и завершаяся варягами, Романовыми (немцами), коммвождями и демократами, — каждое новое престольное чужеродство начинало с того, что разоряло прежние (народные) устои бытия и навязывало свои, чуждые коренному люду, травмируя таким образом и нравственно обезоруживая его; ломки эти легко выстраиваются в единую и неразрывную пятнадцативековую кандальную цепь, какой были скованы наши предки и скованы теперь мы, современники, так сказать, просвещенного века. Я пишу о славянах, но это отнюдь не означает, что другие народы (большой частью коренные, попавшие под престольные чужеродства) не прошли через такие же испытания, и если по странному беспамятству ученых мужей многие даже крупнейшие явления жизни выпадают из контекста истории, то из реальности их вычеркнуть нельзя; нельзя потому, что есть людская память и в ней, как рубцы от травм, запечатлены все политические, экономические, духовные катаклизмы, которые, впрочем, не всегда возникали в результате разорительных нашествий, но происходили и продолжают порождаться глубоко завуалированным на данном этапе державным и еще более завуалированным и неоглашенным клановым расизмом. Беда человечества, а возможно, и предгибельное его предначертание состоит в том, что люди во все времена стремились к превосходству — сначала друг над другом, то есть в среде соплеменников, затем поветрие это захватило народы, проявляясь как стремление к совершенству, что само по себе можно было и тогда, и теперь только приветствовать; историки и философы называют это явление стимулом жизни, и в их заключении есть, разумеется, своя правда, но они не учли, как, впрочем, не учитывают и теперь, другой, губительный, как показывает действительность, вариант развития, вылившийся в стремление к превосходству народов над народами и ставший праматерью государственного (державного) и кланового расизма. Народы, подобно личностям, травмируются от стрессов, и стрессы эти, состоящие из перекройки устоявшейся самобытности, продолжают и сегодня потрясать мировое сообщество. Коренной люд Западной Европы был первоначально подавлен цезарской (когорты, легионы) силой, но когда захватчики-чужеземцы увидели, что этого недостаточно, что вносимой ими хищнической цивилизации противостоит не менее мощная и в политическом, и в экономическом, и в духовном плане цивилизация завоеванных народов (к примеру, кельты), в ход были пущены христианские миссионеры, которые и завершили нравственный разлом или, точнее, нравственное перерождение (в пользу завоевателей, конечно) простолюдинских масс. Церковные и светские власти действовали настолько согласованно (как, впрочем, продолжают действовать и теперь), что деяния их нельзя рассматривать по отдельности; и династически по-

родненные европейские королевские дворы, и церковные иерархи, исходившие корнями от древнеегипетских, древнегреческих, римских диктаторов и патрицианства (всевозможных набелей, стратегов, центурионов), были чужеродны коренному люду и, что было естественным для них, проводили единую закабалительную политику по отношению к захваченным народам. Историки и философы, обычно любящие описывать круги вокруг важнейших явлений жизни, не дают ясной характеристики этой политике; они обходят молчанием такие явно расистские приемы, как замена языческого верования на христианское учение. В предыдущих главах я уже говорил о тронной потребности такой замены (в сущности, народу преподносился очередной стресс), но если посмотреть на эту тронно-церковную затею с точки зрения стержневой ее запрограммированности, то вольно или невольно наталкиваешься на мысль, что как могло случиться, что один народ, придумавший богочеловека и воплотивший его в Иисусе Христе, вот уже более двух тысячелетий поучает другие народы, как им жить и что принимать за истину, что за ложь; я не скажу, что все в этом закабалительном учении является неприемлемым, глупым или порочным, нет, это было бы неправдой, но оно, это учение, построенное на возвеличивании аскетизма для масс (в противоположность жизнерадостному языческому верованию), под корень подсекло традиционное мировосприятие народной самобытности. Церковь, распространявшая власть над народом, подкрепляла светскую, а там, где господствовала светская власть, являлось насилие, то есть утверждение превосходства, а утверждение превосходства («богоизбранности») есть хотя и завуалированный, но, по сути, прямой и откровенный державный и клановый расизм. В жизнь восточных славян, дольше других народов продержавшихся в идиллических — «славные Гипербореи» — условиях бытия, привнесено было хищническое мироустройство или, сказать точнее, расизм державный и клановый, не викинговавшими варягами, проложившими через наши земли свой разбойный (пиратский) путь «из варяг в греки», и не готскими князьями, создавшими по византийскому наущению на нашей земле Готскую империю, или, вернее говоря, Русь Первую, а гуннами, хлынувшими из своей оскорбленной Александром Македонским Азии с мстительными целями на Европу и превратившими (пусть только на время, только на несколько столетий — срок, согласитесь, не малый даже в исторических масштабах) наших предков из народа оседлого, земледельческого в народ кочевой. Но ни отечественные, ни закордонные столпы исторических и философских наук не пишут об этом, тогда как Аттила, огнем и мечом прокатившийся по нашим городам и селам, мало того что оставил после себя только пепелища, но и под угрозой смертной казни запретил возводить хоть какие-либо строения, и славянский люд, будущий державный люд России, жалкими родовыми остатками бродил вдоль рек, пугаясь всего, что относилось к азиатчине, жил в землянках и разбегался при малейшей опасности по лесам и густотравным долам.

(Продолжение следует.)



Игорь ВИШНЕВЕЦКИЙ

Сумерки сарматов

Душа, полная тьмы, поздно...
Иоганнес Бобровский

I

Сарматия

Солнце сырое дымится над серой
степью: Танаис, мерзлый песок.
Гнилью подводной тянет от лирой
выгнутой ржавой коряги, из рук

выпавшей,— кажется, полугрека-
полусармата. Не всё ли равно,
чей нам язык забывать из века
прошлого: взрезав ножом вино

или кумыса меру, что влиты
в мехи промерзшие? Здесь птерофор
снежный приклеит к земле копыто
и остудит тяжелый пар

из ворсистых ноздрей. Едва ли
этому дню будет всадник рад,
если трещит под копытом в оскале
смерти исклеванный череп, чад

вверх от реки подымается. Вздерни
повод тяжелый, боком — к воде:
то не камыш, не живые корни
дуба вверху над обрывом, где

сам ты, ощерившись хищно,— где я
сам, рукавицей прикрыв глаза,
вижу не мир, где течет темнея
Стикса степного стремнина; за

темной рекой, маслянисто-блесткой
можно увидеть: над ржавым льдом
ночи начало и то, как ветренно-резкий
ещё на востоке дымит окоём.

II

За Меотийским озером, где выросал и я,
 степь ледяная недвижна — даже в сухую пургу;
 вдоль побережия смутного несолона полынья,
 и легко различимы лисьи следы на снегу,

припорошившему ломкий наст на курганах: на них
 ни серебристый тополь, ни кипарис не шумит.
 Лишь полуночные крики здесь отличают живых
 хищных насельников степи — сов, ястребов — от чернот

тмы безъязыкой. От озера, глядя в глубь степей,
 видишь, как мерзнут протоки, как застывают струи
 ветра, как гаснет солнце в ледяной скорлупе,
 двигаясь сонной рыбой в воздухе полыньи

рек и тумана. Ломко даже сознание твое.
 В замеотийские степи разве безумец какой
 конный ли, пеший отправится; впрочем, и небытие
 там из протоков встает, как безначальный покой.

III

Ястреб перелетает крича
 мёрзлую реку, скрываясь во мглу
 лилового пара; если сплеча
 рубишь лозу и в уголья, в золу

костра невысокого — едко дымит —
 бросаешь в сосульках прутья, едва
 ли можно надеяться, что прогорит
 каждый из них, дав тепло. Голова

увенчана шапкой, с височных колец
 свисают сосульки, и лед на бровях,
 и даже ветер молчит, как мертвец,
 в стеклянных травах, в черных дубах.

Див только кычет, Сварога зовя
 с яркого запада в здешнюю стынь.
 От лисьих мехов тяжело голове.
 Костёр разъедает глаза. Конь

ушами прядает, словно он
мог бы ответить на голос дневной
совы — впрочем, кто его знает; сон
объемлет сумрак степной.

IV

Карта стени

На середине жизни легко
сознавать, что снег — это седина
мерзлой природы, что под рукой
крепки поводья и что в стремяна

входит ладно нога твоя, как
если бы ты родился в седле,
что если пепел зажат в кулак,
то от крови тепло золе

костра прогоревшего, что это ты
даришь равнинам на дни пути —
дыханье и лимфу, свои черты,
сны и названья, и даже те

змеенья лучей, от которых зрачок
с трудом остывает,— нет уже
ничего чужого; счищая с сапог
наледь, заметишь вдруг на ноже

осколок раковины. Давно
море ушло из курганных мест,
но если влажно и солоно
зренью —будет усеян наст

моллюсками смерзшимися, скорлуп
лопнувших грязная белизна
блеснет зрачкам; не изморозь с губ
потрескавшихся — вытрешь соль. Волна

пара откатывает, ртом
глотаешь колючий воздух, держа
нож в рукавице, глядя усталым зрачком
на то, что упало на снег с ножа.

V

Sarmatia Asiatica:
A. D. 1942

Рифейские горы охватывают с запада
и с севера, загибаясь, как лук,
в руках воина белой равнины,
чье лицо в морщинах рек —
Танаис, Ра —
и седло — Кавказский хребет.
Раздуваются ноздри коня на Эвксин, к Меотийскому озеру,
покуда хищно,
развернувшись на запад,
целит воин из лука хребта,
и над лисьей шапкой
в перистом влажном ветре —
словно сны — становища лошадедов,
амазонок, теней
колеблют его
боевую посадку.

Эта равнина открыта для всех,
и может любой,
сбивши в кровь плохо обутые ноги,
про себя сочинять железные строфы
о сарматских ветрах, глядя на ледяной саркофаг,
сковавший трупы коней и колеса машин,
над которым
гряют черные птицы.
В солдатском мешке
каменный хлеб и опорожненная фляга,
отморожены пальцы и ослепли от снега зрачки;
на все стороны света — льды, затененные
бьющим в спину вечерним солнцем
от дымящего Ильмень-озера до курганной равнины,
где стоит
душа его, полная тьмы.



Русская трагедия

И никому его не жаль.
Данте. Божественная комедия

1

Повеситься можно было на трубе.

Дмитрий Иванович Анохин вообразил, увидел явственно, как он вытягивает из брюк ремень, делает петлю, встает на унитаз, привязывает конец ремня к трубе, надевает петлю на шею и соскальзывает вниз; отчетливо услышал, как испуганно суетятся в коридоре сотрудники издательства; представил четко, с каким ужасом заглядывают они в туалет, где вытянулось вдоль стены его безжизненное тело с синим лицом, с выпавшим изо рта языком, с вылезшими из орбит безобразно и жутко белыми глазами, и содрогнулся, резко качнул головой, освобождаясь от страшного видения, и начал медленно вытирать руки чистым полотенцем. В душе его по-прежнему стояли, томили боль, тоска, скорбь. Особенно остры они были, когда Анохин оставался один. Душил, почти физически душил постоянный, тягостный вопрос: что делать?! Что делать?!

Дмитрий Иванович, осторожно ступая на деревянные ступени узкой лестницы, словно он таился (прежде он по этой лестнице взлетал), поднялся на мансардный этаж, где был его кабинет с фотопортретами на стенах почти всех знаменитых писателей России. Они были авторами издательства «Беседа», которым руководил Анохин. Он тяжело сел в скрипнувшее кресло и шумно выдохнул. Чувствовал он себя так, словно взбежал на шестнадцатый этаж. Никогда еще за свои сорок три года он не чувствовал себя так беспомощно. Раньше он был скор в решениях, нетерпелив. Впрочем, и раньше был в его жизни почти такой же случай, когда пришлось круто менять жизнь: оставить жену с ребенком, квартиру, работу, родной город и начинать жизнь с нуля. Вспомнив об этом, Дмитрий Иванович горько усмехнулся. Тогда ему было двадцать три года. Кем он был? Мечтателем... А теперь довольно известный литератор, директор издательства, отец двух почти взрослых детей. Мечтатель не мог долго страдать. Помнится, тогда он мучился всего одну ночь. Кинул в чемодан самые необходимые вещи и навсегда сбежал из Тамбова свободным от прошлого человеком. Теперь прежняя домосковская жизнь казалась ему нереальной, выдуманной так же, как жизнь героев его романов. До вчерашней встречи с сотрудником спецслужбы Дмитрий Иванович думал, что уйдет из семьи, разделит издательство, откроет новую фирму один, без друзей... Друзей, оказывается, в бизнесе не бывает. А теперь-то что делать?

Резко ударил в уши телефонный звонок. Дмитрий Иванович схватил трубку.

— Я по объявлению,— услышал он чуть вздрагивающий девичий голос и хотел сразу ответить: «Извините, я уже нашел!» — но что-то удержало его. Дмитрий Иванович часто думал потом, в Америке, почему он не положил трубку, ведь к тому времени он уже решил, что едет в Штаты с Диной.

Дело в том, что издательство «Беседа» еще задолго до случившегося, как обычно, пригласили в США на книжную ярмарку в Чикаго, и он оформил все документы для участия в ней, оплатил стенд. Осталось получить визы. А тут этот

случай. Вначале Дмитрий Иванович решил отменить поездку. Не до ярмарки, когда все рухнет и неизвестно — будет ли существовать издательство через месяц. Потом, когда тоска и боль так допекли его, а достойного выхода все не находилось, ему в голову пришла шальная, дурацкая мысль: взять какую-нибудь деваху и укатить с ней в Америку на месяц, отвлечься, отдохнуть, забыть обо всем в ее объятиях, убить тоску; а там решение, как жить дальше, само придет, вернутся к нему уверенность, решительность, улягутся злость, ненависть и боль.

В те дни он хотел снять квартиру, чтобы не жить под одной крышей с женой. Купил газету «Из рук в руки», стал читать объявления и среди прочих увидел, что какой-то мужчина приглашает привлекательную девушку без комплексов провести совместный отпуск в Швейцарских Альпах. Прочитал, написал объявление: «Предлагаю молодой девушке прокатиться на машине по США от океана до океана», — и отвез в редакцию. Дмитрий Иванович прекрасно понимал, что нормальные девчонки не позвонят, ждал звонков от легкомысленных. Они и звонили. Встретился с несколькими. Выбрал Дину. Она выглядела раскованней, вульгарней других. Дмитрий Иванович никогда не имел дела с такого рода женщинами и думал, что та, что поглупей и полегкомысленней, станет послушней, не будет мешать ему думать, станет для него как бы кошечкой. Когда ему взгрустнется, он ее погладит, приласкает, а когда захочет побыть с самим собой, отодвинет в сторонку, чтобы не мешала. Сегодня вечером Дина должна была передать ему свой паспорт для оформления визы. Договориться-то договорился, но на другой же день засомневался, не сведет ли она с ума своей глупостью, не ошибся ли он. А после вчерашней ужасной встречи с сотрудником спецслужбы планы его насчет Америки резко изменились: он решил просить там политического убежища. Оснований, убедительных документов для этого у него было столько, что он мог рассчитывать, что ему не откажут. Кроме того, он вспомнил о знакомом директоре американского литературного агентства, который говорил ему, что за пять тысяч долларов известный в своей стране человек может получить в США вид на жительство. Позвонил ему в Нью-Йорк и спросил: поможет ли тот сделать гринкарту? Литагент пообещал связаться с адвокатом, который был мастером таких дел, подготовить все к приезду Анохина. Тогда встал вопрос: как быть с Диной? Дмитрий Иванович пока не решил, прокатиться по Америке или отказаться от этой затеи. Очевидно, удирать навсегда в США ему не хотелось, надо думать, не прижилась, не укоренилась прочно в его душе эта мысль, должно быть, он надеялся подсудно, что все устроится, перемелется, устоится. Может быть, поэтому, услышав в телефонной трубке дрожащий девичий голос, он сразу не отказал, не отключил телефон. Не последнюю роль сыграло то, что голос у девушки был юн, чист и вздрагивал от волнения, нерешительности и смущения. Анохину показалось, что она ждет отказа и будет рада ему, примет с облегчением. Разных голосов наслушался он, когда подал объявление: развязных, прокуренных, пьяных. И спросил:

— Как вас зовут?

— Елизавета...

— Хорошо, Елизавета, сколько вам лет?

— Я студентка... и давно совершеннолетняя...

— Это хорошо, — произнес он, думая, что со студенткой, может, повеселее будет, и решил: если она студентка гуманитарного факультета, то он сейчас же встретится с ней, посмотрит на Елизавету-Лизоньку. — Кто вы — физик, лирик?

— Филолог...

— Через два дня надо лететь! Это вас не пугает?

— Радует, — быстрый, бодрый ответ.

— Тогда давайте встретимся, поглядим друг на друга. — В голове его вдруг мелькнула жуткая мысль: не из спецслужб ли она? Прослушали его разговор с американским литагентом и подослали?.. Не может быть! Слишком рано. Звонил-то он в Нью-Йорк всего часа четыре назад. Неужто наши спецслужбы научились так быстро принимать решения? Такого быть не может, успокоил он сам себя.

— Я звоню из библиотеки... из бывшей Ленинки...

— Возле нее встретимся через двадцать минут. Я буду на автостоянке напротив входа в библиотеку за рулем черного «Мерседеса». На мне белая сорочка с короткими рукавами. Зовут — Дмитрий... — Он запнулся перед словом «Иванович», ведь для такой девушки он должен быть без отчества.

Анохин положил трубку и поднялся, решительно взял кейс. Невольно подумалось, что боль как-то отодвинулась, спряталась глубже, затаилась, но как только он вспомнил о ней, она тут же вырвалась наружу и снова полупарализовала его.

По пути к библиотеке думал о Елизавете, пытался понять, кто она. Проститутка? Не похоже. Искательница приключений? Американманка, на все готовая, лишь бы увидеть страну своей мечты? Он повернул на Воздвиженку, где была площадка для стоянки автомобилей, и сразу увидел девушку. Была она в белой летней майке без рисунков и надписей на груди и в джинсовых шортах, с большой, тяжелой, на взгляд, серой матерчатой сумкой через плечо. Судя по очертаниям, в сумке были книги и тетради. Издали было видно, как девушка хороша и прекрасно сложена. Он подъезжал, притормаживая, и рассматривал Елизавету. Темно-русые волосы, реденькая челка большим полукругом прикрывает высокий лоб, касается темных бровей, которые намного темнее волос. Вероятно, она их подкрашивает, решил Анохин. И форма у них необычна — вразлет, волной. На немножко удлиненном, тронутым легким загаром лице ни тени косметики, ясные серые до голубизны глаза настороженно прищурены, вглядываются в него. На вид лет девятнадцать. И что больше всего поразило Дмитрия Ивановича, что бросилось ему в глаза еще издали: она была очень похожа на его шестнадцатилетнюю дочь Ольгу.

Он остановился у бордюра, смотрел, как она идет к нему неторопливо, с достоинством. По тому, как вцепилась в ремень сумки, перекинутый через плечо, догадался, что она усердно скрывает волнение. Анохин, вылезая из машины, заметил, как Елизавета, взглянув на него, чуть замедлила шаг, как бы споткнувшись. На ее лице и в глазах промелькнули некоторое разочарование, растерянность, неуверенность, но она быстро погасила эти чувства. Он мысленно взглянул на себя ее глазами, глазами юной девушки, увидел начинающего сесть мужчину с большими зальсынами, с наметившимися морщинами у глаз. Отец у нее, возможно, моложе него: видно, надеялась увидеть молодого красавца, «нового русского», оттого и разочарование мелькнуло в ее глазах. Но как она похожа на Ольгу!.. Последние шаги девушки навстречу были уже не столь уверенными. На искательницу приключений она не походила, на легкомысленную девчонку тоже. Впрочем, в ее возрасте все с ветерком в голове. А вдруг это не Елизавета? Ему почему-то захотелось, чтобы это была не она, и он спросил:

— Елизавета?

Она молча, растерянно тряхнула челкой. Это невинное движение головой сначала показалось ему забавным, развеселило его. Он засмеялся коротко, но быстро оборвал смех, потому что непонятно из-за чего вдруг стала подниматься на нее злость: куда она лезет? Он быстро обошел машину, открыл дверцу со стороны пассажира.

— Куда мы поедем? — заколебалась она.

— Куда скажу! Садись!.. — Елизавета полезла в машину. Он стал выруливать на улицу, спрашивая: — Боишься?.. На месяц черт знает куда ехать не боишься, а в Москве боишься?

— Я еще не решила... — неуверенно ответила она, не глядя на него.

— Честно сказать, я тоже еще не решил... А если совсем честно, то сейчас одна шалава ждет моего звонка, чтобы передать мне паспорт для визы. Ведь мне с собой нужна шалава, — говорил он грубо. — Я думаю, ты верно поняла мое объявление!

— Остановитесь, пожалуйста, я выйду! — резко перебила она его.

— Сейчас перекресток проскочим, — ответил он и почувствовал жалость: зря он с ней так. Девчонка, по всему видно, хорошая. Зря обидел... За перекре-

стком он останавливаться не стал, свернул на Поварскую улицу и потихоньку покатыл по ней. Она была узкая и с обеих сторон забита стоящими машинами. Он ехал и косился на Елизавету. Она смотрела вперед. Брови нахмурены, вытянулись в прямую линию. Глаза налиты влагой. Молчала, не просила остановиться. Он тронул ее логоньку за плечо.

— Не обижайся...

— Вы грубите, а глаза у вас грустные,— неожиданно сказала она, по-прежнему не глядя на него.

— Когда же ты успела заметить? — засмеялся он.— По-моему, с того момента, когда тебя поразила моя лысина, ты ни разу на меня не взглянула. Видать, ждала, что на «Мерседесе» подкатит круторогий двухметровый красавец, «новый русский»,— коротко хохотнул Анохин впервые за последние две недели.— Так?

— Не так, я боялась, что подкатит, как вы говорите, круторогий бандит.

— Может, я и есть бандит, вор в законе...

— Нет, нет... Я скажу, кто вы...

— Давай на «ты». А то мне неудобно, я тебе «ты», а ты мне — «вы». Договорились?

— Ты,— произнесла она неуверенно и запнулась. Видимо, ей было непривычно называть ровесника своего отца на «ты»,— ты, должно быть, работаешь в инофирме переводчиком, а может, менеджер, но не главный...

— Смотри-ка! — воскликнул он.— Ты у нас психолог, а не филолог. Почти все точно угадала. Как ты поняла, что не главный?

— Взгляд у вас... у тебя... Не директорский...

— А каким директорский бывает?

— Ну такой решительный, уверенный, жесткий... Все, я теперь точно поняла, кто ты! — воскликнула она радостно.— Ты работаешь в инофирме программистом. Женщин у вас нет. Ты не женат, разведен. Познакомиться с хорошими женщинами некогда. Решил отдохнуть, а поехать не с кем. Вот и дал объявление...

Он осторожно повернул с Поварской в Скарятинский переулок, выехал на Большую Никитскую улицу и сказал серьезным тоном:

— Все! Сейчас я тебя высажу! Ты ведьма! Ты все мои мысли читаешь, все знаешь. С тобой страшно! — Он резко, круто развернулся, остановил машину у бордюра, выключил зажигание и сказал: — Выходи!

— Правда? — удивленно и вновь растерянно уставилась на него девушка.

— А чего сидеть, когда приехали? — засмеялся Анохин и открыл свою дверцу.

— «Центральный дом литераторов. Клуб писателей»,— прочитала она вслух слова на темной доске у входа в здание из темно-желтого кирпича.

В ЦДЛ они спустились в подвал, в бар. Там было полно знакомых. Они кивали ему, здоровались. Дмитрий Иванович принес от стойки две чашки кофе и два стакана темно-красного вишневого сока.

— Как советовал один из них,— кивнул он в сторону соседних столов и прочитал две строки из стихотворения: — «Для улучшения пищеварения пейте вишневый сок...» Что же мы будем делать, Елизавета? Едем или как?

— Едем! — решительно и быстро ответила она, опустила глаза и взяла стакан с соком. Щеки ее при приглушенном свете заметно потемнели.

— Вот он, настоящий директорский голос. Теперь и я его знаю! — засмеялся он, чувствуя удовлетворение. Девчонка ему все более нравилась.— Я тоже созрел — и подчиняюсь... Давай обсудим основные принципы наших взаимоотношений.

— Как это? — насторожилась, напряглась Елизавета.

— Мы едем отдыхать, так давай отдыхать. Я очень не люблю капризы, надеюсь, с твоей стороны их не будет... Это раз. Второе: везу тебя я, значит, ты за мной, как нитка за иголкой. И третье: я Дима, программист из инофирмы, ты Елизавета, студентка. Все остальное неинтересно ни мне, ни тебе: никаких распросов, никаких проблем, только отдых. Договорились?

— А я-то думала...— облегченно и искренне выдохнула девушка.

— Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит! — Анохин развел руками и добавил: — И все же я не буду тебя звать Елизаветой. Я буду звать тебя Лизонькой.

— Нет, и так ты меня звать не будешь,— улыбнулась она.— Меня зовут Светлана.

Дмитрий Иванович решил, что Светлана скорее всего учится не на филологическом, а на факультете журналистики. Жаждет впечатлений для будущей работы. Иначе чем объяснить, что она откликнулась на странное объявление незнакомого мужчины? Ни на авантюристку, ни на легкомысленную дуреху не похоже. Может, так искусно играет? Вряд ли, он бы давно ее раскусил... Если, конечно, не гениальная авантюристка. Слишком естественно себя ведет. И не глупа, нет, не глупа! И, конечно, не из ФСБ, не похоже.

2

Знакомый делец не подвел. На другой день они получили паспорта с визами, и Анохин предложил Светлане обмыть это дело в ЦДЛ, но она решительно отказалась.

— Не огорчай меня! Всего на часок! — попросил Анохин.

— Мы еще не в Америке. Там я тебя постараюсь не огорчать...— неохотно уступила девушка.— Очень тороплюсь! — Вид у нее действительно был озабоченный, тусклый, словно ее что-то тяготило.

Анохин на этот раз привел ее в пестрый зал ресторана ЦДЛ. Назывался он так потому, что все стены в нем были расписаны, разрисованы шуточными шаржами, рисунками, стихами, изречениями известных в прошлом писателей, бывших когда-то завсегдатаями ресторана.

— Тебе как филологу должно быть интересно,— указал Дмитрий Иванович на стены.

Светлана на самом деле заинтересовалась, поднялась, медленно пошла вдоль стены, время от времени спрашивая у Анохина что-нибудь о писателях, оставивших свой след в ресторане. Разговор этот продолжился за столом.

Дмитрий Иванович видел, что слушает Светлана хорошо, заинтересованно, с охотой. Ела она неторопливо, часто замирала с ножом и вилкой в руках, глядела на него то с удивлением, то с восхищением, округляла глаза и восклицала в особо увлекательных местах рассказа: «Неужели?.. Вот как?.. Не может быть!» Или смеялась, отчего на ее пухлых щеках появлялись ямочки. От этих ее восклицаний, от мягкого смеха, от удивительно милых ямочек на щеках Дмитрий Иванович вдохновлялся, возбуждался еще сильнее, чувствовал себя так, словно его накрыла и повлекла в открытый океан теплая, нежная волна, и безостановочно говорил, говорил. Временами, не умолкая, он поднимал бокал с белым вином «мартини». С легким, тонким звоном их бокалы соединялись. С каким восхищением смотрел он, как она касается губами тонкого стекла, делает глоток, как быстро слизывает вино с верхней влажной губы! Как сводила с ума ее реденькая челка, падавшая дугой к темным бровям! Каждый раз, когда Светлана восклицала: не может быть! — и встряхивала челкой, сердце его вздрагивало, сжималось, замирало. Хотелось одного: длить и длить этот вечер, смотреть на девушку, болтать безумолчно, растворяться в томительной нежности. Такого чувства он давно уж не испытывал. Было с ним такое лишь в далекой молодости, в дни романтической влюбленности, о которых он давно забыл. Проблемы, заботы, которые давили, мучили его; боль, тоска, терзавшие постоянно в последние дни, приглушились, отодвинулись, забылись. Дмитрий Иванович не думал о них, был легок на слово, остроумен, ироничен, нежен.

— Ой! — воскликнула огорченно и удивленно Светлана, взглянув на часы.— Как время летит!..

Она встряхнула челкой, и лицо ее вмиг изменилось, стало озабоченным, настороженным. Глаза померкли, словно кто-то мгновенно стер их блеск. Перед

Анохиным сидел другой человек. Он правильно понял, что изменение это не связано с ним, но расспрашивать не стал.

По дороге в общежитие молчали. К нему вернулась прежняя, но на этот раз глухая, не столь гнетущая, тоска, скорее печаль. Он изредка быстро взглядывал на сидевшую рядом задумчивую Светлану и думал: зачем, зачем он берет с собой эту совсем юную девушку? Не принесет ли он ей и себе одни страдания? Но бес подсовывал ему в ответ лицо Светланы во время его рассказа о писателях в ресторане, ее необычные брови вразлет, челку, ямочки, влажную от вина алую губу, и сердце Анохина вновь сжималось от нежности, от томительной радости, от мысли, что девушка не могла так искусно притворяться, делать вид, что ей интересно слушать. Надо думать, ей действительно было приятно провести с ним вечер. Они коротко, сухо, по-деловому договорились о завтрашней встрече перед поездкой в аэропорт.

— Спасибо за вечер! — Лицо Светланы на мгновение стало прежним, милым, но сразу же погасло, посуровело, помрачнело, и девушка живо, решительно выбралась из машины.

В аэропорту Светлана была молчалива, напряжена, хмурилась почему-то и заметно волновалась. Беспокойство ее росло по мере приближения к таможенникам.

— Что-то не так? — не выдержал, отвлекся от своей глущей тоски, спросил участливо и нежно Дмитрий Иванович.

— Все в порядке, — поспешно и как-то суетливо ответила она.

Таможню прошли быстро, без задержки. Вопросов к ним не было.

— Теперь все? Мы за границей? — торопливо, с радостным возбуждением спросила Светлана.

— Нет еще.

Светлана снова умолкла, замкнулась, ушла в себя. Молчала до тех пор, пока не прошли пограничников.

— Вот теперь мы за границей, — вздохнул тяжело Дмитрий Иванович, пряча паспорт в бумажник. Они стояли возле стеклянной витрины магазина.

Светлана вдруг, прикусив нижнюю губу, засмеялась чему-то и внезапно боднула Анохина, ткнулась лбом ему в плечо. Он чуть не выронил бумажник, живо ответил на ее нежный порыв, прижал к себе и клюнул в лоб.

В самолете она села к окну. Молча, жадно смотрела в иллюминатор, как мелькают под крылом серые бетонные плиты, все быстрее несутся, сливаются в сплошную, летящую полосу и вдруг резко как бы застывают на месте и начинают стремительно уходить вниз. Уши закладывает. Лес, дома, дорога, машины на ней уменьшаются, удаляются. Замелькали серые клочья тумана, и земля исчезла в серой мгле. Видно только, как крыло самолета, рассекая туман, накрепляется вниз. Начинает мутить и становится чуточку страшно. Светлана повернулась к Дмитрию Ивановичу, улыбнулась устало, грустно:

— Летим... Почему у тебя в глазах такая тоска?

— Не обращай внимания. Это от страха перед высотой, — усмехнулся, кинул он, стараясь сделать голос бодрым, заглушить тоску, и быстро заговорил: — Лететь нам долго... Будем пить, слушать музыку, кино смотреть, разговаривать, спать. На все время хватит!.. Все к черту! Есть ты да я! — Он вытянул кейс из-под сиденья, вытащил плоскую бутылку коньяка, сухое красное вино.

Светлана пила вино, а он дул коньяк, пил большими глотками, старался по-быстрее затушить рвущую сердце тоску: что ждет его впереди? Вернется ли он когда-нибудь в Россию? Увидит ли снова жену, дочь, сына? Нетерпеливо ждал, когда хмель вытеснит из груди эти вопросы, освободит от тяжелых проблем.

Стюардессы привезли напитки, обед. За едой, за шутивным разговором незаметно опустели бутылки с вином и коньяком. Тоска улетучилась, освободила, забылась. От приятного хмеля, от нежности к Светлане, от предвкушения счастья с прелестной девушкой — от всего этого его уже захлестывало, затопляло какое-то иронически-веселое состояние, какая-то неведомая сила, неземная энергия поднимала над сиденьем, делала невесомым, искала выхода. На то, что

происходит в самолете, на пассажиров они совершенно не обращали внимания, не видели их. Светлана сидела у окна, он в полуобороте к ней, спиной к своему соседу, отгородив ее от салона. Когда стюардессы забрали посуду, Светлана опустила спинку сиденья и откинулась на нее.

— Как я устала за последние дни! — вздохнула она, но ямочки не исчезли с ее щек. — А сейчас расслабилась и спать хочу смертельно!

— Ты спи, — он взял ее теплую вялую руку в свою, — а я буду смотреть на тебя, сторожить твой сон. — Анохин наклонился и поцеловал ее руку.

— Ты что? — улыбнулась она сонно.

— Влюбляюсь потихоньку, — усмехнулся он над собой, над своей томительной юношеской нежностью.

Ровно гудели моторы. Спокойно было на душе, тихо, мирно: такого покоя Дмитрий Иванович давно уже не испытывал. Он прикрывал своей ладонью ее руку, чувствовал пальцами обжигающе горячую кожу. Хотелось, чтобы Светлана бесконечно лежала так, повернув к нему свое милое лицо с закрытыми глазами. Он тоже потихоньку, чтобы не потревожить ее, вытянулся, плотно прижался спиной к своему сиденью и прикрыл глаза. Думал, что заснет под ровный гул моторов, но не спалось. Не проходило сладостное томительно-нежное ощущение. И почему-то всплыла в памяти юность, вспомнились те далекие дни, когда он впервые узнал, почувствовал эту сладкую истому от прикосновения к руке любимой девушки. Он увидел себя студентом, явственно увидел тамбовскую реку Цну летним днем, лодочную станцию, где можно было взять лодку и скрипеть уключинами, катать свою девушку хоть весь день. Смотреть на нее, щурить глаза от искорок солнца, которые ослепительно отражаются от мягких волн, поднятых веслом, любоваться ее загорелым телом в зеленом купальнике. Плавать, нырять в воду с лодки, поднимая брызги...

Летом, в жаркие дни, в этом месте реки, в двух шагах от центра Тамбова прямо за зданием педагогического института, где Анохин тогда учился, всегда было многолюдно, всегда можно было встретить знакомых студенток с книгами. Здесь любила готовиться к экзаменам Женя Харитоновна, его Женечка. Здесь он начал испытывать то самое томительно-счастливое нежное чувство, сладкую истому, глядя, как она, лежа на животе на одеяле, читает книгу и покачивает одной ногой в воздухе, согнув ее в колене. Анохин лежит рядом на спине, держит в руках книгу, но не читает, искоса смотрит, как тихонько качается в воздухе ее розовая пятка. Как мучила, как сводила с ума его эта пятка! Как нестерпимо хотелось ее целовать! И он будет потом ее целовать... Женечка была игрива, любила чувствовать на себе восхищенные взгляды обожателей, слушать комплименты, любила ласки. Когда она станет его женой, он будет целовать ее всю, каждую клеточку ее гибкого необычно упругого тела, с восторгом будет чувствовать, видеть, как Женечка вздрагивает, извивается от томления под его поцелуями, как мурлычет что-то несвязное, то открывая, то закрывая глаза, как сжимает зубами от разгорающейся страсти свою нижнюю пухлую губу. Именно такие воспоминания особенно мучили Анохина в первые дни, когда он сбежал от Женечки в Москву, где сначала жил неустроенно, ночевал, как бомж, где придется. Как представит, что она так же извивается под поцелуями, под ласками другого мужчины, так дыхание перехватит от тоски и тянет удавиться!

Тогда он был молод, удачлив. Удачлив ли? Просто всегда был целеустремленный, упертый. Пер напралом к цели, отбрасывал препятствия или просто не замечал их. А если с первого раза не удавалось пробить головой стену, только морщился, чесал затылок, отступал на шаг и снова — бабах в стену. Недаром волосы так быстро поредели, осыпались.

С юных лет он решил, что нет судьбы, нет Бога, все в руках самого человека. Как он захочет, так и выстроит свою жизнь. Все обстоятельства человек меняет сам, и сам добывается всего, чего пожелает, без помощи Бога и добрых ангелов. Человек — сам себе Бог и сам себе дьявол. Его жизнь только в собственных руках.

В институт Анохин попал не сразу: не прошел по конкурсу. Только весной поступил на заочное отделение, где познакомился с однокурсницей Женечкой. Она родилась и выросла в Тамбове, он — в тамбовской деревне. Не поступив в институт после школы, он устроился плотником в домостроительный комбинат. А Женечка в те дни работала в школе воспитательницей в группе продленного дня. Анохин хотел стать писателем, мечтал о славе сочинителя, и казалось бы, должен был быть наблюдателем в жизни, созерцателем, но по характеру своему был активным деятелем. Если бы у него на глазах загорелся Рим, то он не играл бы по-прежнему на кифаре, отбросил бы ее, кинулся в самую гущу пожара. И не только бы умело орудовал ведром, но сразу бы принялся руководить тушением пожара, указывать, что нужно в первую очередь тушить, чтобы пожар не перекинулся на другие здания, чтобы быстрее заглушить его. Непременно нужно было ему вмешаться в любое событие, происходившее у него на глазах, стать его участником, изменить, повернуть в ту сторону, какую считал он в тот момент правильной, справедливой, сделать так, чтобы всем было хорошо. Никогда не мог сдержаться, остаться безучастным к происходящему. На собраниях не позевывал, с нетерпением ожидая конца пустой болтовни, а лез на трибуну, спорил, страстно доказывал, как нужно делать лучше. Это его комсомольское равнодушие в сочетании с наивностью и доверчивостью быстро заметили, запомнили, присмотрелись, и через год, уже будучи студентом-заочником, он стал заместителем секретаря комсомольской организации строительного управления. Через два года его избрали членом комитета комсомола всего комбината, и он начал писать речи для своего секретаря Сергея, продолжая работать плотником. Помнится, они с Женечкой подали заявление в загс, когда его попросили написать речь для директора комбината, который хотел выступить на областной конференции перед очередным съездом партии.

Дмитрий Иванович, а тогда просто Дима, играючи накатал выступление. Все материалы ему дали. Речь руководителя комбината напечатали в газете как лучшую на конференции. Благодарный директор, узнав, что Дима женится, решил устроить ему комсомольскую свадьбу, тогда они входили в моду, и на свадьбе подарил ключи от однокомнатной квартиры. Как они с Женечкой были счастливы! Другие ждали квартир по пятнадцать лет. А им сразу! Он мечтать об этом не мог.

В те дни их приняли в узкий круг семей комсомольских руководителей. Анохин сдружился с Сергеем, секретарем комбината. Все праздники отмечали вместе и всегда на природе. Обычно это было в лесу на берегу Цны в комбинатовском пансионате. Шашлык в сосновом бору над рекой, водка, купанье, смех, шутки! Молодость, веселая жизнь! А зимой — банька. Парились всегда отдельно: сначала женщины, потом мужчины. Но однажды в субботу приехали в лес вчетвером: Дима с Женечкой и Сергей с женой. Помнится, Женечка, смеясь, предложила:

— Чего время терять-ждать, пошли вместе в баню!

Настроение у всех было шутливым, хмельным. По дороге в пансионат пили шампанское. Слова Женечки приняли как шутку. Посмеялись. Но когда женщины ушли париться, а они выпили еще по бокалу, Сергей хохотнул:

— Действительно, чего мы время теряем, пошли к ним!

— Ну да, неудобно, — заколебался Дима. — Как они отнесутся?

— Хорошо отнесутся, увидишь! Бери шампанское.

На крыльце Сергей достал нож, сунул лезвие в щель между замком и личинкой, сдвинул защелку английского замка и тихонько открыл дверь. Жены были в парилке. Они скинули одежду и нагишом ворвались в парилку. Женечка притворно и озорно завизжала, прикрылась руками, а жена Сергея рассердилась по-настоящему.

— Ну-ну, не шуметь! Тихо! — приказал шутливым тоном Сергей. — А то сейчас венником! — Он схватил из шайки с водой березовый веник.

— Давай, давай! — упала, вытянулась на животе на верхней полке Женечка.

Сергей хлестнул ее два раза, потом шлепнул по спине продолжавшую ругаться жену и сел рядом с ней, говоря примирительно:

— Ну что ты! Женя права: вы тут паритесь, а мы ждем, томимся, а потом вы нас ждете... Вместе лучше...

— Еще! Еще хочу венником! — кричала сверху Женечка.

— Пусть муж работает, — кинул Сергей веник Диме.

Анохин начал нахлестывать Женечку, бил по-настоящему, со злостью за ее глупую идею, которую так легко подхватил Сергей. Не нравилось ему совместное купание. Было что-то нехорошее, порочное в этом. Неприятно было на душе. Неприятное предчувствие.

С того дня в баньке стали париться вместе, даже когда приезжали по три-четыре пары. И все чаще смущали Анохина быстрые, почти откровенные переглядывания Женечки с Сергеем. Однажды, выходя из парилки впереди них, Дима обернулся в двери и увидел, как Сергей нежно погладил Женечку по спине и она взглянула на него через плечо с игривой улыбкой. Дима начал ревниво следить за ними. Неохотно ездил в лес. А Женечка, наоборот, стала рваться туда, с нетерпением ждать субботы. Он мучился: как остановить ее, удержать?

Хотелось откровенно поговорить с Сергеем, сказать, чтобы он отстал от Женечки, что заигрывания их хорошо видны всем. Но не решился Анохин. Удерживало его от разговора с другом то, что в те дни Сергеем предложили место заведующего отделом в горкоме комсомола, и он сказал Анохину, что возьмет его с собой инструктором. Диме давно надоело работать бригадиром плотников, хотелось большего. Из горкома вела прямая дорога в кресло редактора городской комсомольской газеты. И Дима наблюдал тайком, как тянутся Женечка и Сергей друг к другу, как эта тяга у них стремительно переходит в страсть, страдал. Терпел, молчал и тогда, когда догадался, понял, что неотвратимое произошло. Но не верил себе. Искал неоспоримые доказательства, утешал себя, что это глупая ревность. Женечка каждый вечер была дома, с ним, ни где не задерживалась. Но Дима чувствовал, что близость у них с Сергеем состоялась и продолжается. Встречаться они могли только днем, когда Анохин был на работе. Скорее всего в первой половине дня, потому что после обеда она бывала в школе, на работе. Но где? Неужто она пускает любовника в их супружескую постель?

Он стал ежедневно часов в одиннадцать звонить жене. Не было ее дома во вторник и пятницу. Сергей тоже появлялся в эти дни в своем кабинете только во второй половине дня. И как раз в эти вечера Женечка старалась быть особенно ласковой, хотя глаза ее, как зорко отмечал он, были усталые, отчужденные, пустые, а страсть наигранной.

Сложным путем узнал, что во вторник и в пятницу Сергей был в пансионате. Значит, там они встречаются. Видно, вся контора комбината знает об этом. Каким же мерзавцем теперь все его считают, думают, что квартиру ему выбил любовник жены и берет с собой в горком только поэтому! Похолодел Анохин от таких мыслей и тут же начал разубеждать себя, что напрасно он так думает о Женечке. Просто характер у нее жизнерадостный, озорной, игривый, любит она пошутить, повеселиться, а он понавидумывал! Вдруг вспомнилось, что после того, как у него вышла первая книга, Сергей стал частенько, особенно на людях, подтрунивать над ним, называть с иронией «наш писатель», пытаться помыкать им, показывать всем, что Анохин у него на побегушках. Это сильно задевало Диму, раздражало. Ведь именно в те дни ему казалось, что он стоит на пороге большой жизни: институтский диплом в кармане, первая книга издана, хорошо встречена местными критиками, по радио читали отрывки из нее, дал он свое первое интервью комсомольской газете. И казалось ему, что он взял Бога за бороду, поэтому не хотелось скорой с Сергеем нарушить бурный подъем наверх, туда, где его ждет настоящая жизнь, где ждет подлинное счастье.

В пятницу позвонил домой в половине десятого, заранее зная, что трубку Женечка не возьмет: нет ее дома. Но не клал трубку, дрожа считал гудки, уговаривал, умолял ее подойти к телефону, тянул для верности, лихорадочно думая,

что, может быть, она только что встала с постели, умывается, не слышит звонка из-за шума воды. На тринадцатом гудке повесил трубку и набрал номер телефона Сергея.

— Он на объекте, — ответили ему.

«Объект — моя жена!» — промелькнуло в голове со злой иронией.

Анохин взял такси и помчался в пансионат. Они могли встречаться только в домике директора комбината. Ключ у Сергея был. Бревенчатый домик этот стоял в стороне от главного двухэтажного корпуса, в глубине территории, среди высоких прямых стволов сосен и кустов сирени. Неужели они ходят туда на глазах у всего обслуживающего персонала? Все знают! У всех он на языке, для всех он посмешище! Банька как раз за этим домиком, у самого забора. Дима вспомнил, что в заборе есть дыра. Летом через нее частенько лазили, когда шли напрямик к реке.

Возле угла забора остановил такси, расплатился трясущимися руками, попросил подождать и побежал в глубь леса вдоль глухого дощатого забора. Листья под его ногами взрывались, разлетались в стороны. Была осень, октябрь. Что он скажет Женечке, если увидит ее? Что делает? Об этом он не думал. Желание было одно: увидеть ее! Увидеть, удостовериться — и все! Пролез в дыру забора и заметил над трубой баньки легкий дымок. Приостановился, пораженный догадкой. Поднялся на крылечко бани, толкнул дверь. Заперто. Перочинный нож всегда был с ним. Сунул лезвие в щель, как в прошлый раз делал Сергей, и стал искать защелку, нащупал, осторожно сдвинул ее и приоткрыл дверь. Первое, что бросилось в глаза, плащ на стене. Ее зеленый, нежный на ощупь плащ, о который он так любил тереться щекой, когда Женечка приходила с работы и он бросался обнимать ее, который он тысячу раз надевал ей на плечи и тысячу раз помогал снять! И рядом с ним черный плащ. На широкую лавку небрежно, в спешке кинута такое знакомое, родное нижнее белье жены вперемешку с одеждой Сергея. На столе бутылка шампанского.

Анохин быстро шагнул к парилке, резко, широко распахнул дверь. Как у него тогда не разорвалось сердце? Как он выдержал? Только ли оттого, что был в шоке, в бреду? Как он не онемел от увиденного, как смог выкрикнуть, даже с иронией, ту дурацкую фразу? И зачем? Может быть, оттого, что был почти в беспамятстве?

— Привет, ребята! — крикнул он тогда. — Не торопитесь! Сейчас разденусь, групповуху устроим!

Почему так истошно, так тонко, как смертельно раненный заяц, с таким ужасом завизжала Женечка? Почему Сергей с побелевшими глазами рванулся в угол и закрылся шайкой? Анохин увидел в руках у себя нож, которым он открывал дверь, нашел в себе силы презрительно усмехнуться. Он захлопнул дверь, кинулся к забору, к дыре и по лесу — к такси. Упал на заднее сиденье позади водителя, задыхаясь, еле выговорил свой адрес и согнулся, скукожился, низко опустил голову, чтобы таксист не видел его слез.

В квартире спешно кинул в чемодан костюм, сорочки, белье, рукописи, диплом, дневник, несколько экземпляров своей первой книги. И помчался на вокзал, купил билет на первый же поезд в Москву. Рано утром приехал к двоюродной сестре. Жила она в комнатенке с мужем и двумя маленькими детьми. Ночевал у нее на полу две ночи, днем скитался в поисках работы. Но его даже дворником не брали. Заглянут в паспорт, увидят штамп — женат, пропуску тамбовскую и возвращают назад.

Но верил в себя Дима, верил, что поднимется, преодолеет все трудности. Никакой Бог не поможет ему, если он сам не пробьется, не будет действовать энергично, не будет валить свои неудачи на злой рок.

И все-таки именно дворником Анохин устроился. Взяли его временно, без всяких положенных прав. Зима надвигалась. Вот-вот снег падет, мороз, тротуары обледенеют, работы много, а в дворники никто не идет.

Как он мерз, голодал первое время! Зарплата мизерная, скитался, ночевал где попало ту зиму. Чаще всего на жэковском складе, на пыльном, порванном

диване среди метел, лопат, ведер, с мерзким запахом хлорки. Этот запах он не терпит до сих пор, почувствует — и сразу же поднимается тошнота, вспоминается жуткое время. Не дай Бог снова пережить такое!

За зиму Анохин выписался из Тамбова, развелся с Женечкой. Она сама подала на развод, сообщила его родителям, что выходит замуж. Бывалые люди посоветовали ему потерять паспорт, получить новый без записи о женитьбе и разводе. Заменял паспорт и весной устроился по лимиту на автомобильный завод слесарем-сборщиком, стал жить в рабочем общежитии.

Вскоре опять через его родителей Женечка прислала весточку, чтобы он больше не слал алименты. Новый муж удочерил его дочь. Печально стало, но грустил недолго. Помнил дочь Анохин маленьким беспомощным котенком. Три месяца всего лишь видел ее. Года через два случайно узнал, что Женечка с мужем и дочкой уехали из Тамбова. След ее затерялся.

Вспоминались Анохину его прежняя жизнь, Женечка спокойно, без волнения, так, словно он проживал заново, пролистывал, видел сюжет давным-давно написанного, выдуманного им романа. Давненько уже не вспоминалась она, давно прощена. Дай Бог ей счастья с другим мужем! А Сергей поганец, большой поганец! Тронуть жену друга!..

И вспыхнуло недавнее. Ушел покой, заняло сердце, снова стало тревожно и обидно. Почему всегда предают его? В чем загвоздка? Не в нем ли самом? Что он делает не так? Что? Ведь, прежде чем что-то сделать, он семь раз взвесит, не затронет ли он чьи-либо интересы, не обидит ли кого. Обдумает, прав ли он перед совестью и людьми. Разве плохо было с ним Женечке?..

...В салоне было тихо. Одни пассажиры дремали, другие, надев наушники, смотрели какой-то боевик по телевизору. По экрану беззвучно металась какие-то злобные люди с пистолетами, беззвучно взлетали вверх взорванные машины.

Анохин долго старался уснуть, думал о Светлане, представлял, как будет гулять с ней по улицам Лос-Анджелеса. Вдруг он увидел перед собой жену свою Галю, увидел совсем юной, такой же, как Света, в заводском пионерском лагере, в лесу, на берегу Москвы-реки, где они провели целое лето пионервожатыми. Мысли его снова ушли в прошлое, в молодые годы, в подмосковное мокрое лето. Еще будучи дворником, Дима стал посещать литературную студию автомобильного завода, читать там свои рассказы, сдружился с ребятами, познакомился с молодой поэтессой Галей Сорокиной. Студийцы почему-то довольно быстро избрали Анохина старостой, охотно принимали его предложения сгонять на выходные на Истринское водохранилище с ночевкой в палатках, охотно собирались в его комнате в общежитии, читали, обсуждали свои новые стихи, рассказы, без конца говорили о литературе, о новых произведениях известных писателей, которые появлялись в толстых журналах. Особенно сдружился с Костей Куприяновым, добродушным выпивохой, и Николаем Дугиным, с неизменной хитринкой в разноцветных глазах. Всюду они были вместе: в ЦДЛ, на даче у Кости, на пляжах Ялты. И всегда с ними была Галя Сорокина. Она была мила, скромна, симпатична. Дима чувствовал, что нравится Гале, не понимая, что легких отношений с ней не будет, а к серьезным, после первой женитьбы, он был не готов. Костя Куприянов однажды, шутя с Галей, перефразировал стихи Пушкина, которые тот написал о Татьяне.

— Тиха, печальна, молчалива, как мышь на стуле, боязлива, она в литстудии заводской казалась девочкой чужой, — прочитал он.

— Нет, вы не правы, — возразил Косте руководитель студии. — Галя — свой парень. Она всегда деятельно молчит. Глазенки у нее горят, активно в разговоре участвуют, каждое слово ловят!

Кто знает, как сложились бы отношения у Димы с Галей, если бы не направили их работать пионервожатыми на все лето в Подмосковье. После поспешной женитьбы и бегства из Тамбова Дима не хотел обременять себя семьей, пока не встанет на ноги. Ведь ему некуда было привести жену, не было своего угла, а вечно жить в общежитии, зарабатывать на хлеб сборкой заднего моста автомобиля он не собирался. И Галю он не представлял своей женой. Она была неглупа, начитана, в меру говорлива. Могла помолчать, могла поддержать раз-

говор, пошутить, улыбнуться, когда следовало, писала гладкие, но без особой искры стихи. Дима не догадывался, что Галя второй год мечтает о нем, второй год ищет случая подружиться. Он не догадывался, что это по ее настойчивому совету его назначили пионервожатым. Только года через три, когда у них уже было двое детей и Галя уверилась, что он никуда не денется, в особо нежную минуту она призналась, рассказала, как организовала совместную поездку в пионерский лагерь.

Лето в тот год было дождливое, холодное. По ночному лесу не погуляешь при луне. Слякоть, сырость, грязь. А если днем было солнечно, тихо, то ночью в лесу душно, не давали покоя комары. Особенно жадные, злые в то лето. Может быть, потому теперь, да и раньше, когда вспоминались те летние дни, они не казались ему счастливыми, не осталось от них ощущения счастья. А Галя первые годы супружеской жизни вспоминала о них с восторгом, как о чем-то необыкновенном, как вспоминает генерал о блестяще выигранном сражении, которое он спланировал, разработал самостоятельно и провел точно по плану. Потом, с годами, эти воспоминания Гали, разговоры становились все короче, суше, грустнее, словно результаты давней победы обманули, не выдержали проверки временем.

В августе еще в пионерлагере Галя почувствовала недомогание и поняла, что беременна. Анохин огорчился, но виду не показал, предложил ей расписаться.

Жила Галя в общежитии, у нее тоже была временная прописка. После регистрации брака никто бы прописки им не продлил, пришлось бы уезжать из Москвы. Анохин вспомнил, что дворникам, если они устраиваются на работу по лимиту, предоставляют служебную комнату. Надо было устраиваться на работу до свадьбы, пока паспорт чист, скрывать, что окончил один институт и учится в другом. Так он снова стал дворником...

3

В аэропорту Лос-Анджелеса Анохин взял машину, уложил в нее чемоданы и сумки, открыл дверь перед Светой. В кабине первым делом он убрал верх. Когда тот плавно пополз назад, открывая салон, Светлана не удержалась, воскликнула:

— Ух ты! Кабриолет!

Медленно, осторожно спустились по серпантину гаража и выехали на улицу. Обдало духотой, жаром. Они выбрались на скоростное шоссе и влились в поток стремительных машин. Светлана, шуря глаза, подставила лицо горячему ветру. Он трепал ее челку, короткие волосы. Дима изредка взглядывал на ее сияющее лицо, улыбался. Она спряталась от ветра за лобовое стекло и вдруг громко запела:

— А я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь...

— Не куда-нибудь, а в Голливуд! — крикнул Дима, с восхищением глянув на ее разгоряченное восторженное лицо.— Потом в Беверли-Хиллз. Представляешь, слова какие! Слова-миф, слова-мечта... А ты хорошо поешь! Мне нравится... Ласкает слух! Если ты будешь петь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка...

— То ты взвоешь! — перебила она.

Анохин захохотал. Он не мог смотреть спокойно на ее восторженное состояние, его всего распирало от радости, что ей хорошо.

— Ну нет, не взвою. Подпевать буду!

— Тогда я взвою!

Они дружно и громко захохотали.

Солнце ушло за гору, потихоньку смеркалось. По бульвару Голливуд катили потихоньку, высматривали мотель. Анохин довольно быстро увидел яркую светящуюся в полумраке рекламу мотеля, въехал в освещенный двор, где, уткнувшись носами в стену под широким балконом двухэтажного здания, стояло несколько автомобилей. Свободных мест, обозначенных белыми полосами на асфальте, было много.

Светлана с интересом осматривала комнату. Пол в ней был покрыт необыкновенно толстым мягким синеватым ковром. Ноги утопали в нем, приятно было идти. Широкая кровать — у стены. Над ней большая картина художника-абстракциониста: в беспорядке перемешаны яркие, разноцветные круги, полосу, треугольники. У окна круглый стол с двумя креслами.

— Наше первое гнездышко! — выдохнул Анохин, поставил чемодан и сумку на ковер и не удержался от восторга, от вспышки энергии, стремительно обнял девушку, подхватил на руки, закружил: — Чудо ты мое! — Поставил ее на ковер и, не выпуская из объятий, стал целовать в щеки, в закрытые глаза, едва касаясь губами.

— Как здесь душно! — выдохнула девушка.

Анохин с восторгом сумасшедшей нежности чмокнул ее в макушку, в мягкие жаркие волосы и отпустил, разжал свои руки, говоря:

— Сейчас будет прохладно.

Захлопнул дверь и включил кондиционер.

— Так, не будем терять время... Программа сегодняшнего вечера такова: разбираем вещи, душ, ужин в ресторане и прогулка по Голливуду. Одобряешь?

— Слушаюсь, я же твоя раба! — засмеялась Светлана.

— Забыл, прости! Приказываю немедленно разобрать вещи! — Он поднял ее сумку на кресло. — И в душ, под холодную воду!

— Это тебе надо под холодную воду... И не забывай, раба я твоя только на месяц!

Анохин открыл свой большой кожаный чемодан и начал выкидывать из него на кровать сорочки, костюм, майки, шорты, говоря при этом:

— Форма одежды на вечер свободная: майка, шорты!

— Зачем ты столько книг привез? — Светлана вытащила из его чемодана книгу и прочитала вслух имя автора и название: — Дмитрий Анохин, «Бурьян».

— Торгануть решил, — ответил он и добавил назидательно-ироническим тоном, вешая сорочки в шкаф: — Брось привычку шарить по чужим чемоданам!

— Ой-ой-ой! Между прочим, у нас дома эта книга есть. И еще несколько книг этого же автора.

— И ты их читала? — взглянул он на нее быстро.

— Ну да, мне бы классику хотя бы прочитать, буду я на эту дребедень время тратить!

Светлана разложила все свои вещи по полкам шкафа, повесила на вешалки платья, юбки, майки и отправилась в душ, а Анохин вышел на балкон, облокотился на теплые перила. Совсем стемнело. Небо бледное, далекое. Звезды реденькие, тусклые. Большой двор ярко освещен. Куст банана диковинно и таинственно застыл у забора. Если бы не этот куст, то можно было бы подумать, что стоит он на балконе первого этажа какого-нибудь русского чистого городка. Дмитрий, оглядывая двор, заметил внизу у торца мотеля небольшой круглый бассейн с водой, освещенной со дна голубым светом, догадался, что это джакузи, или спа по-американски.

— Светик, выключай душ! Надевай купальник, быстро! Это приказ!

Они спустились по ступеням к спа.

— Какой маленький бассейнчик, тут и не поплаваешь... Ой, какая горячая! — попробовала она воду ногами, пальцами. — Нагрелась за день.

Дмитрий понял, что она ни разу не видела спа.

Светлана осторожно спустилась по ступеням на дно, придерживаясь за блестящие никелированные поручни, присела, погрузилась в спокойную горячую воду. Одна голова осталась на поверхности, и в этот миг он нажал кнопку спа. С бурлящим шумом, мощно и неожиданно для Светланы ударил в нее со всех сторон струи, вода закипела. Она вскочила испуганно, кинулась к ступеням, чтоб бежать наверх, а он, хохоча, бросился навстречу, обнял.

— Сейчас я тебя заживо сварю в этом котле! — потянул он ее назад. — Садись, садись... — приговаривал он со смехом. — Десять минут — и усталость дожная улетучится.

Горячие струи приятно массируют тело. Приятно было нежно касаться под водой своими ногами ног Светланы. Приятно было видеть блаженство, отражающееся на ее лице, в ее блестящих при свете фонарей глазах.

— Давай-ка проведем сеанс массажа! — шутливо сказал он, взял ее ногу под водой, подставил подошвой под струю, к стене, к самому отверстию, откуда мощно била одна из струй, и стал водить ногой вверх-вниз.

— Чур, я первая в душ! — вскрикнула Светлана в комнате и побежала по мягкому ковру.

Анохин со сладостно вздрагивающим сердцем глядел вслед на ее быстро шевелящиеся лопатки, на ровный ряд позвонков, на тонкую, гибкую талию, на загорелые крепкие ноги. Когда она скрылась за дверью, он стал ходить по комнате босиком, утопая в мягком ковре, думая: если сегодня ночью удастся не сойти с ума, то уж разрыва сердца не избежать! И вдруг молнией мелькнуло в голове, что всего три дня назад он был готов повеситься в туалете издательства! Вода зашумела в душевой, резко ударила ему в уши, резче, чем молния, мгновенно перебила, заглушила ненужную мысль. Анохин явственно представил обнаженную Светлану под душем и с помутившейся головой толкнул дверь, рванул в сторону полупрозрачный занавес кабинки душевой, за которым она стояла под струями воды. Он схватил девушку, прижал к себе и стал целовать ее мокрое лицо.

Сначала она упиралась в него локтями и ладонями, но с каждым мгновением ее руки слабели, раздвигались, скользили ему под мышки, пока не оказались у него за спиной. Теплая вода лилась на них. Он не замечал этого, целовал ее в шею, в плечи. Она быстро водила своими руками по его спине, по затылку, то прижимала его к себе, то отпускала.

Колени у него сгибались. Вдруг струя ледяной воды ударила ему в голову, в спину. От неожиданности он откатнулся от девушки, охнул. Светлана засмеялась, легонько постучала кулаком по его плечу:

— Как я тебя?

— У меня чуть сердце не разорвалось!

— А как ты меня в бассейне? Забыл? Один — один...

Анохин притиснул, вдавил ее всю в себя. И она обхватила, обвила его руками, уткнулась щекой ему в плечо. Холодная вода поливала их.

— Какие у тебя руки сильные! — шепнула Светлана. — И плечи... — Она чмокнула его в мокрое, холодное от воды плечо и спросила с нежной усмешкой: — Остыл? Теперь не мешай мне мыться. Рабыня твоя проголодалась...

Вышла из душевой Светлана в халате и с полотенцем, завязанным чалмой на голове. Вид у нее был серьезный, деловой, озабоченный. Глаза чуть прищурены и очень далеки от него. Перед Анохиным был совершенно другой человек, совсем не та девочка, которую он так безумно целовал пять минут назад.

— Как отсюда позвонить в Россию? — указала она на телефонный аппарат.

Дима назвал ей номер и пошел в душ. Вернулся в шортах, в майке. Светлана тоже переделалась, шумела феном, сушила волосы в кресле за столом.

— Поговорила?

— Не дозвонилась... Томск молчит.

— Ты оттуда родом? Там сейчас девять утра.

— Фу, я совсем забыла!.. Дома же никого нет. Все на работе! — снова взяла трубку Светлана. — Алло, мама! Это я... Да, да, все у меня хорошо, все сдала. Теперь я третьекурсница... Не, мам, попозже приеду... Ты знаешь, откуда я звоню? Из-за рубежа, из Киева... С подружкой. Она давно меня приглашала. Город чудесный... А Днепр, какой Днепр!.. Месяц буду здесь, а потом приеду... Мам, я тебя очень прошу об одном! Если кто позвонит из Москвы и спросит, где я нахожусь, говори все, что я в деревне у бабушки. Телефона там нет. Поняла?.. Ничего не случилось! Просто подружка не хочет, чтобы в группе узнали, что я у нее гостила... Все, все, мам, целую, целую! — Светлана положила трубку и секунд десять сидела в задумчивости, водила шумящим феном над головой, потом взглянула на Анохина, улыбнулась как-то виновато: — Я тебя не разорю, если позвоню еще разочек, в Москву?

— Звони, звони!

Говорила она с подругой иным голосом, иным тоном, чем с матерью.

— Ксюша, приветик!.. Не пропала я. Я от Москвы за две тыщи километров... Ну да, в Томске. Пришлось сорваться немедленно, мама телеграммой звала — бабушка плоха... Ничего страшного, встала, ходит... А как у вас там? Как в клубе? За два дня ничего не произошло? Хиреет, значит, клуб... Все в норме, никаких сплетен?.. Поверить трудно. Значит, «крутые» на юг подались... Все появляются?.. Почти все? А кого нет?.. Ну эти периодически исчезают. Прилетят голубки... Ты для меня сплетни собирай. Люблю сплетни... С каких пор? А как в Томске оказалась. Тут со скуки без сплетен сдохнешь! Всем привет. Пока!

Светлана быстро положила трубку на стол, тряхнула головой, высохшей челкой и вдруг преобразилась в один миг: глаза ее снова блестели, искрились, словно она только что получила важнейшее для нее известие, которого так долго, с нетерпением ждала, тревожилась.

— Отлично! Все отлично! — вскрикнула она радостно, с непонятным восторгом, вскакивая с кресла. Фен полетел на кровать.

Анохину показалось, что она чуть не бросилась ему на шею, еле сдержалась, увидев, что у него серьезное лицо. Он не ожидал такой перемены в ней из-за обычной трепотни с подружкой и почти невинного обмана матери и не успел так быстро настроиться на ее тон.

— Не могла же я сказать им, что я в рабстве на месяц! Что я рабыня! — захохотала Светлана и запела, запрыгала мимо него к умывальнику. — Ла-лай! Ла-лай!.. Небольшой макияжик, и твоя раба готова ужинать... Сунь фен в коробку!

В ресторане сидели долго, пили вино, шутили, смеялись, разговаривали без конца. Потом гуляли по бульвару Голливуд, по бледно-розовым звездам на тротуаре. В центре каждой звезды на медной табличке было написано имя какого-нибудь известного деятеля кино. Были у китайского кинотеатра, перед которым на площади на больших бетонных плитах оставили следы обнаженных ног и отпечатки ладоней кинозвезды. Светлана вставала на следы, примеряла их размер на себя. У некоторых звезд были удивительно маленькие ноги и ладони. Рассматривали через освещенную витрину магазина резиновые маски разных окровавленных монстров, любовались высоченными пальмами с гладкими стволами вдоль бульвара. Долго шли за диковинной парой: оба худые, высокие, с железными ошейниками, соединенными цепью, в туфлях на необыкновенно высоких платформах, сантиметров тридцать, не меньше. Волосы у них разноцветные, собраны и подняты вверх в одну линию вдоль головы, как гребень у петуха. Шла эта диковинная пара важно, неторопливо, с достоинством, не замечая прохожих, которые с усмешкой оглядывались на них.

Вернулись в мотель за полночь.

— Устала?

— От впечатлений.

— Разве это впечатления! Один вечер всего в Лос-Анджелесе. Первое знакомство, первые впечатления. Основное впереди... Опа-а! — выхватил он из своей сумки, подбросил вверх, поймал бутылку шампанского. — Выпьем за первые впечатления!

Сидели напротив друг друга за небольшим столом, Светлана в кресле, Дима на кровати. Монотонно шумел кондиционер. Анохин шелушил фисташки, разламывал пальцами треснутые половинки и кормил ее бледно-зелеными соленоватыми ядрами. Она, как птенец, смешно открывала рот, когда он подносил к ее губам орешек. Анохин смеялся, все более хмелел то ли от вина, то ли от нежности. Не стерпел, наклонился, поцеловал ее теплое колено. Почувствовал ее жгучую ладонь на своем затылке, подхватил на руки, перенес на кровать, на белое покрывало и стал целовать, как безумный, чувствуя, как она напряглась, сжалась.

— У меня все дрожит внутри,— прошептал он.

— У меня тоже,— еле внятно, одними губами, ответила она.

— У меня от страсти,— водил он губами по ее уху.

— А у меня от страха... Лучше бы для меня, чтобы ты был грубым и брал меня силой, как свою рабыню!

— Я не буду грубым,— с едва сдерживаемым восторгом шептал он, водил воспаленными губами по ее щеке, виску, уху.— Я буду нежным, как облако... без штанов...— Видно, черт дернул его пошутить.

Светлана громко засмеялась и столкнула его с кровати.

— Дурачок, испортил все! — заливалась она смехом.

Нет сил описать эту ночь! Как найти слова, чтобы передать те жгучие ощущения, когда они, обвив друг друга, превратились в одно безумное, беспамятное, бесплотное существо, в одно нестерпимое наслаждение! Есть ли такие слова, словосочетания? Как их соединить, чтобы читатель почувствовал, ощутил то же самое, что испытывали Дима и Света в ту ночь, совершенно забыв, где они находятся, кто они и что с ними происходит. Такое дано испытать только один раз и, к сожалению, не всем, далеко не всем.

4

Утром Анохин проснулся первым. В комнате было светло от пробивавшегося сквозь шторы яркого, явно не утреннего, солнца, прохладно, свежо от шуршащего непрерывно кондиционера. Оба они — под одеялом. Светлана лежала у него на плече, прижималась к нему своим теплым животом. Спала она, как мышонок, дыхания не слышно, только чувствовалось легкое ритмичное дуновение на его плече. Анохин не шевелился, с нежностью смотрел на ее розовую щеку, на прикрытые веками глаза: под тонкой кожей век заметен был круглый бугорок зрачка, который изредка беспокойно, но так умирительно начинал двигаться, на пухлую чуть вывернутую нижнюю губу с прозрачной розовой кожей. Дмитрий смотрел на Светлану и думал: за что мне такое счастье? За страдания последних дней? Что я стану делать без нее, когда проскочит месяц и отправлю ее назад, а сам останусь здесь? Опять: что делать? Вечно я о будущем! Надо о настоящем думать, жить настоящим! Впереди месяц, целый месяц счастья. Вечность! Разве не остановилось сейчас время, когда Семицветик мой прижимается ко мне? Разве не счастье это? Разве не вечность машет легким крылом над нами, навевает ей сладкий сон, а мне величайшее блаженство, величайшее наслаждение только от одного прикосновения к ней? Разве мог Анохин представить такое неделю назад, когда казалось, что душа его никогда не сможет освободиться от боли? И такое неземное ощущение счастья теперь! Не надо будущего, не надо, только это настоящее! Ни о чем не думать, не думать, приказал он себе.

Сначала ему это удалось, некоторое время он лежал бездумно, упивался своим состоянием неземного блаженства, потом мелькнула радостная мысль, что плечо его ничуть не устает, не затекает, как бы долго ни лежала на нем Светлана. Вспомнилось, как быстро оно начинало беспокоить, ныть, возникло нестерпимое желание шевельнуться, сменить положение, когда ему на плечо ложилась его жена Галя. Подумалось: было ли такое ощущение с первых ночей с Галей или пришло позже?

Так шаг за шагом, ассоциация за ассоциацией постепенно ушел в прошлое, в медовый месяц, в первые счастливые дни жизни с Галей.

Из ресторана, где была свадьба, привез он молодую жену в свою маленькую служебную комнату. Галя быстро ее обжила, обустроила, сделала уютной. Хозяйкой она оказалась отменной, чудной женой, но любовницей никудышной. Это Анохин понял еще в пионерском лагере, но вначале посчитал, что Галя застенчива, равнодушна, холодна из-за неопытности, из-за неподходящей обстановки, из-за ледяных жестких матов. Уединились они всегда в спортивном зале. Впрочем, это его не сильно беспокоило, потому что свою страсть, свой любовный пыл он горячо сублимировал в повести, романы. У дворника свободного времени много: стучал на машинке и бегал по редакциям. Вскоре в издательстве «Московский рабочий» вышла его вторая книга, сборник повестей и рассказов, и он начал собирать документы для вступления в Союз писателей СССР...

Светлана неожиданно для Анохина быстро открыла глаза, взглянула на него, фыркнула, улыбнулась спросонья, показала ему ямочку на щеке и уткнулась в плечо, защеконала шею челкой. Дмитрий прижал к себе девушку, и она устроилась поудобней у него на плече, обвила его руками и зашептала:

— Я не понимаю, что было со мной вчера. Я не знала, что такое бывает... Что это?

— Бунин писал, это солнечный удар... В Лос-Анджелесе страшная жара.

— Вчера нас покинул разум,— зашептала она вновь. Видно, думать, говорить о вчерашнем ей было приятно.

— Да-да, он почувствовал себя лишним и ушел.

— Я не хочу вставать.

— Полежи еще.— Он перевернул ее на спину, склонился над ее лицом и стал тихонько, едва касаясь, водить пальцем по ямочкам на ее щеках, по носу, бровям.— Я хочу тобой налюбоваться!.. И сожмется душа от неожиданной, негаданной нежности, от земной и родной, от твоей неземной красоты...

— Что такое красота?

— Ты хочешь спросить, сосуд ли это, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде? Красота — это ты, ты — сосуд, пылающий огнем!

— Ты все шутишь,— быстро сжала она, вытянула губы, поцеловала его палец, которым он коснулся ее губ.

— Не шучу.— Он глядел на нее, водил пальцем по лицу и шептал неспешно: — Я сейчас созерцаю небесную красоту... Ты хочешь знать, что такое красота? В чем она? Красота в ритме твоих бровей, губ, тоне щек, в красках твоих глаз, волос. Сочетание всего этого я нахожу прекрасным потому, что, с одной стороны, оно поражает меня новизной, свежестью, живостью, а с другой — напоминает что-то былое, милое, что я любил когда-то и забыл за давностью лет. Сочетание тона, ритма, красок, запаха, да-да, запаха, и, может быть, еще чего-то, что я не могу назвать словами, привлекательно, близко моему темпераменту, моей психофизической конституции. Сейчас, когда я гляжу на твое лицо, я ощущаю волнение, но не физиологическое, а интеллектуальное, с налетом чувственного, волнение, переходящее в какой-то мистический восторг. Эти чувства веселят мне душу, рождают довольство, ощущение силы и освобождения от земных оков. В то же время я ощущаю в себе нежность, покой, духовную отрешенность, слияние с какой-то высшей сущностью. Все эти ощущения мне чрезвычайно приятны, удовольствие от них превосходит все мыслимые удовольствия. Как мне кажется, эти ощущения, с одной стороны, утешают меня, я становлюсь более терпимым, великодушным, а с другой — делают меня уверенным в себе, сильным, укрепляют мой характер, побуждают к действию, увеличивают способность к правильным поступкам. Не к безрассудным, а к правильным. Впрочем, часто безрассудный поступок в глазах людей рассудительных на деле самый правильный... Ну как, ты все поняла? Я толково, не слишком нудно тебе объяснил, что такое красота?

— Как профессор... Я чуть не уснула.— Она притянула его к себе и поцеловала в губы, потом оттолкнула, говоря решительно: — Встаем, а то город не увидим!

Весь день они провели в Универсал-студии, пеклись на солнце в очередях к аттракционам. Светлана оглушительно визжала на крутых виражах американской горки, которую здесь называли русской горкой. Вела себя озорно, непосредственно, по-детски и на других аттракционах. Взвизгивала, шарахалась от края вагончика, когда огромная акула внезапно, с громким фырканьем, так, что брызги летели во все стороны, выныривала рядом с ней из воды озера. На нее оглядывались, смеялись добродушно, любовались ею. Особенно понравилось Свете путешествие на машине времени. Там она навизжалась досыта! Аттракцион был сделан так, что создавалась полная иллюзия огромной скорости машины по воздуху, по реальным горным ущельям с водопадами, с вулканами, выбрасывающими вверх раскаленные камни, с потоками огненной магмы. Казалось, что машина вот-вот на полном ходу врежется в скалу, нырнет в воду! В самые

последние мгновения она успевала с ревом, грохотом, с ужасной тряской круто вильнуть в сторону, спастись. Казалось, действительно, ее проглатывает, а потом выплевывает огромный динозавр. Даже Дима вскрикивал, сжимался в опасный момент, с восторгом слыша ее звонкий визг, чувствуя, как впивается она в него руками, ища спасения. Как у нее блистали глаза! Как она сияла от пережитых ощущений! Как была красива!

— Как здорово! Ну, здорово!.. Ой, сердце совсем зашло! — Она, обхватив его руку, прижалась к ней. — Натерпелась страху!

Запомнился и Юрасик парк, куда они стояли особенно долго, больше часа, на жаре, на пышущем огнем асфальте. Наконец дошли, сели в большую широкую лодку и поплыли потихоньку меж зеленых островов, на которых то на берегу, то в воде лежали, стояли, паслись, дрались динозавры, ящеры, бронтозавры в коре панциря. Все они жили, пили воду с берега, поднимали головы и правдоподобно разглядывали проплывающую мимо лодку. Один динозавр, с огромной шеей, как стрела подъемного крана, нагибался к воде, доставал со дна, рвал зубами водоросли и спокойно жевал их, поднимая свою страшную голову на огромную высоту. Вода стекала с водорослей прямо на людей в лодке. И вся эта нечисть жила, шевелилась, пищала, кричала омерзительными голосами.

— Смотри! Ой! — дергала его за рукав Света, вертелась, указывала то на одного, то на другого зверя.

До глубокой темноты, пока работали аттракционы, переходили они из павильона в павильон. Возвращались домой возбужденные, усталые.

— Давай поужинаем дома... Купим еду в магазине. Я устала от шума, хочу побыть вдвоем.

— Я тебе не надоел еще? — шутливо спросил Анохин.

— У меня такое чувство, что я тебя знала всегда. Даже не верится, что мы всего три дня вместе... Главное, я почему-то веду себя с тобой совершенно естественно, мне ничуть не хочется сдерживаться, играть, казаться лучше, чем я есть на самом деле. Я совершенно свободна, раскованна... И мне так хорошо! Жаль, что это будет всего лишь месяц! — (Анохину приятно было слышать признание Светланы. Он не знал, что ответить ей, и по привычке своей иронизировать хотел пошутить, что она в свободной стране, потому чувствует себя свободно, но не стал сбивать ее искренний порыв). — Я впервые поняла слова: за мужчиной как за каменной стеной... Мне не надо ничего решать, не надо думать, что делать, как вести себя, куда идти. Куда ты поведешь, там мне хорошо... Раньше я этого не знала, не догадывалась, что так бывает...

— Это потому, что ты моя рабыня, — все-таки не удержался на серьезной волне Анохин, подтрунил.

— Да, я рабыня! Я рабыня! — подхватила, закричала она громко, поднимая вверх руки, подставляя их ветру. — Мне сладка жизнь рабыни! — И звонко запела: — А я сяду в кабриолет и поеду в Голливуд!

Мчались по автобану мимо освещенных прожекторами стеклянных небоскребов, устремленных в бледное от огней почти беззвездное ночное небо Лос-Анджелеса.

— Хочешь, сейчас выпьем вина, перекусим и поедем купаться в ночном Тихом океане? — предложил он, когда она замолчала, успокоилась, устроилась на мягком, удобном сиденье машины.

— Хочу, хочу, хочу! — вновь закричала Светлана, видимо, возбуждение, подъем, энергия распирали ее, и она пыталась выплеснуть их.

— Ах ты, непоседа! Трясогузка! — захохотал он, любуясь ею. — Секунды на месте не посидит!

В супермаркете они услышали русскую речь в одном месте, потом в другом, поразились тому, как много здесь русских, и невольно затаились, перестали разговаривать.

Вернувшись из магазина, сидели за столом долго, неспешно пили вино, отдыхали, разговаривали.

— Откуда здесь столько русских? — спросила Светлана.

— Эмигранты. Их в Лос-Анджелесе сто тысяч,— ответил Анохин и вдруг засмеялся, спросил: — Почему ты в магазине затихла, когда услышала русскую речь?

— Не знаю... Как-то не хотелось, чтоб поняли, что я русская...

— Это наша национальная черта! — горько усмехнулся Анохин. — Все прочее, будучи вдали от Родины, как только услышат родную речь, бросаются друг к другу, а мы, русские, прячемся, чтоб нас не узнали. В эмиграции все стараются жить поближе друг к другу, национальные общества создают, свои кварталы в городах, только мы, русские, за границей стараемся держаться подальше друг от друга, стараемся нагадить друг другу, особенно тому, кто чего-то достиг, в чем-то преуспел. Только мы, русские, друг друга едим и тем сыты бываем.

— Об этом еще Данте в «Божественной комедии» писал,— вставила Светлана и рассказала знакомый Анохину анекдот: — Помнишь, когда Вергилий спустился в ад, он увидел два огромных кипящих котла. Крышка одного была наглухо закрыта, завинчена десятью болтами, а другой совсем без крышки. «Что за грешники маются в этих котлах?» — спрашивает Вергилий у черта. «В том, что наглухо закрыт,— армяне,— отвечает черт.— Если хоть один из них выберется из котла, он всех за собой вытащит. А в том, что открыт — русские! Если кто-нибудь из них попробует выбраться из котла, то другие русские его быстро назад втянут.

— Да, это главная беда наша! Наша трагедия! — вздохнул Анохин. — В какой-нибудь неграмотной банановой республике только власть воровать начнет, как весь народ поднимается, сбрасывает президента. А у нас все разворовали, все заводы, всю страну, в нищету народ вогнали, а все терпят, не поднимаются, радуются, что соседу еще хуже...— И, помолчав, добавил: — Меня всю жизнь только свои русские друзья топили. Только подниматься начну, как меня хватят за ноги — и назад в котел!.. Прости, прости! — вдруг воскликнул он. — Я забылся! Забыл уговор.— И спросил другим тоном: — Есть еще силы искупаться в Тихом океане? Или бай-бай?

— Ни за что!

Они помчались по ночному городу, еще не остывшему от дневной жары. Светофоры, как сговорились, не задерживали их, горели зеленым светом. Минут через десять брели босиком по теплomu песку широкого пляжа. Океан чуть колыхался, набегал на песок, лизал теплой волной ноги, шипя, отползал назад. Вдали он сливался с темным небом. Вдоль дороги, ведущей по побережью, горели фонари. Свет от них еле доходил до пляжа, до воды, тускло освещал тихо колеблющийся, выгибающийся горбами океан. Пляж был пустынен. Кое-где вдали виднелись темные силуэты людей, потихоньку бродивших по песку, да слышались голоса купавшихся.

Взявшись за руки, они стали осторожно входить в воду.

— Какая теплая! Прямо парная! — воскликнула Света. — Я не ожидала!

Песок под ногами быстро кончился. Дно стало неровным. Они натыкались на какие-то бугры в водорослях, ямы. Отплыли от берега, вытянулись на поверхности, раскинули руки и ноги. Легкие ленивые волны качали их вверх-вниз, вверх-вниз.

— Как здорово! — подплыла к нему, обвила его ногами Света. — Теперь ты меня лягушонком будешь звать, да? — прильнула она щекой к щеке. — Или акулой?

— Нет, не угадала,— терся он об ее щеку. — Утенком... Лягушонок скользкий, холодный, а акула хоть и тугая, как ты,— помял он пальцами ее спину,— но тоже скользкая. А ты даже в воде пушистая, как утеночек...

Волна то и дело накрывала их с головой. Они смеялись, хлебали соленую воду. Потом он катал ее на руках по воде. Бегал вдоль берега с нею так, что вода бурлила, щекотала ей живот. Она заливалась звонким смехом. Он споткнулся, попав ногой на дне в яму, уронил девушку, упал. Волна накрыла их с головой. Они выползли на берег, закатываясь безудержным смехом, сплелись на песке, стали играть, кататься по нему, кувыркаться, барахтаться, прижимаясь, обвивая

друг друга все теснее и жарче, пока пламень не охватил обоих и они забыли от страсти, где находятся. Теплая волна набегала на берег, накрывала их, как прозрачное одеяло, по поясу, потом стыдливо сползала, обнажала, показывала звездам их безумную страсть.

Светлана тихо лежала у него на плече, прижималась к нему всем телом. Волны по-прежнему лизали, ласкали их, накрывали ноги, щекотали сползающим в океан песком. Анохин думал с усмешкой над собой: разве мог поверить московский дворник, что он будет млеть от счастья на берегу Тихого океана в мифическом городе Лос-Анджелесе?

— Я сейчас усну! Так сладко спать на твоём плече...— прошептала Светлана.

— Спи... Устала? Спи, мой буйный утенок!

— Я, наверно, так кричала, что сейчас весь Лос-Анджелес сбежит спасать меня... от себя самой...

— Нет, люди думали, это чайки кричат... И вообще ты забыла, мы с тобой на необитаемом острове. Оглянись, одни пальмы да обезьяны...

— Хорошо бы сейчас с тобой на необитаемый остров и забыть обо всем,— вдруг вздохнула она печально,— обо всем!

— Ой, утенок, как будто у тебя есть что забывать,— усмехнулся он.

— Есть... К сожалению, есть...

— Не от несчастной любви случайно ты со мной сбежала?

— Если бы... Хуже... Ну, ладно...— Она зажала ему рот своими губами, потом отстранилась, стала смотреть ему в глаза, потерлась носом о нос, фыркнула неожиданно и вскочила.— Давай ополоснемся и поедим, поздно уже. Наверно, не меньше трех ночи.

Когда они вышли из воды, Светлана заметила, что волны облизали песок, разровняли, ни следочка не оставили от их недавней любовной игры.

Людей на пляже не видно. Кабриолет их одиноко томился, дожидался на стоянке.

Следующие два дня они провели в Диснейленде, катались по Беверли-Хиллз, загорали на берегу Тихого океана. Вечера проводили в ресторанчиках. Сидели там подолгу, отдыхали разморенные солнцем, пили белое вино. Гуляли по городу, выбирали на память о Лос-Анджелесе сувениры.

Вечером перед отъездом из Лос-Анджелеса из мотеля Светлана позвонила матери.

— По голосу чувствую, у тебя все хорошо,— сказала мать.

— Хорошо — не то слово. У меня все чудесно-расчудесно! — Светлана улыбнулась, подмигнула Анохину. Они сидели в креслах за столом, на котором стояла початая бутылка вина. Девушка, разговаривая, вертела в руках пустой стакан, а Дмитрий время от времени делал глоток из своего. Он расслабился, отдыхал, спокойно держал недопитый стакан в руке.

— Ты не влюбилась случайно?

— Мама, ты у меня ужасно догадливая.

— Не с этой ли подружкой ты укатила в Киев? Смотри! Ой, смотри!

— Мама, не волнуйся. Я в надежных руках! — засмеялась Светлана.— Ты папе не говори об этом, ладно. Я и тебе не хотела говорить, но меня всю от счастья распирает. Мне хочется выскочить на улицу и кричать всем: я люблю! Я люблю!

— Какая же ты у меня дурочка! — вздохнула мать.— А твердишь, что выросла!..

— Мне никто из Москвы не звонил, не искал? Если позвонят, помнишь наш уговор? Ну все, целую!

Светлана быстро положила мобильник на стол, вскочила возбужденно с кресла, обежала вокруг стола и упала на колени, на мягкий ковер перед Анохиным, уткнулась головой в его живот, обхватила руками, зашептала с дрожью в голосе:

— Ты слышал? Я влюбилась в тебя безумно, голову совсем потеряла... Божь, сердце не выдержит, разорвется от счастья...

Дима тихонько гладил ее по голове, перебирал пальцами мягкие волосы. Потом наклонился, поцеловал в макушку, вдохнул нежный запах и шепнул:

— Ты просто перегрелась на солнце... Волосы у тебя солнышком пахнут. И ты сама, как солнце. Мое солнце!

— У меня голова кружится.

— Это от вина. Мы пили много... Будем спать или напоследок прогуляемся по ночному Лос-Анджелесу?

— Пошли! — выскользнула из-под его руки, вскочила Светлана.

Снова, как в день приезда, неспешно гуляли по ночному бульвару. Все здесь было знакомо, ничего не было в новинку, в диковинку. Звезды на тротуаре не удивляли, не вызывали особого любопытства. Несмотря на глубокую ночь, по бульвару еще прогуливались люди. Светлана привычно, по-хозяйски обнимала Диму за талию.

— Грустно смотреть на все, грустно уезжать, правда? — спросила девушка.

— Нет, мне не грустно, у меня сердце поет. Надеюсь, ты не каждому встречному так чудесно признаешься в любви? — подтрунил он.

— Между прочим, ты в ответ на мое признание промолчал.— Некоторая обида послышалась в ее голосе.

— Ты не расслышала.

— Ты сказал, что я на солнце перегрелась.

— Ну вот, а говоришь, что промолчал.

— Любишь ты иронизировать.

Анохин вдруг подхватил ее на руки, закружил на красной при свете фонаря звезде на асфальте, закричал громко:

— Я люблю тебя, Светлячок мой!

Идущие впереди парень с девушкой оглянулись на них, засмеялись. Светлана на громко заливалась смехом, стучала ему кулаком по спине и кричала:

— Сумасшедший!

— С ума сойду, сойду с ума! — кружил он ее и кричал: — Безумствуя, люблю, что вся ты — ночь, и вся ты — тьма, и вся ты — во хмелю! — Он опустил девушку на звезду, говоря: — Любовь — это помрачение ума. Ты когда-нибудь встречала рассудительных влюбленных?.. Попробуй теперь скажи, что не слышала моих слов. У меня вон сколько свидетелей,— кивнул он в сторону медленно удаляющейся парочки, потом указал на звезду: — И она тоже!

— Татьяна Самойлова,— прочитала вслух Светлана надпись на звезде. — Ты специально хотел взять ее в свидетели?

— Конечно, шел и всю дорогу думал: как дойдем до Татьяны, так я подхвачу на руки моего хомячка и закричу на весь свет: я люблю тебя, милая! Волновался — ужас! Как сладко и страшно в первый раз произносить эти слова!

— Какое же ты трепло! — покачала головой Светлана.— А приятно слушать!

— И я любил. И я изведаль безумный хмель любовных мук, и поражения, и победы, и имя: враг; и слово: друг... Под видом иронии легче правду говорить. Всегда можно отвертеться, мол, я шутил,— серьезно сказал Анохин.— Ты же не глупа. Думаю, еще в самолете увидела, какую бурю, какую страсть ты во мне взметнула!

— Ты ничего скрывать не умеешь. У тебя, как у ребенка, все на лице написано. Не надо быть психологом, чтоб прочитать твои чувства. Они все в глазах отражаются,— тоже серьезно проговорила Светлана.

В мотеле она позвонила подружке Ксюше, шутливо посплетничала о знакомых студентах. Под конец разговора Ксюша выложила главную новость:

— Тут меня в милицию таскали, выпрашивали все о толстячке Левчике с философского. Ты его знаешь, он к тебе тоже клеился. Ну, крутой! На джипе все разъезжал. Похож он еще на этого толстяка из рекламы пива: где был? Пиво пил! Алло, ты чо молчишь?

— Что с ним?

— Наверно, на наркотиках замели! Мне ничего не сказали, скрывают и зачем-то отпечатки пальцев взяли. Все расспрашивали, кого я видела с ним в ночном клубе. Приходили к нам в комнату, о тебе выспрашивали. Зачем-то взяли твои духи и крем. Сказали, что вернут...

— Ну ладно, привет всем. Я буду позванивать,— оборвала ее Светлана.

Девушка вернула Дмитрию телефон с озабоченным видом. Давно она не была такой серьезной.

— Проблемы? — поинтересовался деликатно Анохин.

— Да, у однокурсника, Виталика, СПИД нашли. Хороший парень. Жалко. Если весь курс уже знает, придется ему университет бросать.

Засыпала она озабоченная, отчужденная. Анохин, чувствуя это, был особенно предупредителен, не докучал её расспросами, разговором. Он правильно понял, что не болезнь Виталика ее расстроила, а еще что-то. Дмитрию хотелось прикрыть ее своим крылом, защитить, но он не знал, что ее тревожит, какая опасность ей грозит. Впервые пожалел, что предложил не разговаривать о прошлой жизни. И он тоже с беспокойством стал думать о своем издательстве «Беседа», представлять, что происходит там без него, что предпринимают Галя и Андрей Куприянов. «А не все ли равно теперь!» — мелькнула мысль. Но нет, ему было не все равно. Ведь это он организовал издательство. Благодаря ему поднялась «Беседа» на такую высоту: на третьем месте была в России по количеству напечатанных экземпляров книг.

И снова память ушла в прошлое, в молодые годы, в то время, когда после окончания второго института, ВГИКа, его попросили из дворников. Полгода он был безработным, пока не устроился редактором в издательство «Молодой рабочий», где в плане выпуска стояла его третья книга. В издательстве Анохин сразу же оказался в своей стихии. Все ему удавалось, все получалось. Через два года он возглавил одну из редакций «Молодого рабочего». Возглавил, огляделся и решил из трех ежегодных альманахов, добавив еще один, создать ежеквартальный журнал. В редколлегию он включил своих друзей Костю Куприянова и Николая Дугина, которым помог издать книги в этом издательстве. Журналы в те годы учреждались только по решению ЦК КПСС. Анохин понимал, что руководителям издательства не понравится его затея, потому действовал скрытно. Жизнь в его кабинете кипела. Из него не выходили молодые писатели, члены редколлегии и авторы будущего журнала.

Но через неделю после того, как рукописи первых двух альманахов легли на стол главного редактора на подпись, Анохину предложили покинуть издательство без шума. Причина нашлась: у альманахов должны быть составители, и в качестве составителя одного из них Дмитрий поставил имя Гали Сорокиной, своей жены.

Года через два молодой поэт, бывший член редколлегии несостоявшегося журнала, в буфете ЦДЛ сказал Анохину, посмеиваясь, что не из-за жены его убрали из издательства, это был предлог, просто кое-кому из друзей Димы, руководителей «Молодого рабочего», с которыми он делился своими замыслами, не понравились его бурная деятельность и быстро растущая популярность среди молодых писателей, поэтому его подставили и убрали.

Но у Анохина не выходил из головы свой журнал. Шел восемьдесят девятый год. Были разрешены кооперативы, и Дима предложил Николаю Дугину открыть кооператив «Глагол», взять в кредит сто тысяч рублей (по тем временам эта сумма равнялась ста тридцати тысячам долларов), купить бумагу и начать выпускать свой журнал. Анохин считал Николая человеком, не лишенным деловых качеств в отличие от Кости Куприянова. Дугин с интересом отнесся к этой идее, но, когда узнал, что нужно брать кредит, задумался и отказался, сказал, что сейчас пишет роман, сильно занят им. Ему будет некогда уделять время кооперативу, а обузой он не хочет быть. Тогда Дима обратился к Косте, и они открыли кооператив «Глагол». Анохин смотался в Сыктывкар, сумел убедить

начальника отдела сбыта комбината продать вагон бумаги. Своими руками выгрузили этот вагон, перевезли в типографию, своими руками перекатали трехсоткилограммовые рулоны на склад, а когда вышла первая книга, своими руками перевезли весь ее стотысячный тираж в магазин. Успех был большой. Кредит сразу же вернули. Как только «Глагол» ожил, Дугин поступил к ним на работу сначала как наемный редактор, а потом как-то незаметно стал соучредителем. Работал он больше Кости, который при первой же трудности уходил в запой.

Анохин, работая в «Молодом рабочем», помог Дугину выпустить книгу, помог вступить в Союз писателей. Диме он нравился: спокойный, начитанный. С ним приятно было поговорить, посидеть на даче за винцом. Он был худощав, сильно сутул, от этого казался ниже ростом, носил небольшую бородку. Глаза у него были непонятного цвета. Все в них было — и желтизна, и зеленца, и чернота, и серые точки видны. Были они глубоко посажены и почти все время прикрыты веками. Но когда он их вскидывал на тебя, в них чувствовались неприятная острота, блеск, а иногда проскальзывала хитреца. Однако неприятное впечатление от них всегда скрашивала чуть застенчивая улыбка, никогда не сходявшая с его губ. Он редко повышал голос, редко сердился. Если чувствовал себя раздраженным, то старался молчать, ничего не говорить, уходил в себя. Однажды Дугин признался Анохину, что когда он сильно раздражен, то начинает считать про себя до ста. Досчитает и успокоится.

В те дни Совет Министров СССР учредил издательство московских писателей, и Анохину, зная его активную деятельность, предложили возглавить, организовать работу нового издательства «Москва». Жаль было оставлять кооператив, где уже было все налажено, выходила книга за книгой, но Дмитрию казалось, что в государственном издательстве развернуться можно будет мощнее, да и Николай Дугин настоятельно советовал идти туда, и Анохин согласился, страстно окупнулся в организацию нового дела, начал работать как одержимый. Девяностый год стал золотым годом в его жизни. Как он кипел, как метался из города в город по типографиям и бумкомбинатам! Создавал малые предприятия по распространению книг. Тогда же было создано акционерное общество «Беседа», в учредители которого, помимо «Глагола», Дмитрий включил своих друзей Костю Куприянова, Николая Дугина, жену Галю, а коммерческим директором назначил Андрея Куприянова, брата Кости. Тот был прекрасным снабженцем, а в те годы добыча материалов была главным делом в работе частных фирм.

Книги в то время пользовались необычайным спросом, особенно подписные издания. И Дмитрий решил объявить от имени «Беседы» подписку на собрания сочинений Валентина Пикуля в двенадцати томах, «Белого дела» в шестнадцати томах, Чейза в восьми томах и «Зарубежного детектива» в шестнадцати томах. Некоторые кооперативные издательства давали объявления в «Книжном обозрении» о подписке и просили присылать деньги за последний том в банк на их расчетный счет. Но Анохин сделал по-иному. Он напечатал абонементы точно такие, к каким привыкли читатели в прежние годы. В Ленинграде и Киеве открыл малые предприятия на свои собственные деньги для того, чтобы они могли распространять абонементы. Никто из соучредителей «Беседы» не верил в успех этого дела. Однако возражать открыто Анохину не смели. Он был на вершине успеха, авторитет его был непререкаем. Да он и слушать никого бы не стал. Но что начнется такой ажиотаж, Дмитрий сам не ожидал. Он съездил в Ленинград, чтобы проверить, как там идет подписка, и с ужасом увидел, что в центре города, в переулке, неподалеку от Невского проспекта, замерзшие покупатели, дело было в декабре, жгут костер, заняв с вечера очередь на подписку. Утром в магазин войти было невозможно. Он был забит людьми. Народ его не пустил внутрь, думая, что он хочет влезть без очереди. Пришлось стучаться в служебный вход. Продали абонементов на немыслимую для сегодняшнего времени сумму, на несколько миллионов долларов.

Все удавалось в тот год Анохину, и снова казалось ему, что он крепко схватил Бога за бороду, частенько ловил себя на том, что любит себя в душе,

когда мгновенно, легко, без колебаний принимает важнейшие решения, снова говорил друзьям, что случай, судьба никакой роли не играют в жизни человека, что все только в его собственных руках: надо действовать, действовать и всего добьешься, все получится.

Каким интересным, насыщенным было то время! Ни дня покоя, ни часа отдыха! Удивительный год! А сколько сделано! Вспоминает сейчас Анохин и удивляется: неужто все это уложилось в один год? Да, за один год удалось организовать, поставить на ноги новое издательство «Москва». Создать на пустом месте и так, что о нем заговорили. Он начал строить свою типографию, купил дом в Кисловодске, три склада ломались от бумаги, купил и привез ангар под склад, выходят журналы и газета, действуют малые предприятия. Но это было по замыслу Анохина всего лишь начало, фундамент дела, развернуться он надеялся в следующем году. В тот год он был счастлив как никогда. К нему всегда была очередь в кабинет, несмотря на то, что дела решал он быстро, четко. Дома, по вечерам, телефон не умолкал ни на минуту. Галя раздражалась, сердилась, называла свою квартиру телефонной станцией. Ему звонили из других городов, забывая, что в Москве три часа ночи. В Союзе писателей, в ЦДЛ Анохин ни на секунду не оставался один. Едва он входил туда, как его сразу же окружали писатели, и начинались вопросы, просьбы, предложения. Такая жизнь ему понравилась, пришлось по душе.

Да, начало было энергичным, мощным, красивым, а кончилось все крахом! Крахом еще более стремительным, чем рождение издательства. Анохин не почувствовал, не увидел начало разложения, исток будущего краха. Не заметил лишь потому, как понимает теперь, что по отношению к людям — романтик. Он всегда был занят делом, некогда было приглядываться, вникать в причины поступков окружающих людей. Своими заместителями и заведующими редакциями в издательство «Москва» он взял своих друзей по литературе, и они-то, не понимая многих его действий — а объяснять им у него времени не было, — когда посчитали, что издательство встало на ноги, решили убрать его, написали письмо в Секретариат с требованием переизбрать директора. Анохин вызвал ревизионную комиссию, и, когда полностью отчитался перед Секретариатом, сам подал заявление на расчет, решил уйти в «Беседу», где руководителем считался Николай Дугин, но все решения принимал Дмитрий.

Анохин предложил Дугину собрать учредителей и сложить с себя полномочия президента, чтобы его, Дмитрия, снова избрали им.

— Не спеши! — ответил Дугин, усмехаясь. — Я подумаю, слагать с себя эти полномочия или не слагать!

— Почему так? — опешил Анохин.

— Главным редактором я могу тебя взять в «Беседу», а о президентстве забудь.

Анохин ушел от него ошеломленный. В шоке. Что делать, не знал, решил успокоиться, обдумать свое положение, а потом что-то предпринимать. Чтобы никто не узнал, в какое положение он попал, уехал из Москвы. Взял путевку в Дом творчества, в Ялту.

Утром и днем в Ялте Дима дописывал роман, а вечером они с Галей гуляли по набережной, по весеннему парку с цветущими деревьями, где запах моря смешивался с запахом цветов. Дима молчалив был, думал, думал, но думал он не о героях своего романа, а о том, как вернуть себе «Глагол» и «Беседу», отобрать у своего друга Дугина, которому он сам их передал. Вспоминалось, как советовал Дугин ему идти директором в «Москву». Николай знал, что Костя Куприянов не сможет по своему характеру быть руководителем, а значит, председателем Правления «Глагола» будет он, Дугин. А теперь он стал президентом акционерного общества, у которого вот-вот должны появиться огромные деньги. И переизбрать его по Уставу невозможно, ведь у «Глагола» пятьдесят процентов акций, которыми распоряжается Дугин как директор, плюс небольшой процент собственных акций как частного лица. Он один мог решать все вопросы, несмотря на то, что ни к открытию «Глагола», ни к открытию «Беседы» никакого отношения не имел и в делах «Беседы» совершенно не принимал участия.

Из Ялты Анохин обзвонил все малые предприятия и магазины, которые распространяли абонементы, чтобы они не перечисляли деньги в «Беседу», притормозили немного. Все они, особенно малые предприятия, работали лично с ним, с Анохиным. Он им давал деньги на развитие, а Дугин для них ничего не значил.

В первый же день в Москве они встретились втроем на даче у Кости. И сразу же, не спрашивая, как идут дела, Анохин объявил с радостным уверенным лицом, хотя внутри его все трепетало:

— Все, ребята, блудный сын возвращается! Все силы и время теперь буду отдавать «Глаголу» и «Беседе». Возвращаюсь в председатели кооператива «Глагол», давайте избирать, голосовать. Галя, как вы понимаете, передала свой голос мне, так что у нас голоса равные.

— А зачем тебе «Глагол»? — спросил удивленно Костя. — «Беседу» поднимать надо, она проваливается.

— Не, ребята, сначала мне надо вернуться в «Глагол».

Костя искренне не понимал, что ключ от обеих фирм в руках председателя правления «Глагола». Он сопротивлялся, категорически не хотел принимать какого-либо решения по кооперативу. Дугин молчал. Изредка бросал реплики в поддержку Кости. Анохин не мог открыто защищаться, высказать все, что думает, поэтому лавировал, требовал избрать его председателем правления кооператива без всяких объяснений. Ведь это он создавал его... Два часа бился, потом пошел на последнее средство, на последний вариант, заявил, поднимаясь:

— Хорошо. В таком случае мы с Галей выходим из «Глагола». Пришлем независимую комиссию, они посчитают имущество, и мы заберем свои части. И в «Беседу» я возвращаться не буду, позову всех сотрудников оттуда, кто пойдет со мной, откроем новое акционерное общество и будем действовать.

— погоди, чего ты разошелся! — испугался Костя. — Если тебе так надо, давай голосовать. Я за то, чтобы ты был председателем Правления «Глагола»!

— А ты? — с усмешкой глянул на Дугина Анохин.

— Я воздержался, — спрятал тот глаза и застенчиво улыбнулся, но в улыбке его мелькнула яростная ненависть.

И снова началась суета, снова закрутилась издательская машина. Книжки в «Беседе» выходили одна за другой. Почти все крупнейшие писатели сотрудничали с издательством.

Чтобы уходить от непомерных налогов, Анохин открывал новые малые предприятия, которые по закону два года были освобождены от налогов, и через них пускал все денежные потоки. Директором одного из таких предприятий он поставил Костю Куприянова. И вскоре узнал, что он вместе с главным бухгалтером перевел в эту фирму и присвоил сто двадцать тысяч долларов за полгода. Ошарашенный таким открытием Анохин позвал Андрея, заперся с ним в кабинете и показал документы. Долго молчали они, убитые, не зная, что предпринять. Если бы Костя не был родным братом Андрея и давним другом Дмитрия, то сразу бы передали документы в прокуратуру. А тут как быть? Анохин понимал, что суровое решение Андрею принимать сложнее, потому предложил выгнать Костю с его фирмой из здания, и пусть он работает как хочет...

Думая о прошлом, Дмитрий временами возвращался в действительность, прислушивался, не заснула ли Светлана, и снова уходил в себя. Светлана вдруг тихонько подняла голову, взглянула на него снизу вверх.

— Спи, спи! — прошептал он и прикоснулся пальцем к теплому кончику ее носа.

— А ты не спишь? Тебя все время гнетет что-то? Я вижу...

— Тихо, тихо! — притворно приказал он. — Спи! — И добавил, вздохнув: — Все у меня хорошо...

— Ну да, чуть отвернешься, так сразу глаза тускнеют, меркнут...

— Какая наблюдательная! Востроглазое мое лекарство! Все разговорчики в сторону, накажу! Завтра рано подниму! — нарочито строго приказал и зашеп-

тал нежно на ухо: — Прижмись ко мне крепче и ближе! Не жил я — блуждал среди живых... О, сон мой! Я новое вижу в бреду поцелуев твоих!

5

Проснулись они почти одновременно. Дмитрий с радостью увидел, что протянулась она с прежней улыбкой. Он слышал, что в душевой комнате она напевала. Вышла оттуда свежая, с ямочками на милых розовых щеках, с блестящими глазами. Значит, вечерние огорчения забыты, а может, и были они пустячными. Какие-нибудь мелочи, неловко брошенное слово подруги испортили ей настроение.

Позавтракали и покинули мотель навсегда. Было уже жарко, по небу плыли белые, серебристые с солнечной стороны облака. Сразу за Лос-Анджелесом шоссе запетляло меж невысоких гор, сплошь, до самой вершины, покрытых елями. У подножий и в небольших ущельях стояли дома, простые по-американски: четыре стены да плоская крыша, похожие на наши непритязательные коммерческие павильоны, и длинные одноэтажные здания, напоминающие ангараы, но, судя по вывескам, в них были магазины, мастерские и ателье.

Вскоре шоссе выбежало на ровное пространство, и с обеих сторон поплыли виноградники, апельсиновые, мандариновые, лимонные сады. Деревья и кусты с очень густыми листьями стояли ровными, ухоженными рядами на темно-коричневой, хорошо обработанной земле.

Обедали в придорожном ресторанчике. Анохин заказал еду, расстелил на столе большую карту Америки и стал рассказывать Светлане о маршруте путешествия, водить по карте пальцем.

— Сегодня нам нужно добраться до Скалистых гор. Заночуем где-то здесь, — ткнул он пальцем в карту, в каком-нибудь мотельчике. Утром в парк Секвойя, погуляем там, потом в Королевский каньон. Полюбоемся водопадами — и в парк Ёземите. Попетляем по нему — и мы на другой стороне Скалистых гор. Заночуем в Лон Пайне. Потом нас ждет Долина Смерти. Проедем через долину, и прощай, Калифорния, здравствуй, Невада, — мы в сказке, в Лас-Вегасе. Гуляем, играем, ночуем, и утречком дальше — в Большой каньон. После Лас-Вегаса все будет ново и для меня. Там я никогда не был, ничего не видел. От Большого каньона начинаем петлять по всем другим каньонам и каньончикам штатов Аризона и Юта. Ночевать, надеюсь, найдем где. Дня два потратим на эти экзотические места. Потом вниз, в Колорадо Спрингс, в Сад камней, в Денвер, столицу штата Колорадо. Оттуда через штаты Небраска, Айова, Иллинойс в Чикаго. Там мы поработаем дня три...

— А что мы будем делать? — Светлана слушала его, следила за его пальцем, скользящим по карте, с большим интересом.

— Ты разве не слышала, что Чикаго — столица мафий? Там у нас слет, съезд мафиозных структур, выставка-ярмарка достижений мафиозной деятельности за год.

— Фу! — фыркнула девушка. — Ни минуты не может без иронии! И говорит таким серьезным тоном... Мафиози нашелся! Кто ты такой, я с первого дня знаю! Еще в Москве, в ЦДЛ, догадалась, что ты за компьютерщик, иначе я, может быть, и не решилась бы поехать с тобой!

— И кто же я такой?

— На книжке «Бурьян» стоит имя автора — Дмитрий Анохин. Предисловие к каталогу издательства «Беседа» подписано директором Дмитрием Анохиным. В паспорте у тебя, кстати, значится это же имя. Я еще в Шереметьеве это увидела... Теперь колись, что мы будем делать в Чикаго.

— Книжная ярмарка там... Между прочим, я вчера пожалел, что поставил условие: ни слова о прошлом. Я ведь не знал, что у нас так получится. Так что я снимаю это условие.

— Рабыня не имеет права на возражения.

— Вот и ладушки... Так, мы остановились,— опустил он голову к карте,— в Чикаго. Оттуда мы мчимся через штаты Индианаполис, Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк мимо Великих озер (искупаемся в них непременно) к Ниагарскому водопаду. И последний пункт — Нью-Йорк. Возражения есть?

Ночевали они в горах, в мотеле, который стоял у скалы на берегу ручья.

Всю ночь за окном пел им ручей свою грустную и ласковую песню, рассказывал, как хороша жизнь вдвоем вдаль от людей, там, где никто не принесет им горя, никто ничем не беспокоит. Пел о любви, о радостной жизни, о солнечных днях и вечной молодости.

Утром Анохин проснулся от взгляда девушки. Она опиралась на локоть, лежа на боку рядом с ним, и глядела на него сияющими глазами. Солнце било в окно, в плотно закрытые розовые шторы, пробивалось сквозь них, окрашивало все в приятный розовый свет. В комнате было тепло. Лежали они на розовой простыне. Одеядо валялось на полу рядом с кроватью. Лицо, волосы, кожа девушки светились розоватым светом.

Деревья в парке Секвойя поразили Светлану своей мощностью и красотой. Она не представляла их такими, хотя Дмитрий говорил ей, что это самые большие деревья в мире, долгожители. Живут свыше трех тысяч лет. Самый древний и толстый дуб перед ними, как молодой щенок перед старым псом. Они долго гуляли по протоптаным дорожкам парка. В лесу было прохладно, безветренно. Приятно было бродить по мягкому толстому слою колючек, тысячелетиями копившихся под деревьями. Нагулялись и поехали в Королевский каньон. Долго поднимались вверх, пока не выехали на перевал, за которым открылись голые каменные вершины гор и глубокое ущелье.

Спустились вниз по извилистой дороге, петлявшей между скал, над обрывами, глубокими, отвесными пропастями. Кружили долго, пока не оказались на берегу шумной, бурной, пенистой реки возле водопада.

Водопад был чудесный. Река падала с горы высотой чуть ли не с километр. Подходить к нему близко запрещалось. Но, несмотря на это, несколько восторженных подростков карабкались по огромным скользким от водяной пыли камням. Рев от шума падающей воды стоял ужасный. Нужно кричать во всю глотку, чтобы услышал человек, стоявший рядом с тобой. Дмитрий со Светой тоже полезли вслед за подростками, помогая друг другу перебраться через камни. Совсем близко, как сделали некоторые особо храбрые ребята, подойти не смогли. Дыхание захватывало от водяной пыли. Дышать было трудно. Они разевали рты, хватали воздух лихорадочно, как рыбы, выброшенные на берег. Смотрели друг на друга восхищенными глазами, обнимались, хохотали и кричали что-то на ухо друг другу, не слыша слов из-за грохота воды. Потом осторожно вернулись назад, к машине. Дрожали от холода, мокрые до нитки. Согрелись в машине. Светлана молчала, глядела на дорогу, слушала спокойную, чуть грустноватую песню мотора.

Анохин под эту песню думал-вспоминал о печальных днях «Беседы», которые пришли незваными после семи лет радостной, счастливой работы.

Финансовыми делами издательства ведал Андрей Куприянов. Деньги сами по себе Анохина мало интересовали. Он никогда не думал, не ставил целью заработать много денег изданием книг. Они нужны были ему для того, чтобы выпускать следующие книги. Такое отношение к деньгам было следствием советского воспитания Анохина. В те времена меркантильность, алчность высмеивались. Любовь к деньгам, к богатству скрывалась, считалась нехорошей чертой человека.

Андрей Куприянов был незаменимым снабженцем. В свой отдел он набрал отличных ребят. Издательство без материалов не сидело. Правда, с руководителями предприятий, выпускающих бумагу, картон, бумвинил, с директорами типографий сначала договаривался Анохин. Он ехал в тот город, где было такое предприятие, добивался встречи с руководителем, уговаривал его сотрудничать с «Беседой», приглашал посетить издательство, когда тот будет в Москве. Внешность у Анохина была располагающая, вызывала доверие. Разговаривал

он всегда мягким голосом с добросердечной улыбкой. В то же время в глазах у него всегда полыхал живой огонь, чувствовалось, что этот человек своего добьется, не обманет, что с ним можно иметь дело. И ему не отказывали, заключали договора. Будучи в Москве, заезжали в издательство. Вот здесь-то он и пацовал. Анохин не мог поддержать непринужденный разговор за рюмкой водки с незнакомым человеком. Все время говорить о деле, которое уже решено, не будешь. Молчание тягостно. Хорошее впечатление, которое Дмитрий вызывал при первой встрече, могло рассеяться. Тут-то вступал в дело Андрей Куприянов. Он был чудесный собеседник за столом с любым человеком. Жизненный опыт имел богатый. Успел за пятьдесят своих лет поработать в нескольких местах на небольших руководящих должностях, сменил несколько жен. Был со всеми грубоват, бесцеремонен, напорист, для него не существовало авторитетов. В то же время был добр, бесхитростен, наивен. Пришел Куприянов в издательство холостяком и жениться не собирался. Директора предприятий, которые были сами такими же грубоватыми, напористыми людьми, иначе бы они не стали руководителями, быстро находили общий язык с Андреем Куприяновым. С удовольствием приезжали в издательство, распивали с ним бутылку коньяка, хохотали над его шутками и между рюмками решали деловые вопросы. Анохин спускался к ним на минутку пожать руку гостю, выпить с ним рюмочку и снова бежал к себе наверх, к своим рукописям, писателям, редакторам. Андрей часто приезжал к Анохиным на дачу, ночевал у них, вел себя как член семьи...

Светлана зашевелилась, отвлекла его от воспоминаний, открыла бардачок, достала карту и начала ее разглядывать.

— А куда ведут вот эти ответвления от шоссе? — ткнула пальцем в карту.

— Куда-то в горы, в тупик... Видишь, обрываются? Дальше пути нет.

— Давай съездим, посмотрим...

6

Анохин свернул с шоссе на узкую, но такую же ровную асфальтовую дорогу и по узкому ущелью покатил вверх. Ехали долго, пока не выскочили на ровную площадку возле деревянного дома, который стоял на возвышении среди зеленых кустов и тонких деревьев. За ним, вдали виднелись снежные вершины гор. Анохин оставил машину на площадке, рядом с несколькими автомобилями, стоявшими тут, и они поднялись по широкой каменистой тропинке к дому, увидели огромное синее озеро, застывшее у самого порога. Снежные вершины отражались в нем. Неподалеку в озеро вдавался каменный полуостров с высокой островерхой скалой, и на берегу его стояли два рыбака с удочками. Еще один рыбак застыл на зеркальной поверхности озера в резиновой лодке. В воде отражались от снежных гор лучи невидимого предзакатного солнца, розовато-малиновое небо с запада, а с востока темно-голубое, бездонное. И было так тихо, ни звука, ни шороха, ни движения, что показалось, они попали в заколдованное, зачарованное царство. Они тоже застыли замороженные, прислонившись друг к другу. Стояли, молчали. Даже слова восхищения казались им кощунственными в такой тишине.

— Гут,— услышали они вдруг, и оба вздрогнули, обернулись.

На широком и длинном крыльце стояла высокая, худощавая женщина с короткими русыми волосами и весело смотрела на них. Видимо, она только что вышла из дому так тихо, что они не услышали, а может быть, все время стояла там, просто они от восхищения не заметили ее.

— Гут, гут,— закивал головой Дима и предложил Светлане: — Давай здесь заночуем. У нее наверняка комната есть. Рыбки половим.

Через полчаса сидели на берегу за каменной скалой и ловили рыбу спиннингом. Ловили, пока не стемнело и не стало прохладно. Холодом тянуло от воды. Она была ледяная. Поймали две небольших форели. Сколько радости, сколько волнения, восторга было в глазах, на лице Светланы! Она даже припля-

сывала на месте, когда Дима вел беснующуюся в воде рыбу к берегу. Что делать с ней, они не знали. Хотели отпустить назад, в озеро, потом решили отдать хозяйке.

Как приятно было сидеть в тишине на берегу озера, на открытой террасе с дощатым полом за простым деревянным столом, на котором горела короткая толстая свеча, пить терпкое сухое вино, есть горячую рыбу, разговаривать вполголоса, смотреть на темное зеркало озера, полного звезд, на острые снежные вершины гор на фоне темного звездного неба! Звезды над горами, над озером были так яркие, их было так много, что Анохину не верилось, что они могут так густо усыпать небо. Как приятно было любоваться юным прелестным лицом Светланы, отражением огонька свечи в ее глазах, не сходящими ни на секунду со щек ямочками, ее длинными пальцами, легко обнимающими бокал с вином! Хотелось, чтобы эта полутьма, этот легчайший воздух, эта тишина были вечными, никогда не кончались. Рыбаки давно уже разбрелись по своим комнатам, затихли. А они продолжали наслаждаться близостью друг друга, тишиной, чудесным горным воздухом, который становился все прохладней и прохладней, звездным озером.

— Как я счастлива! — прошептала Светлана, и вдруг слезы потекли у нее из глаз, полились по щекам. — И как бы я хотела умереть сейчас! — страстно зашептала она. — Именно сейчас! Ведь никогда я не буду больше так счастлива! Ничего хорошего в России меня не ждет! — Слезы двумя ручейками бежали по ее щекам, блестели при свете свечи. — Доедем до Нью-Йорка: ты — в Москву, а мне — с моста в Гудзон!

— Почему? — кинулся к ней Анохин. Сердце его сжало холодным ужасом от страстных, искренних слов девушки, от ее несчастного вида, от ее слез. — Почему? Что с тобой? — опустился он на колени на деревянный пол, обхватил, прижал к себе девушку.

— Ты вернешься в Москву к семье, к детям... А я... я...

— Мне некуда возвращаться, — перебил он ее тоже негромким шепотом. — Я совсем одинок. Я потерял все. Ближе тебя у меня нет никого, никого. Я родился бы заново, если бы ты согласилась стать моей женой...

— Я согласна... Но как это возможно? И возможно ли?

Дима прижал ее к себе еще крепче и хотел сказать, что они останутся здесь, но ему вдруг вспомнились, пронзили слова спецназовца о Гале, его жене. Он испугался, содрогнулся от своей мысли, поднял голову, сжал Светины мокрые щеки своими ладонями и стал вглядываться в ее глаза, шепча, запинаясь, горячо:

— Ты ведь... в Гудзон... не только из-за меня? Да? Да?

Она кивнула, но глаз не отвела, сказала:

— Я расскажу потом... потом... Я не готова сейчас, прости...

— У меня тоже... перед твоим звонком, — усмехнулся он горько, выпуская ее лицо из своих ладоней, — была мысль повеситься...

Светлана вдруг быстро, другим тоном, словно ее осенила внезапная догадка, какая-то надежда, произнесла:

— А может быть, ничего и нет! Все не так плохо, как я надумала... Мне надо срочно позвонить в Москву!

Светлана, приблизив телефон к свече, набрала номер и прижала трубку к уху. Анохин видел в ее потемневших глазах нетерпение, надежду и страх. Он заметил, как она вздрогнула, услышав в трубке голос подруги.

— Светик, это ты? — Как ни прижимала Света телефон к уху, тонкий голос ее подруги был хорошо слышен Анохину в необыкновенной ночной тишине. — До тебя дозвонились из милиции?

— Зачем это я им понадобилась?

— Я же тебе говорила, что твои духи и крем они зачем-то брали, а вчера опять явились, о тебе расспрашивали. Мне пришлось им твой томский телефон дать... Алло, ты слышишь?

— Слышу... Чего они хотят?

— Они выпытывали, не дружила ли ты с Левчиком...

— Ну ладно, хватит о нем! Он мне неинтересен. А еще какие новости?

— Тут их ужас сколько! — И Ксюша начала рассказывать об институтских делах.

Потом Светлана положила телефон на стол и обмякла как-то в кресле, опустилась, замерла на минуту. Видимо, забыла о Диме, о том, где она находится.

Анохин чувствовал, что ей не до него сейчас, и тоже молчал, смотрел на нее. Он слышал весь разговор, догадался, что над Светланой нависла какая-то опасность. И связана она с Левчиком, толстяком с философского. Наконец она подняла голову, набрала другой номер, глубоко вздохнула, видимо, готовясь к разговору, преобразилась, напряглась и воскликнула радостно и ласково:

— Мамчик, привет! Как вы там?

— У нас-то все хорошо. А как у тебя?

— Чудесно! Погода — прелесть!

— Тут почему-то тобой милиция интересовалась! Ты ничего там, в Москве, не натворила?

— Мам, что я могла натворить? — обиженно спросила Светлана. — Ты разве меня не знаешь?.. Что они спрашивали?

— Они удивились, когда узнали, что ты в Киеве. Спрашивали, как тебе можно позвонить. Где ты живешь? Есть у тебя телефон? Когда ты собираешься возвращаться в Москву?

— Телефона у меня нет. Вернусь я через три недели. Если еще раз спросят, скажи им: никуда я не денусь. Вернусь в Москву, если еще буду нужна им, поговорим.

— А что им от тебя надо?

— Подружки говорят, что одного нашего студента, дурака-наркомана, арестовали, а теперь всех таскают в милицию, допрашивают, выясняют, кто наркоманил вместе с ним. А откуда я это знаю? Что я, за всеми, что ли, слежу? Больно нужно мне знать, кто с кем наркоманит!

— Ладно-ладно, не кипятись! Где ты живешь-то?

— В гостинице.

— Ой, дочка-дочка!.. Он студент, однокурсник?

— Директор фирмы.

— Что-то у тебя голос сегодня слишком возбужденный, нервный?

— Мам, а ты была спокойна, когда тебе папа сделал предложение?

— Он разве сделал тебе предложение?

— Да! Если бы ты знала, как я была счастлива полчаса назад! Мам, я ни секунды не колебалась, когда услышала от него эти слова. Я сразу согласилась. Лучше его нет на свете! Поцелуй папу! Дня через три позвоню.

Светлана снова положила телефон на стол с прежним отрешенным видом и пробормотала задумчиво:

— Может быть, не все так плохо?

— Что тебя тяготит? — спросил тихо Анохин.

Девушка неожиданно нервно вздрогнула от его голоса, словно возле ее уха прозвучал выстрел, взглянула на него:

— Прости, прости!

— Что я тебе должен прощать? В чем ты предо мной провинилась? Ну-ка, колись! — шутивно заговорил Дима.

— Ой, какое же я трепло! Все растрепала маме!

— Насколько я понял из твоей трепотни, — начал Анохин шутивным тоном, но закончил серьезно: — Ты согласна стать моей женой... До тебя я не подзревал, что в мире есть такая страсть, какая кипит во мне. Безумство какое-то!

Комнатка в рыбацком домике, как прозвали дом на берегу озера Дима со Светой, была маленькая. Почти всю ее занимали кровать, небольшой шкаф и два кресла с тумбочкой между ними.

Времени по лос-анджелесским меркам было совсем мало, когда они легли в постель. Светлана то ли от хмеля, то ли оттого, что перенервничала, а теперь

расслабилась, заснула мгновенно, прижавшись к нему всем телом под толстым мягким одеялом. В комнате было свежо, прохладно, и от этого особенно хорошо и приятно было чувствовать тепло девушки, думать о будущем с ней, думать, что придется снова начинать жизнь с нуля, как двадцать лет назад, когда он бежал из Тамбова. Жизнь завершила круг. Все начинается сызнова. Тогда он был ответственен только за себя, а теперь не одинок. Рядом с ним юная невинная душа. Чего она так опасается? Что ее так тяготит? Почему так страшится встречи со следователем? Не из-за темной истории с Левчиком сбежала она в Америку? Что она значит для Левчика? И что он значил для нее? Ксюша знала бы об их отношениях, если бы что-то было. Ведь они жили в одной комнате. Не скроешь ничего. Но видно, хорошо видно, что Светлана впала в протрацию именно из-за известий о Левчике. Не из-за этой ли истории она так легко согласилась стать его женой? Не переменит ли она завтра свое решение? От этой мысли стало грустно, печально и подумалось: что он даст ей здесь, если она всерьез решится остаться с ним? Это сейчас, когда она открывает мир для себя, все ей кажется чудесным, а он ангелом. Неизвестно, как встретит его американская земля, как к нему отнесутся власти. И как он отнесется к ним. Свою власть он не любил! Не любил — слишком слабое слово. Анохин при каждом удобном случае старался высказать свою точку зрения на эту власть, все время называл ее криминальной, бандитской, которая думает только о своем личном кармане, порвет глотку любому умирающему с голода пенсионеру, если представится малейшая возможность хоть на копейку за его счет пополнить свой карман.

Помнится, как заржал он, когда рано утром девятнадцатого августа девяносто первого года узнал о ГКЧП, который возглавил Янаев. Все три дня он смеялся, наблюдая за государственной комедией, особенно развеселился, когда узнал, что председатель КГБ не сообразил, что надо хотя бы пяток человек, начиная с Ельцина, посадить под домашний арест. Остальные бы и не пикнули, мгновенно присягнули бы трусливым путчистам. Анохину ясно было, и он говорил всем об этом, что Ельцину будет нужна кровь для весомой победы, чтобы показать всем, что это была не комедия, а драма, что он действительно рисковал. И точно. Президент организовал убийство четверых молодых людей, двое из которых погибли случайно, третий был исполнителем, а четвертого — безвинного солдата — убили, сожгли ельцинские бандиты. Троице: тому, который тупо исполнял приказ по пуску крови и заслуженно пролил свою, и тем двум парням, случайно оказавшимся жертвами, присвоили звание Героев России, с великими почестями похоронили на глазах у всей страны, а смерть солдата, того, кто единственный заслуживал звания Героя России, потому что погиб на боевом посту от рук преступников, верный присяге и своему служебному долгу, замолчали, отравили его труп домой втихаря и тайком от страны похоронили.

А через два года в октябре девяносто третьего, когда Ельцин из танков расстреливал здание парламента, Анохину было не до смеха. Он кипел от возмущения и в тот же день задумал повесть о великой провокации, которую устроил президент, чтобы уничтожить ненавистный ему парламент. Написал он ее в Ялте, в Доме творчества.

Знакомые Анохина, прочитав повесть, спрашивали: не вызывали ли его в КГБ, не притесняли? Как отреагировала на повесть власть?

— Никак! — отвечал, смеясь, Анохин. — Не заметили!

— Ты зря смеешься, — предупреждали наиболее осторожные и опытные. — Там все замечают, отмечают!

— Плевать я на них хотел!

Потом Анохин, потрясенный убийством генерала Рохлина, за два часа написал рассказ «Убийство генерала». Он описал подробно, как по приказу Ельцина убили генерала и под страхом смерти детей и внуков заставили жену взять на себя убийство мужа. Рассказ был напечатан в оппозиционной газете в день похорон Рохлина.

Писал Анохин и едкие сатирические повести и рассказы о действиях правительства, печатал их в журналах, в своих книгах. Знакомые, встречая Дмитрия в

ЦДЛ, говорили ему, что доиграется он, непременно доиграется. Зря думает, что такие вещи сходят с рук. Но Анохин не мог сдержать себя, своих эмоций, выплескивал их на бумагу. Он писал бы еще больше, если бы не отнимали время издательские дела.

Галя всегда была против таких его вещей, до скандала доходила, рвала рукописи. И он стал скрывать от нее, что пишет.

В марте Анохин получил телеграмму от брата из своей деревни: мать заболела! Дима собрался туда в субботу. Галя наотрез отказалась с ним ехать, не пустила ни сына, ни дочь. Они даже поругались из-за этого. Галя говорила, что нечего туда ездить. Ничего страшного не произошло. Старые люди всегда болеют. Это их удел. Чуть человек закашляет, так сразу надо бросать все, мчаться к нему. Но Анохин представил себе, что не увидит мать в живых, не поговорит с ней напоследок, и твердо решил ехать в деревню. Брат только раз давал ему телеграмму, когда умер отец.

Солнце растопило снег на дороге. Асфальт на Волгоградском шоссе был сухой, хороший. Вдоль дороги еще высились горы грязного, подтаявшего на солнце снега. Небо безоблачно. Солнце светило сбоку, слева. Приятно грело щеку, руки. Попутных машин было мало. И Анохин докатил на своем «Мерседесе» до Тамбова в хорошем настроении. Он не спешил, не гнал сильно. Торопиться было некуда. Всю дорогу он думал о героях своего нового романа, весь ушел в него, забылся. Обдумывал он свои произведения чаще всего в дороге. Когда ехал на работу или возвращался домой. В этот момент он весь сливался с машиной, становился с ней одним целым. Глаза, руки, ноги сами автоматически, бессознательно делали свое дело. Притормаживали где надо, поворачивали, резко увеличивали скорость, если надо был кого-то обогнать.

В Тамбове, потихоньку выезжая из переулочка, Анохин глянул, нет ли запрещающих знаков на разворот, нет ли прямой линии по центру. Ничто не запрещало ему развернуться. Он сместился к центру, убедился, что впереди нет гомехи, заметил позади машину, но она не мешала его маневру. Все это он сделал спокойно, автоматически, как делал сотни раз за день, мотаясь по Москве, и начал разворачиваться. Удара он не почувствовал, испугаться не успел, потерял сознание. Очнулся, «Мерседес» его стоит у обочины. Мотор молчит, стекла выбиты, и кровь ручьем льет с головы ему на тельняшку. Дима схватился рукой за голову, почувствовал в коже осколки битого стекла и стал их быстро выковыривать и выбрасывать в разбитое окно. Странно, но боли он не чувствовал. Это его сильно удивило и почему-то обрадовало. К машине подскочил молодой милиционер небольшого росточка, с испуганным лицом, рванул дверь. Она легко открылась.

— Как ты? — воскликнул он.

— Живой, — отозвался Дима, вылезая из машины. Милиционер взял его за руку, стал помогать.

Кровь по-прежнему обильно текла по шее Анохину на грудь, растекалась по тельняшке темно-красным пятном. Задняя дверь и крыло машины были разбиты, стекла рассыпались на мелкие кусочки. Колесо от удара перекошилось и ушло под кузов. Удар был мощный. Такой, что его тяжелый «Мерседес» на сухом асфальте развернулся на триста шестьдесят градусов, сделал полный круг. «Жигули» врезались в него правым углом. Они стояли посреди дороги с разбитой фарой, бампером, крылом, капотом. По виду «Жигуль» пострадал меньше «Мерседеса». А водитель его, коротко стриженный крепкий парень, топтался рядом со своей машиной. Он был немного возбужден, но испуганным и растерянным не казался. Впрочем, и Дмитрий почему-то совершенно не чувствовал страха, почему-то был спокоен, даже было какое-то ироническое настроение. И не было жалко разбитой машины. Объяснить такое свое состояние он не мог. Может быть, все его существо бессознательно, безотчетно радовалось, что остался в живых. Но мыслей у него таких не было, это он хорошо помнит. Голова была ясная.

На улице собралась толпа. Милиционер сказал подъехавшим гаишникам, что у него на глазах произошло столкновение, что виноват водитель «Жигулей»: мчался на огромной скорости.

В больнице ироническое состояние не покидало Анохина. Он пытался шутить с медсестрами, когда они заводили на него карточку, с врачом, который, узнав, что он из Москвы, сказал:

— Понятно, что произошло. Долбали вас и будут долбать. Теперь жди, доить начнут. Знаешь, наверно, почему у нас не любят москвичей?

— Догадываюсь... Только я тамбовский, лишь живу там...

— На лбу это у тебя не написано. Наши ребята на номера смотрят.

— Я не виноват в аварии.

— У сильного всегда бессильный виноват! — засмеялся врач. — В Тамбове свои законы!

Голову зашили, обмотали бинтом. Он еле поднялся со стола от боли в груди. С помощью рентгена выяснили, что у него сломано три ребра. Врач сделал в грудь обезболивающие уколы и сдал Анохина медсестрам, которые привели его в убогую на вид палату.

Ночь Дмитрий не спал от боли в груди из-за сломанных ребер. Лежать было невозможно. Утром приехали к нему из Уварова два старых друга. Вместе с ними отыскивали машину на милицейской стоянке, перевезли ее в мастерскую. В милиции Дмитрий написал свои показания о дорожно-транспортном происшествии. Ему снова подтвердили, что виновен водитель «Жигулей», но предупредили, что якобы тот утверждает, что Анохин разворачивался из крайнего правого ряда.

Через три дня Анохин вернулся в Москву, а через два дня позвонил в тамбовскую милицию, где шло следствие по дорожно-транспортному происшествию, и услышал:

— Срочно приезжай в Тамбов. Дело осложняется. Здесь объясним!

На тамбовских бандитов нарвался, решил Анохин. Вспомнил, что вид у водителя был соответствующий. И вел тот себя до странности спокойно. Следовательно в Тамбове пояснил, что машина, которая врезалась в его «Мерседес», принадлежит заводу «Большевик». Нужно встречаться с директором, договариваться, а то они собираются подавать на него в уголовный суд.

— Они считают, что вы виноваты в ДТП. Не с той полосы разворачивались.

— В меня врезались со скоростью не менее ста двадцати километров в час так, что «Мерседес» развернулся на триста шестьдесят градусов, и я виноват! — воскликнул Дима.

— Как теперь докажешь, с какой скоростью он ехал? — примирительно ответил следователь.

— Но вы же сами говорили, что виноват он.

— Свидетели нашлись, утверждают, что вы не с той полосы разворачивались, — опустил глаза следователь. — Надо вам договариваться с директором Юшкиным Никитой Ивановичем. Очень уж он строг. Непременно хочет в суд подать. А зачем вам судимость?

Дмитрий позвонил в Уварово своим друзьям, рассказал о том, что услышал в милиции.

— Ты влип! — огорченно сказал ему давний друг. — Юшкина бандиты командировали на завод смотрителем. Он там один из директоров. Человек жесткий и жесткий. С ним лучше не связываться. Договаривайся как-нибудь!

Юшкин, человек крепкого телосложения, настоящий качок, суровый, действительно, жесткий на вид, заявил сразу:

— Пять тысяч долларов на бочку — и расплевались!

— Почему пять? — растерялся Дима. — Я готов отремонтировать за свой счет. Там и разбито-то на пятьсот долларов. Я же не виноват в аварии...

Юшкин, слушая его молча, быстро набрал номер на своем мобильном телефоне и сказал в трубку суровым тоном:

— Юрий Сергеич, он не считает себя виноватым. Заводим уголовное дело.

Юрием Сергеевичем звали начальника районного отдела милиции.

— Почему сразу уголовное дело? — засуетился Анохин. — Может, договоримся? У меня нет с собой таких денег. Я подумаю...

— Ладно, Юрий Сергеевич, он думать будет, — отключил Юшкин телефон и глянул на Дмитрия. — Три дня тебе на раздумья. Не привезешь через три дня, будешь должен шесть тысяч. Понял? Гуляй!

Подавленный, удрученный, потрясенный Анохин с первым же поездом вернулся в Москву. Ни на второй, ни на третий день он не поехал в Тамбов. Ему стало стыдно своей слабости в кабинете Юшкина, не готов он был тогда к такому разговору. Когда назначенный срок кончился, раздался звонок из Тамбова.

— Почему опаздываешь? Завтра ждем! — жестко сказал мужчина.

— Я не собираюсь приезжать. Машина ваша пострадала долларов на пятьсот. Ну еще за товарный вид готов добавить. Я собрал у друзей полторы тысячи долларов. Больше нет. Если считаете, что я должен вам больше, то подавайте в суд. Он решит, кто виноват и сколько надо платить.

— Хочешь суд? Будет суд! — бросил мужчина коротко и отключил телефон.

Через месяц пришла повестка в суд, и в тот же вечер раздался телефонный звонок.

— Анохин? — спросил незнакомый молодой и веселый голос. — Повестку в суд получил? Имей в виду, решение суда уже принято. Ты должен заводу шесть тысяч долларов плюс шесть тысяч долларов нам за судебные издержки. Без этих денег лучше не приезжай на суд. Назад не вернешься. И помни: баксы все равно заплатить придется. Через месяц будешь должен не шесть, а десять. Заупрямишься, сначала горит твой «Мерседесик», потом квартирка... Куда звонить, ты знаешь. И о детях помни! Помни о детях!

Ошеломленный Анохин не успел слова вставить, как из трубки ударили в ухо, взорвались короткие гудки. Дмитрий бросил трубку и ушел на кухню. Руки у него дрожали. В голове стучало. Что делать? Вспомнилось, что знакомый директор издательства рассказывал, как, когда на него наехали бандиты, написал заявление в ФСБ. На другой же день примчалась группа спецназовцев, установили в его кабинете скрытые камеры, жучки, но бандиты, видно, пронюхали про это и больше не беспокоили его. Вспомнил об этом Дима и сел за компьютер, начал писать письмо в ФСБ на имя директора.

На другой день Анохин отнес это письмо в приемную ФСБ на Кузнецком мосту.

Между тем подошло время суда. Дмитрий, конечно, на него не поехал, не стал рисковать. Он знал, что вначале судья должен был познакомить его с материалами дела, попытаться примирить истца с ответчиком, убедить их прийти к какому-нибудь приемлемому для обеих сторон решению без суда. Анохин думал, что в худшем случае его оштрафуют за неявку и перенесут заседание на другой день. К тому времени в ФСБ что-нибудь решат, помогут ему выйти из сложившейся ситуации.

В середине мая из Тамбова пришло короткое письмо, состоявшее из двух строчек, говоривших о том, что Октябрьский районный суд г. Тамбова направляет копию заочного решения суда по иску ОАО «Завод «Большевик» о взыскании ущерба. Заочное решение было напечатано на бланке и гласило, что «руководствуясь ст. 213-1 ГПК РФ, суд решил взыскать с Анохина Дмитрия Ивановича в пользу ОАО «Завод «Большевик» 164 723 руб. 44 коп. и возврат госпошлины в сумме 3257 руб. 24 коп. Решение может быть обжаловано в Октябрьский райсуд г. Тамбова в течение 15 дней. Решение вступило в законную силу 19.05.2000 г.».

Получил решение суда Анохин двадцатого мая, то есть когда оно уже вступило в законную силу. Дмитрий глянул на тамбовский штамп на конверте. Отправлено письмо было одиннадцатого мая, хотя принято решение было четвертого. Все было сделано для того, чтобы он не успел опротестовать. И сумма, которую решили с него взыскать, была по курсу того времени равна шести тысячам долларов из цента в цент.

...Завтракали Дмитрий со Светланой на открытой веранде за тем же столом, где вчера провели вечер. Девушка была молчалива, но ласкова, нежна. Солнце поднялось над горами, освещало веранду, грело их теплыми лучами. Воздух был прохладный, легкий, свежий. Вода в озере ослепительно блестела, сверкал снег в горах. Спокойствие, красота, нега разлиты были вокруг. Дима чувствовал, что Светлана хочет заговорить с ним о чем-то важном, но не решается. Когда хозяйка принесла им кофе в высоком пластмассовом кофейнике, Анохин, наливая его девушке в чашку, ласково погладил ее по руке, улыбнулся:

— Нежишься на солнышке, котенок!

— Ты помнишь, что вчера мне сказал? Может, ты вчера шутил, когда делал мне предложение? Или что успокоить, сгоряча...

Он взял ее руку и засмеялся радостно:

— Не сгоряча, а от горячей страсти... У меня сейчас от счастья сердце так разбухло, что боюсь, разорвет грудную клетку. Мне хочется скакать козленком по горам, взлететь вон на ту вершину, кататься в снегу, чтобы остыть... Я лежал, не спал, сомневался, что ты сгоряча согласилась стать моей женой, а оказывается, ты тоже думала, что я сгоряча сделал тебе предложение. Я готов поверить в Бога! Когда он у меня, как у Иова, отнял все, чем я жил, что мне было дорого, и вдруг смилостивился и послал мне тебя... Конечно, все так стремительно произошло, поверить трудно, что это не сон, явь. Сладкая явь!.. Потому-то я так часто касаюсь тебя, чтобы удостовериться: не бред ли ты мой? Существует ли ты на самом деле? — говорил он, не выпуская ее руки из своей, словно, действительно, опасался, что если отпустит, то она исчезнет.

— Что с тобой произошло? Как ты потерял все?

— Я тебе все расскажу... Это долгая история... Будем считать, что у нас вчера произошла помолвка, а окончательное решение ты мне скажешь в конце пути. Хорошо?

— Я уже приняла окончательное решение. Я кажусь себе невесомой пушинкой даже сейчас, когда ты просто держишь мою руку в своей, когда просто прикасаешься ко мне!

Возвращались они на шоссе по горной дороге потихоньку, молчали. Анохин боялся расплескать свое нежное блаженное состояние после утреннего разговора, поглядывал на девушку счастливыми глазами и думал: неужели это моя жена? С ума сойти можно! Когда выехали на шоссе, где было жарче, чем в горах, помчались быстрее.

— Я тебе солгала, когда сказала, что не читала твои книги,— заговорила вдруг Светлана.— Подразнить хотела. Я их все читала... Твои книги и маме, и мне нравились. Я над ними и плакала, и хохотала...

В Долине Смерти стояла жуткая жара. Дул ветер. Нес пыль, песок. Полдня ехали по этому пеклу, только к вечеру, когда солнце стало кроваво-красным, коснулось своим краем равнины на горизонте, они вкатили в Лас-Вегас. Остановились на ночлег в мотеле напротив каменных скал казино «Остров сокровищ». Смыли дорожную пыль в душе, поплавали в прохладной воде и пошли через дорогу к высоким, крутым скалам, за которыми было казино. На одном уступе лежал скелет, на другом — распахнутый сундучок, из которого высыпались драгоценности: жемчужные бусы, золотые украшения. На вид трудно было догадаться, что скалы эти искусственные, что это просто стена казино. Перед входом в «Остров сокровищ» было большое озеро. Переходить его нужно было по деревянным мосткам, перилами которых служили толстые пеньковые канаты. Слева, метрах в десяти от мостков, у самой каменной скалы, стоял огромный корабль. Часть борта у него сверху и постройки на палубе были в саже, словно недавно на нем бушевал пожар. А справа, вдали, у другого берега озера, виднелся другой парусник, поменьше. Когда шли мимо скалы, Дима взглянул на расписание представлений. Бой начнется в одиннадцать часов. До него можно поиграть часочек.

В казино было прохладно. Тихо. Только из разных концов зала доносился звон монет, сыпавшихся из игровых аппаратов. Казино поразило Светлану

своими размерами. Оно было огромным, как стадион. Конца-края не видно. Можно заблудиться. Казалось, что в нем расположились тысячи игровых аппаратов, множество рулеток, зеленых карточных столов, буфетов.

— Приступим, попытаем счастья? — смеясь, спросил Анохин, глядя, как девушка удивленными глазами обводит зал. — Ты что предпочитаешь? Рулетку, карты, одноруких бандитов?

Он играл, а сам подглядывал на часы. Минут за пятнадцать до представления прервал игру, ссыпал все монеты из стакана в карман и потянул Свету смотреть на сражение двух кораблей на озере у скал казино. Потом они любовались извержением вулкана возле холма-оазиса с пальмами, с бурной пенистой рекой, наблюдали за сражением богатыря с огнедышащим Змеем-Горынычем возле сказочного дворца с голубыми, розовыми, зелеными башенками, куполами. Такие дворцы обычно рисуют художники в детских волшебных сказках.

Всю ночь Анохин со Светой не спали, переходили из казино в казино. Их на улице было несметное количество. Каких только не было: и в виде огромного льва, и в виде древнеримских дворцов с огромным количеством скульптур, изображавших цезарей, и в виде древнеегипетских пирамид. И все они целую ночь переливались, играли разноцветными огнями. Улица от такого красного многоцветия казалась сказочной.

Днем, на солнце, Лас-Вегас не производил такого впечатления, как ночью. Грустно возвышались раскаленные скалы «Острова сокровищ», жалко, побито торчал обугленный пиратский корабль. Монотонно шумел поток воды по камням с холма, поросшего пальмами. Ненужно, скучно вытянулась полукругом белая колоннада с римскими скульптурами. Застыл на жаре добрый старый коричневый лев, прикидывающийся грозным и сердитым. Дима прокатился напоследок по центральной улице Лас-Вегаса и выехал из города в сторону Большого каньона. Жара стояла неимоверная, но Свете хотелось ехать с открытым верхом, чувствовать теплый ветер на своем лице.

Грустновато было покидать сказку. Оба они были молчаливы. Непонятная печаль лежала на сердце Анохина. Вспоминались дети: Оля, Борис. После первой поездки в Лас-Вегас Дмитрий мечтал когда-нибудь привезти их сюда, показать сказочный город. Вряд ли теперь можно будет осуществить эти мечты. Когда он их увидит? И увидит ли вообще? От этих мыслей разрывалась душа. Он считал себя плохим отцом. Ему казалось, что слишком мало времени уделяет детям. Никогда не было времени. Всегда в делах, в бегах, в работе. Утешал себя, что Галя все время с ними. Почему так получилось, что Оля, девочка, тянулась к нему сильнее, чем сын? Дочке хотелось, чтобы он играл с ней, читал ей на ночь. А Боря был слишком послушный, смиренный. Скажешь ему: не мешай, папа занят! И он не ждет повторения, поворачивается и уходит. А от Оли такими словами не отвяжешься, не отстанет, пока не поиграешь с ней хотя бы пять минут. Чудесная девочка! Теперь, думая о детях, Анохин был рад, что сумел настоять, чтобы они выучили английский язык. Он хотел, чтобы Оля окончила Плехановскую академию, чтобы потом могла работать у него в издательстве. Мечтал, что она когда-нибудь сменит его, станет руководителем. Характер и задатки организатора у нее были. Борис помимо английского языка самостоятельно изучал хинди. Мечтал надолго уехать в Индию. В прошлом году Анохин отпустил его туда на две недели с группой московских школьников. И теперь Борис бредил Индией. Это увлечение сына не беспокоило Диму. Пусть. Может, станет известным исследователем этой страны. Чем плохо! Если сможет Анохин в Америке подняться, не утонуть, не исчезнуть в пучине, то, может быть, потом возьмет сюда Олю, поможет ей. Светлана славная, не станет ревновать к дочери! А он выживет, поднимется, в этом Анохин не сомневался. Года два-три упорного труда, и он снова пойдет в гору. Только бы не испортила детей Галя, пока он будет кувыркаться здесь. Мысль о Гале болью отдалась в груди. Сколько пудов соли они вместе съели, а он так и не разгадал, не узнал ее! Как странно и страшно! Неужели он такой слепец? Кажется, трудно понять, распознать человека, когда он ослеплен страстью. Но страсти к Гале никогда не

было. Страсть была к Женечке. И Дима боялся страсти, сдерживал себя, чтобы еще раз не вляпаться.

Галя ему нравилась, всегда нравилась. Любил ли он ее? Да, любил, любил спокойной любовью. Ему хорошо было дома, несмотря на частые ссоры с ней, на свои нервные срывы. Они были разные люди. Анохин сначала надеялся, что Галя станет его помощницей. Ведь она имела отношение к литературе, писала стихи, заочно окончила Литературный институт. Дмитрий издал две книги ее стихов, помог вступить в Союз писателей и все ждал, что теперь, когда дети подросли, она станет его литературным секретарем, будет помогать ему. Но ждал он напрасно. Она была какой-то вялой, равнодушной, сонной. В последние годы даже книги перестала читать. Интересовали ее только дача, дом, деньги! Ей все казалось, что он мало приносит домой денег. Анохин услышал однажды, как она жаловалась подругам, что у нее муж растяпа: все деньги мешками хапают, а он ушами хлопает. Это было давно, тогда еще издательство процветало. После разрыва с Костей Куприяновым из-за его воровства, а украл он больше, чем они с Андреем предполагали, начался затяжной кризис. Совпал он с общим ухудшением дел в книготорговле. Книги не продавались, склады затоваривались. Галя стала раздраженно выпытывать у него по вечерам, как идут дела в издательстве, обвинять, что он не те книги издает. Заканчивались эти раздраженные разговоры ссорой. Она, не стесняясь детей, кричала, что он тряпка, что все его писатели бездельники. На порог их не надо пускать в издательство. Мол, если так дело пойдет, то скоро детям есть нечего будет. А они растут, им в институты надо будет поступать, а деньги тают. И свадьбы не за горами. Где они будут жить? Надо о квартирах думать. И не выдержала, настояла год назад, чтоб ее взяли в издательство главным редактором. Черт с ней, решил Дима, пускай поработает. На некоторое время она успокоилась, стала деятельной. Вначале не мешала ему работать с известными писателями, потихоньку налаживала связи с авторами фэнтези, бездарные романы которых Анохин читать без ехидного смеха не мог, не понимал, кто читает такую бредятину. В издательстве появились рукописи оккультной дребедени, замелькали в кабинете Гали постные лица разных сектантов, которые за свои деньги хотели печатать всякую ерунду под маркой «Беседы», стали заходить потомственные целители с лицами шарлатанов. Они тоже не жалели денег на издание своих книг. Дима не успеет выгнать из издательства одного такого ухаля, как появляется другой. Он устроил скандал дома, когда узнал, что Галя с Андреем взяли десять тысяч долларов у сектантов на книгу.

— Кретин! — заорала Галя.— Посчитай своей пустой башкой, посчитай! Мы за пять тысяч весь тираж издадим, а по две с половиной тысячи в карман положим. На меня молиться надо, что я их нашла, а ты орешь! Двадцать таких книг в год, и можно жить по-человечески!

На работе Анохин попытался поговорить с Андреем Куприяновым, который в последнее время был заодно с Галей, поддерживал все ее начинания. Дима надеялся убедить его, чтобы он больше не поощрял Галю, не играл с ней в такие игры. Но разговор не получился. Андрей отшучивался, увиливал, посмеивался:

— Выкинь ты из головы эту чепуху! Кто заметит, что мы ее издали. Заберут тираж, и хрен с ними... Деньги на дороге не валяются!

Книга вышла, сектанты тираж взяли, но незамеченной она не прошла. В ЦДЛ спросили однажды, почему он такую чушь издавать начал, мозги людям туманить. Он отшутился, а на другой день узнал, что новая рукопись этих же сектантов принята к изданию. Анохин вспылил, не сдержался, накричал на Андрея. Куприянов покраснел, сузил глаза, но стерпел. Было это за две недели до поездки в США. А на другой день Андрей позвал Диму к себе в кабинет. В то утро Анохин получил из Тамбова письмо с заочным решением суда о взыскании с него шести тысяч долларов в пользу завода «Большевик», был расстроен, не до разговоров ему было. В кабинете в кресле возле стола Куприянова сидела Галя. Вид у обоих был беспокойный какой-то, взвинченный. Оба отводили глаза. Дмитрий, занятый своими мыслями, не сразу обратил на это внимание.

— Ты, может, догадывался,— начал Андрей, разглядывая свою ручку, которую он держал обеими руками над столом, и запнулся.

— О чем? — перебил недовольным тоном Дмитрий и хотел сказать, чтобы он не тянул, говорил быстрее и яснее.

Куприянов вздохнул, глянул на него и проговорил:

— Мы с Галей решили пожениться!

— Что-о? — хохотнул Анохин, так это было невероятно. Но в груди засало.— Шутка?

— Это не шутка! — сердито и грубо сказала Галя, глядя на него. Только теперь Дима заметил, что лицо у нее алое, такое, каким оно бывало во время сильных ссор с ним.— Ты слепец! Мы уже два месяца живем с Андреем.

Анохин сел на стул напротив их, сглотнул, качнул головой, не отрывая глаз от Андрея. От внезапной тяжелой боли ему хотелось застонать, но он неожиданно для себя снова хохотнул.

— Зря смеешься! — зло бросила Галя.

Она почему-то распяляла себя. Ей, видно, было так легче. А Андрей конфузился, бормотал виновато:

— Сам не пойму, как случилось... Голову потерял... Ты как писатель понять можешь... бывает... Вот, мы решили, что нам лучше вместе...

Анохин начал задыхаться. Чтобы они не видели его слабости, он быстро поднялся, выскочил из кабинета. Но в свой кабинет поднялся спокойно, чтоб секретарша не заметила его состояния, взял кейс, вышел на улицу, сел в свою машину и полетел по Пятницкой. Первым желанием было завалиться в ЦДЛ и надраться до чертиков, чтоб забыть все, ничего не помнить. Однако он проскочил мимо, помчался на дачу. Пить не стал, гулял до полночи по лесу. Как ни странно, но спал он неплохо. На работу не поехал. Снова бродил по лесу. Каких только мыслей у него не было в голове! О чем только не думал!

В издательстве Куприянов снова позвал его в свой кабинет. Там опять была Галя. Анохин догадывался, о чем пойдет речь. Думал об этом в лесу, но, как вести себя, что делать, не смог придумать. И Галя, и Андрей были спокойнее на этот раз, уверенные, серьезные.

— Я хочу в командировку на недельку мотнуться,— сказал Андрей,— в Курск, в типографию. И еще кое-какие дела там есть. Вернусь оттуда, надо будет собрание акционеров провести. Ситуация, как ты понимаешь, резко изменилась... Кстати, я тебе забыл сказать в прошлый раз, я у Дугина купил его десять процентов акций. Вот ксерокопия его заявления о выходе из учредителей и продаже мне своих акций...— Куприянов протянул через стол Диме лист бумаги.

Анохин взял его, стал читать.

— Я вчера подала заявление на развод,— спокойно произнесла Галя.

Дмитрий сдержался, не взглянул на нее, сделал вид, что, читая, не расслышал.

— И о чем мы будем говорить на собрании? — Дима вернул ксерокопию Андрею.

— Ситуация ведь изменилась: у тебя тридцать пять процентов акций, у нас — шестьдесят пять...

— У вас? — усмехнулся Дима и глянул на Галю.

— Ну да, у нас,— повторил Андрей.— Любой на нашем месте захотел бы поменять руководителя акционерного общества, мы не исключение...

— Между прочим, «Беседу» создавал я! — жестко перебил Анохин.

— Мы не спорим...— начал Куприянов, но Галя быстро вставила:

— Не один, мы тоже создавали...

— Значит, так,— уверенно заговорил Дмитрий. — Собрание мы проведем. Это верно! Поезжай в свою командировку, отдохни, подумай на досуге... Проведем мы собрание после моей командировки. Ты не забыл, что я еду в США на ярмарку?

— Туда можно и не ездить. Нечего деньги зря катать,— сказала Галя.

— Пока руковожу я, и мне решать, куда ехать, куда нет!.. После моей командировки соберемся.— Анохин повернулся к двери.

Андрей Куприянов уехал в Курск в тот же день, потом оттуда дал телеграмму, что задерживается еще на неделю...

— Ты чем-то не доволен? — отвлекла Анохина Светлана от тяжелых мыслей. — Лицо у тебя было такое хмурое, жесткое...

— Минувшее проходит предо мною... — продекламировал он.

— Выкинь ты это минувшее из головы, ты со мной! Оно минуло! — Девушка положила ему голову на плечо. — Думать надо о том, что впереди, — вздохнула она вдруг. — Хотя, хотя и с прошлым надо свести счеты...

— Это так... — усмехнулся он и подумал горько: «Мне уж помогли зачеркнуть все мое прошлое! Да еще как, чуть самого совсем не вычеркнули из жизни!» И Анохин явственно увидел перед собой спецназовца.

За три дня до отъезда в Америку в кабинете его раздался обычный телефонный звонок.

— Нам надо срочно встретиться! — услышал Дмитрий в трубке мужской голос.

— По какому вопросу? — Анохин насторожился. Чувствовалось по уверенному голосу, что это не автор, не менеджер книготорговой фирмы. — Приезжайте, я на месте.

— Нет, мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади. Метро «Китай-город». На метро вы быстрее доберетесь. Через пятнадцать минут жду.

— А если я не приеду?

— Вы вроде бы до сих пор дураком не были. По крайней мере я такого за вами не наблюдал.

— Мы знакомы?

— Вы меня не знаете, а я о вас знаю все. Все книги читал! — засмеялся добродушно мужчина. — Бросайте все дела и мчитесь сюда. Важнее этого в вашей жизни ничего нет.

— Вы из Тамбова?

— Нет.

— А как я вас узнаю?

— Я вас узнаю. Я жду!

«Идти или не идти? А чего, собственно, опасаться? Не будет же он убивать меня среди бела дня возле Кремля? Поеду! — подумал Анохин и поднялся решительно, твердо, с надеждой. — Кто знает, что это за человек? Может быть, встреча с ним подскажет какой-нибудь выход из этого ужасного положения».

Выйдя из метро, Дима пересек площадь и направился мимо стоянки автомашин к памятнику Кириллу и Мефодию.

— Привет, — услышал он и обернулся, остановился, увидев рядом с собой коренастого мужчину в темно-сером пиджаке, с серым в клеточку галстуком, в дымчатых очках, стекла у которых снизу были прозрачные, но чем выше, тем темнее становились. Он с приятной улыбкой протянул Дмитрию руку. Анохин пожал ее, почувствовал на костяшках его пальцев крепкие, набитые мозоли. Помнится, с холодком в душе подумалось тогда, что перед ним каратист. Мужчина был широкоплеч, крепок, с сильно поседевшими густыми волосами. Но усы были темно-русые и без единой сединки. «На нем парик!» — догадался Анохин. Возле уголков глаз, у висков мелкие морщинки. Значит, ему не меньше тридцати пяти.

— Я рад, что вы пришли, — быстро сказал мужчина. — Пройдемся, — кивнул он на ступени, ведущие вверх, в сквер. И двинулся неторопливо к ним. Дмитрий пошел рядом. — Ты везучий! — дружески усмехнулся мужчина, переходя на «ты». Говорил он спокойно, негромко. В сквере шум стоял от машин, объезжающих вокруг, и Диме приходилось держаться поближе к мужчине, чтобы слышать его слова. — Три года разоряем, а ты все держись! Убить решились, вывернулся!

— Убить! — воскликнул Дима, приостанавливаясь.

— Ну да, в Тамбове. Заурядная автокатастрофа. Сам, мол, виноват, неправильно маневрировал, сам под машину кинулся. А тебе повезло! — засмеялся мужчина.

— За что? Почему?

— За — «Убить Ельцина», за — «Убийство генерала Рохлина», за — «Я — убийца», за сатирические повести, за книги, которые издаешь...

— Но почему? Доренко на всю страну по телевизору говорит более страшные вещи!

— Кто такой Доренко? Сейчас его уберут с экрана, а через полгода проведи опрос, восемьдесят процентов людей не вспомнят не только, что он говорил, но и не назовут, кто такой Доренко. Телевизор — минутная вещь, а книги живут вечно, — добродушно ухмыльнулся мужчина. — А как тебя по-иному унять? Вот и решились на крайнюю меру... А раз решились, значит, выполнять надо! Ездок ты неосторожный, торопливый. Все это знают, — хмыкнул мужчина, — никто не удивится, если ты не сегодня-завтра погибнешь в аварии. А это непременно случится!.. Исчезнуть тебе надо годика на два куда-нибудь подальше от Москвы и затаиться. Сиди себе в деревне сибирской и пиши свою «Войну и мир». А там видно будет, как жизнь сложится.

— Зачем вы мне это сказали? Зачем вам это надо?

— Ты слышал, думаю? Сейчас начинается суд над убийцами журналиста Холодова из «Московского комсомольца». Не хочется года через два-три на их месте оказаться... Жизнь — верткая штука. Неизвестно, как завтра повернется. Это во-первых. А во-вторых, я все вещи твои читал, до строчки. Поклонник, можно сказать, перед тобой. Я ведь тоже из деревни, многое близко... Пиши о любви. Никто в России о ней писать не может, а тебе удастся!.. Вот основные причины, почему я встретился с тобой...

— Хорошо, — пробормотал ошеломленный, раздавленный Анохин. — Я исчезну! Тем более... — умолк он на минуту, а мужчина продолжил за него, доброжелательно улыбаясь:

— Тем более что ты потерял и семью, и издательство.

— И это вы знаете?

— Работа такая! — засмеялся мужчина.

— Да, я исчезну, но можно на прощанье один вопрос? — быстро спросил Дмитрий.

— Смогу — отвечу.

— Куприянов Андрей ваш?

— Нет.

— Тогда кто же?

— Это уже второй вопрос! — снова засмеялся мужчина.

— И все же? Это умрет со мной!

— Впрочем, если и расскажешь, кто тебе поверит... Но я отвечу. Только прежде хочу спросить: ты уверен, что тебе нужен этот ответ? Выдержишь ли ты его? Я бы не хотел такое узнать!

— Говорите. — Дима дрожал, словно заранее готовился услышать что-то еще более ужасное, чем то, что он узнал сейчас.

— Галя Сорокина... со времен литературной студии завода.

— Галя! — У Анохина зашумело в ушах. Шум, звон все усиливались.

Мужчина подхватил его под руку, подвел к скамейке, усадил. Заставил взять под язык таблетку. Когда Анохин пришел в себя, очухался немного, мужчины рядом не было. Стояло в голове ощущение, что он привиделся ему. Не было никакого мужчины, не было разговора. Примнилось Диме в жарком бреду. Ему казалось, что он сошел с ума. Мимо, по дорожке сквера изредка проходили люди, — взглядывали на него украдкой внимательно, с подозрением, словно понять хотели: пьян он или болен?..

— Эй, взгляни в зеркало! — услышал Анохин прямо над ухом голос Светланы.

— А что там такое? — Дима глянул в зеркало заднего вида.

— Ну вот, прямо на глазах изменился! — хихикнула девушка. — Ты опять свое минувшее терзал? Лицо у тебя было такое зверское. У-ух!..

— Я всегда за рулем свои романы обдумываю. И сейчас любовный эпизод представлял.

— Ну да, любовный!

— Я представлял себя маньяком-каннибалом! — деланно громко захохотал Дмитрий. — Представлял, как я рву на куски молодое женское тело, вырываю язык, выдавливаю глаза! — И он действительно представил, увидел, как вырывает язык у Галя, и передернулся весь, содрогнулся, подумав, что Галя знала, что его будут убивать. Это она сообщила куда следует, что он едет в Тамбов. — Фу, ужасно!.. Оттого у меня и было зверское лицо.

— Не надо гадости представлять, надо природой любоваться! — Светлана повела рукой вокруг. — Когда ты еще такое увидишь?

На неровной поверхности то тут, то там торчали кактусы, казалось, что кто-то от нечего делать понавтыкал как попало колючие угловатые толстые колья. А по горизонту тянулись волнистые горы.

— Через пять километров место отдыха, поесть-попить хочешь? — спросил Дима.

Площадка для отдыха была хорошо оборудована: стоянка для машин, туалет, столы под высокими кактусами. Они выбрали стол в тенечке под кактусом. Анохин наблюдал, как Света раскладывает еду на газете, и на душе его становилось светлей. Он физически чувствовал, как скверное настроение от воспоминаний потихоньку рассеивается, расслабывается в его душе, сменяется покоем, миром. Как она прелестна! «Неужто это не сон? Неужели она будет моей женой? — в сотый раз промелькнули в его голове мысли о Свете. А может, сном была та встреча с фээсбэшником? Фу! Опять о нем? Не было его, не было! Все, никогда я не вернусь в Россию!»

— Стол накрыт! Прошу откусать, господин мой! — шутливо показала девушка обеими руками на стол. Она видела, что Дима любит ее, что глаза его светлеют, оживают. И это ее радовало.

Поели, запили еду горячей фантой с колючими пузырьками. Светлана завернула объедки в газету и выбросила в урну, потом попросила у него мобильник, набрала номер Ксюши.

— Привет, — отозвалась подруга. — Ты где? Тебя не нашли?

— А кто меня ищет?

— Милиция. Меня опять о тебе выспрашивали. Говорят, что тебя нет в Томске...

— Зачем это я им так понадобилась? Просто с ума сойти!

— Левчика-то того, оказывается, не арестовали. Его убили!

— Убили? Кто?

— На собственной даче. Говорят, девчонка какая-то... Ищут ее. Ты не была с ним?

— Что я, сумасшедшая? Ужас какой-то! Прямо в дрожь бросило! Не меня ли они случайно подозревают?

— Они всех допрашивали. Только тебя найти не могут. Слушай, они мне телефон оставили, сказали, чтобы ты им позвонила.

— Сейчас погоди, я ручку возьму! — Дима, услышав это, быстро распахнул барсетку, вытащил ручку и протянул ей. Но Светлана хмуро отрицательно покачала головой, бросила в трубку: — Диктуй, я записываю! Так... так... так... Хорошо, Ксюша, спасибо тебе. Ты меня этим известием расстроила ужасно! Прости. Я тебе завтра перезвоню...

Светлана положила мобильник на стол и вдруг прижала руки к животу, согнулась. Лицо у нее исказилось от боли, стало жалким.

— Тебе плохо? — спросил испуганно Дима.

Услышав голос Анохина, Света взглянула на него. В глазах у нее была ужасная тоска, такая тоска, что он обмер на миг, испугался. Она поднялась из-за стола и шагнула к стволу кактуса. Согнулась. Ее вырвало. Дима вытащил пла-

ток из кармана и пошел к ней, хрустя сухими стеблями травы. Девушка, не глядя на него, выхватила из его руки платок, прижала ко рту и вдруг содрогнулась от рыданий, кинулась мимо ствола кактуса.

— Света! — вскрикнул от неожиданности Анохин и бросился за ней.

Догнал он ее метров через сто, не менее. Схватил сзади. Она рванулась, и они оба упали в колючую пыльную сухую траву. Света билась в истерике, вырывалась из его рук, взвизгивала:

— Все! Все! Все!

— Светик, Светик! — испуганно повторял Анохин. — Что с тобой? Успокойся!

Наконец он сумел придавить ее к пыльной земле так, что она не могла биться, начал целовать ее грязное, мокрое, соленое лицо, перекошенный от рыданий рот, приговаривая:

— Успокойся... Я с тобой... Я с тобой...

— Ты бросишь меня!.. Ты бросишь... когда узнаешь... — рыдала она по-прежнему, но уже не билась.

Анохин прижимался щекой к ее мокрой щеке и шептал на ухо:

— Я тебя никогда не брошу! То, что было с тобой, все чепуха, все чепуха! Забудь, забудь! Я никогда не брошу тебя!

— Я убила человека... Меня ищут... — выговорила она сквозь рыдания. — Они знают... что это я убила...

Дима, ошеломленный ее словами, замер на миг. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Быстро пришел в себя и снова зашептал, стараясь успокоить ее:

— Если ты убила, значит, он заслужил это... Ты правильно сделала, ты молодец! Ты у меня молодец и одновременно дурочка! Как ты могла подумать, что я могу бросить тебя? — шептал он, а сердце сжимала тоска. Еще одна беда свалилась на него. — Ну, все-все, встаем, а то бросили машину на дороге... Ой, и ключи там, и все деньги! Пошли, а то останемся без всего! Поднимайся, глупеньш мой! Ладно, лежи, я тебя на руках понесу. — Он поднял ее на руки и понес к машине, зорко вглядываясь, на месте ли она, не крутится ли кто рядом с ней.

Светлана прижалась щекой к его груди, обхватила шею руками и изредка всхлипывала, вздрагивала.

— Какие же мы с тобой грязнули! — говорил нежным голосом Дмитрий. — Давай умываться — и вперед!.. — Он поставил ее на ноги. — Вспомни, ты мне всего час назад говорила, чтоб я выбросил минувшее из головы, ты со мной... Теперь я тебе это говорю: ты со мной! Ты со мной!

— Я не вернусь в Россию, — проговорила каким-то обреченным голосом Светлана.

— А я туда и не собирался возвращаться, — спокойно сказал Дима и взял бутылку с водой со стола. — Подставляй руки!

— Как? — глядела на него недоуменно Света. Она застыла от удивления.

— Я брал билет в один конец. Буду просить политического убежища. Не дадут, куплю гринкарту... Подставляй руки, долго мы будем стоять такими грязнулями?

— А я? Что со мной?

— Разве ты передумала быть моей женой? — нарочно шутливо спросил Дима.

— Меня же ищут...

— Тебя ищут в Москве, в Томске, а ты где? Твой муж ни в Москву, ни в Томск пока не собирается... Давай умываться, я тебе потом расскажу, как мы будем жить...

— А что такое гринкарта?

— Слава Богу! — горько засмеялся Анохин и приобнял девушку одной рукой. — К моей грязнule разум возвращается... Это вид на жительство.

Анохин пока сам не знал, как выпутаться из нового дела, но чувствовал, что выпутаться из него можно. Тысячи людей жили в Америке на нелегальном положении. Не попадайся в полицию и живи сколько хочешь.

Они умылись, стряхнули пыль с одежды и покатали дальше. С таким настроением в Большом каньоне нечего делать. Нужно отдохнуть, поговорить, выспаться.

8

Ночевали они в Спрингдейле. В баре Анохин взял бутылку «Мартини», сэндвичи. Усадил в комнате в кресло чуточку повеселевшую девушку, заставил выпить до дна бокал вина. Он молчал, ждал, когда она сама заговорит. Времени было совсем мало. Солнце еще не село. Косо било в окно, в плотные темно-зеленые шторы.

— Как мы будем жить? На что? Где? — тихо спросила Светлана.

— У меня с собой чуть больше пятидесяти тысяч долларов. Если я получу политическое убежище, то жить мы будем неплохо, совсем неплохо. Мне предоставят бесплатное жилье, будут давать деньги на еду. А если не получу, придется добиваться гринкарты. Мне говорили, что со всеми адвокатскими расходами уйдет тысяч пять долларов. Оставшихся денег года на два, если больше не зарабатывать, на двоих, надеюсь, хватит...

— А я что буду делать?

— погоди, дойду до этого. Сначала выслушай... Я сейчас развожусь. Квартира у нас стоит, думаю, тысяч сорок — пятьдесят, дача тысяч на шестьдесят потянет. И квартиру, и дачу я, конечно, детям оставлю. Может быть, «Мерседес» продам тысяч за шесть, за семь. Потом, у меня в издательстве третья часть акций. Я уже поручил адвокату, чтобы он организовал оценку издательства, чтоб я мог взять себе эту третью часть деньгами. Сумма, думаю, будет неплохая... Кроме того, здесь я сидеть сложа руки не собираюсь. Я понимаю, что гринкарта реальнее. Как только я ее получу, то сразу же открою здесь литературное агентство. У меня тут есть знакомый, который владеет таким агентством, продает права американских авторов нашим издательствам. Он мне хвастался, что в прошлом году у него оборот был больше миллиона долларов. Значит, заработал он не менее ста тысяч. И это при том, что он не знает наши новые издательства. А я знаком со всеми директорами издательств России. Он продает права только американских авторов, а я хочу попробовать продавать по всему миру еще и права наших авторов. Художественные произведения пока не особенно-то интересуют издателей других стран, и все же даже мои романы опубликованы здесь, в Китае, в Германии, во Франции. Сейчас начали хорошо продаваться права на наши документальные книги. Их я и начну активно предлагать во все страны. Эта область рынка у нас пока никем не занята. Но для этого мне прежде нужно в совершенстве овладеть английским языком. Этим мы с тобой займемся, когда будем ждать гринкарту, готовься, будем пахать по двадцать часов в сутки, говорить между собой только по-английски. А работать мы с тобой начнем сейчас в Чикаго. Соберем каталоги всех американских издательств, будем изучать аннотации и интересные книги предлагать нашим издательствам. Ты будешь первая сотрудница моего литературного агентства. Но сначала тебя нужно будет легализовать.

— А как это сделать?

— Я разведусь, и мы поженимся. Придется расписываться где-нибудь в Мексике или в другой стране, где законы попроще... Слушай дальше. Я не собираюсь делать ставку только на литагентство. У меня уже есть несколько романов, и часть из них переведена на другие языки. Значит, мне легче будет пробиваться здесь. Доверия больше. Замыслов новых книг у меня всегда много. Буду писать, печатать их в России, как это делают некоторые авторы, которые живут в разных странах. Буду активно предлагать их переводчикам. Сейчас проще. Можно, не выходя из комнаты, рассылать по компьютерной почте тексты по всему миру. Я уверен, не пропадем, пробьемся!

— А что у тебя случилось? Почему ты все бросил?

— Я не собирался ничего и никого бросать, это меня бросили, кинули, говоря языком нашей власти, хорошо кинули!

Он начал рассказывать о «Молодом рабочем», о «Глаголе», о «Москве», о «Беседе», об Андрее Куприянове, об аварии в Тамбове, о Гале, о встрече со спецназовцем перед поездкой в Америку.

— Я не понимаю, почему именно со мной происходили эти истории, в чем мой порок? Я только защищался, когда на меня нападали, никого не трогал первым. Ненавижу драки, всегда стремился жить в согласии со всеми, любил людей, и слабых и сильных, и великих и малых, гордился каждой победой, одержанной друзьями. Мне хотелось, чтоб в моем сердце и в сердцах окружающих меня людей всегда была радость. Я старался жить честно, рвался, путался, ошибался, лишался всего, опять начинал, опять лишался и снова начинал. Я всю свою жизнь, всегда, прежде чем что-то сделать, осознанно или неосознанно спрашивал себя: прав ли я перед своей совестью и людьми? Не задену ли я кого, не обижу ли ненароком, добываясь своего места под солнцем? И уверен, никого не обижал, никого не обидел... — закончил Анохин свой рассказ этими горькими словами и умолк.

— Я совсем недавно прочитала где-то, — заговорила Светлана, — в какой-то газете современный философ размышлял, видно, о таких людях, как ты, что как только пошли у человека подобные вопросы — все, бери его, голубчика, голыми руками. Он обречен. Ни ему, ни потомству его не укрепиться на земле. И никому его не жаль... Может быть, этот философ прав. Может быть, ты нигде не смог укрепиться только потому, что задавал себе эти вопросы. И сможешь ли ты укрепиться здесь, если будешь по-прежнему задавать себе их. Здешний мир жесток. Когда сюда пришли первые европейцы, они не спрашивали себя, правы ли они перед Богом и людьми, обидят или не обидят местное население, они просто вырезали подчистую всех индейцев, чтобы не мешали добиваться места под солнцем. И спокойно укрепились.

— Грустные размышления... Я перед тобой исповедался, ты мою жизнь знаешь. Я жду твою исповедь.

— Она будет и короче, и проще, и яснее. И винить за этот ужасный поворот я могу только себя. Никого больше... Жила я, как все, ничего необычного. В Москве тоже все как у всех. Училась хорошо. Мечтала стать хорошей журналисткой. Никаких дел не сторонилась. Активной была. Мальчиков не избегала, но и не увлекалась ими. Бегала в наш студенческий ночной клуб с девчонками. Все нормально, и было бы нормально, если бы не чрезмерное любопытство и наивность. На философском у нас учился Левчик, такой энергичный толстяк, очень похожий на любителя пива из рекламы, помнишь: «Где был? Пиво пил!» Правда, тот с рекламы подобродушнее на вид, а наш — пожестче. И у нашего какие-то крутые родители, то ли нефтью торгуют, то ли еще чем. Ездил он на громадном, как сарай, джипе. Дача у него суперроскошная. Будто бы не родителей, а его личная. Бабник страшный. Ко всем девчонкам клеился. И мне проходу не давал. Легенды у нас ходили о его даче, о его богатстве, щедрости. Я недавно любопытствовать решила, опыта набраться, посмотреть, как у нас богатые живут. Много чего в головку свою глупую вбила в ответ на его слова. Я согласилась съездить к нему на чаек, — усмехнулась горько Светлана. — Но не хотела, чтоб подружки видели меня с ним. Если ничего не получится, чтоб никто не знал, что я у него была. Договорились, что он выйдет из клуба первый, отъедет метров сто, а потом я выйду и сяду к нему. Было еще рано, только что стемнело. Часов одиннадцать, не больше. Я думала, в час, в два ночи вернемся в клуб. Веселье будет в самом разгаре. Никто не заметит... Левчик показал мне свою дачу. Она действительно великолепная. Сказка!.. Потом... посидели, выпили немного... ну... после всего... я пошла в ванную, воду включила и вспомнила, что сумочку забыла свою с парфюмерией. Я хотела сразу собраться в клуб, подкраситься. Выскочила из ванной в коридор, побежала в комнату за сумочкой. У него там везде ковры, шагов не слышно. Вода шумит, он думал, что я в ванной. Слышу, он по телефону разговаривает, поняла — обо мне: у меня, говорит он,

телка классная, приезжайте быстренько, развлечемся. Конечно, он не так говорил, а прямо, матом. Сколько вас будет, спрашивает, все пятеро?.. Я не знаю, что они ему говорили. А Левчик засмеялся в ответ, говорит, опять матом, мол, не бойтесь, неделю в подвале подержим, поразвлечемся, надоеет, голову свернем, как Юльке Лазаревой, да зароем. Участок большой... Месяц назад Юлька Лазарева с филологического исчезла, пошла в ночной клуб и пропала. Найти не могут... Я как услышала это, затряслась от страха. Потихонечку, на цыпочках — в ванную, заперлась, воду не выключила, а сама быстрее одеваться. Ванная у него — целая комната, вся в белом мраморе, в зеркалах с медными рамами. Маленькое окошко высоко, под потолком. Я тумбочку пододвинула, открыла окно. Слышу, он в дверь стучится, нежным голоском просит открыть. — Анохин почувствовал, что Светлана, рассказывая, начала дрожать. — Я заторопилась: окно узкое, высокое. Подтянулась, сунула в него голову, а сама ногами по стене ерзая, опереться хочу. Стены скользкие... Тогда я ногой на полку наступила, она сбоку висела, на ней разная ерунда стояла и подсвечник медный. Полка не выдержала, сорвалась. Загреломо все по полу... Он услышал, рванул дверь. А я уж наполовину в окно вылезла. Он схватил меня за ноги, выдернул из окна. Я полетела на пол, под руку мне подсвечник попал. Я каким-то чудом вывернулась у него из рук, вскочила и, не помня себя, врезала подсвечником ему по голове. Он как-то обмяк и упал набок. Головой — прямо об угол ванной. Я кинулась мимо него в комнату, схватила сумочку и на улицу бегом. На шоссе поймала левака. Дача у него рядом с Москвой. Я догадалась, что надо ехать в наш клуб, чтоб никто не понял, где я была. Приехала, выпила в баре, успокоилась немного. Домой вместе с Ксюшей пришли. Ночь не спала, дрожала. Утром ждала милицию, думала, придут сразу и возьмут. Днем к нам в комнату девчонки заглянули. Томка замуж собиралась, квартиру себе подыскивала. Пришла с газетой объявлений «Из рук в руки». Мы все вместе стали адреса подходящих для нее квартир подыскивать, потом стали смешные объявления читать, смеяться. Ксюша прочитала твое. Мы хохотали, советовали друг другу прокатиться с «крутым» дядечкой по Америке на дармовщинку. У меня все время стояло в голове, что нужно непременно куда-нибудь скрыться, пока не всплыло дело с Левчиком. Я взяла у Ксюши эту страницу газеты и зазубрила твой телефон, а к вечеру позвонила из библиотеки. Я боялась тебя ужасно, думала, если подкатит какой-нибудь такой, как Левчик, я не признаюсь, что ты Лиза, пройду мимо. Но ты подбегал какой-то домашний, печальный, и я решила: ладно, поговорю с ним, посмотрю! А когда ты меня привез в ЦДЛ, кстати, я была раньше в нем дважды, и с тобой там стали все почтительно здороваться, я сразу поняла, какой ты компьютерщик, поняла, что ты одинокий страшно. Но ехать в Америку я еще не решила, все надеялась, что Левчик объявится в ночном клубе. После встречи с тобой я сразу помчалась туда. Его там не было. Никто о нем ничего не слышал. И в ночь перед отъездом я в ночной клуб торопилась. Если бы услышала, что он жив-здоров или в больнице лежит, я бы тебе вернула деньги за билет и не полетела бы с тобой, хотя ты мне очень понравился в тот вечер, когда мы были в пестром зале ЦДЛ. Я было подумывать начала, не полететь ли мне с тобой, даже если с Левчиком все в порядке... Ну вот, теперь ты все знаешь... Отсюда я звонила девчонкам. Они говорили, что Левчик пропал, что их допрашивают, что милиция взяла мои духи и крем. Я сразу догадалась, что взяли их, чтобы снять отпечатки моих пальцев. Ведь я пила с Левчиком. На бокале осталась куча моих отпечатков. Понятно, что они давно вычислили, кто убил Левчика, — вздохнула Светлана.

— Что же ты так боялась милиции, ведь ты защищалась? — спросил Дима.

— А как бы я это доказала? Кто бы мне поверил? У него такие родители, он единственный сынок. Они кого хочешь в порошок бы стерли. А кто я для них — муха! Прихлопнули бы и не заметили!

— Это так! Впрочем, у меня сейчас мелькнула интересная мысль, — задумчиво произнес Анохин и заговорил решительно, уверенно: — Лазарева пропала, значит, месяца два назад. Ее сейчас по-прежнему ищут. Если я поручу своему адвокату узнать телефон ее родителей и факс следователя, то можно отсюда по-

звонить родителям и сказать, кто ее убил и где искать труп, а одновременно дать факс следователю с этими же сведениями. Родители несчастной девочки, я думаю, не дадут следователю замять эти факты, заставят порыться на даче Левчика. И как только найдут Лазареву, ты можешь написать в прокуратуру, что произошло между тобой и Левчиком. Сама ты являться туда не будешь, пока мой адвокат не убедится, что тебе можно прилететь без опаски. Таким образом, я уверен, ты снимешь с себя все обвинения...

— Правда? — быстро повернулась к нему Светлана, привстала на локтях. Глаза ее блестели. — Это правда?

— Я ничуть не сомневаюсь в этом. Пока мой адвокат не почувствует, что ты в полной безопасности, я тебя отсюда не отпускаю.

Большой каньон был неподалеку от Спрингдейла. Добрались до него быстро. Светлана все утро была молчалива, но легка, светла, нежна, чувствовала себя так, словно только что выздоровела после тяжелой болезни. Ластилась ласково к Диме за завтраком. В машине положила голову ему на плечо. Молчала всю дорогу. Лишь однажды прошептала как будто сама себе:

— Господи, как мне хорошо с тобой! Не разочаруй меня!

— Это теперь главная цель в моей жизни, — серьезно ответил он. — Все остальное рухнуло. Все мои книги теперь будут посвящены тебе, все мои дела только для тебя. Больше у меня ничего нет.

Большой каньон не вызвал в ней того восторга, который она испытывала в Королевском каньоне. Светлана стояла на краю, держалась за железные поручни, глядела в синеватую даль, в бескрайнюю глубь ущелья, где далеко внизу проглядывалась, светлела полоска реки Колорадо. Она-то и прорезала самое глубокое ущелье в мире. С этой стороны, где они были, рос реденький лесок, а на противоположной — голая равнина.

Когда они поехали дальше по краю Большого каньона, Светлана спросила:

— Можно, я позвоню маме?

— Телефон в барсетке, — ответил Дима. Настроение у него сегодня тоже было спокойное, хотелось быть бережным со Светой. И он неторопливо, осторожно вел машину по извилистой прекрасной дороге, которая то углублялась в лесок, то вновь выходила на берег Большого каньона.

Светлана вытащила телефон, набрала номер.

— Мамочка, приветик! Как ты, как папа?

— Доченька, здравствуй! У нас-то все хорошо, слава Богу. У тебя-то как? Сердце за тебя разрывается! Почему к тебе так милиция прицепилась? Что ты натворила? Меня опять терзали: где ты? Подай им дочь! Словно я тебя в шкафу прячу. Что произошло?

— Мам, ты кому веришь? Мне или нашей придурочной милиции? Я тебе говорила, что один наш однокурсник попался на наркотиках. Я ничего не знаю: то ли он их продавал, то ли покупал.

— А при чем ты?

— У меня с ним никогда никаких отношений не было. Всех его знакомых теперь таскают на допрос, выясняют. Кого нет в Москве — ищут.

— И ты бы к ним пришла, ответила на вопросы.

— Ну да, буду я из-за них свадебное путешествие прерывать! Мы с Димой все лето будем путешествовать, все три месяца. До сентября. Сейчас мы уже не в Киеве, а во Львове, потом поедem в Прагу, в Вену. Я тебе буду изредка позванивать, я хочу, чтобы ты была счастлива вместе со мной. Мама, поверь, я так счастлива! Я не представляла, что можно быть такой счастливой. Я в него все больше влюбляюсь и влюбляюсь.

— Кто он? Скажи хоть в двух словах.

— У нас дома его книги есть. Ты их читала. Они тебе нравились. Это — Дмитрий Анохин! Я так счастлива, что... — Светлана вдруг услышала в трубке какой-то странный хрип, словно мать стал кто-то душить. Она запнулась и закричала тревожно: — Алло, мам! Ты меня слышишь?

— Он рядом? — еле расслышала Света голос матери.— Спроси у него... ой... Знал ли он Женечку Харитонову? И кто она ему?

Света отставила трубку, обернулась к Анохину, который с тихой улыбкой слушал ее разговор с матерью, и спросила с тревогой в голосе:

— Ты знал Женечку Харитонову? Кто она тебе?

— Это моя первая жена. Это было лет двадцать назад, в Тамбове,— быстро ответил Дима и всполошился: — А что такое?

— Мам, он говорит, что Женечка — его первая жена! — крикнула, начиная дрожать, Светлана. Мать звали Евгенией Александровной, и родители ее были из Тамбова.

— Он твой отец! — жалобно и страшно прозвучал в трубке голос матери.— Папа тебя удочерил малюткой. Мы скрыли от тебя...

Светлана медленно выпустила трубку из рук и прошептала белыми, мертвыми губами:

— Женечка — моя мама! У вас... была... дочь? — Слабая надежда еле теплилась в ее помутневших глазах, надежда на то, что Дима ответит от нее и эту неожиданную ужасную беду.

Анохин увидел в детской коляске маленькую головку в белых кружевах и прошептал помертвевшими губами:

— Была... Света... — Вдруг из него вырвался дикий вопль: — Светик!

— Я не хочу жить! — вскрикнула тонко девушка и рванулась из машины, пытаясь на скорости выскочить из нее, но ремень безопасности не пустил ее. Она забилась, затрепетала на сиденье, как упавшая на землю птица, сбитая на лету выстрелом.

Огромная каменная лавина с ревом рухнула на голову Анохина, оглушила его, раздавила, расплющила, закрутила и понесла вниз в каменном грохочущем потоке. Дмитрий увидел справа, в десяти метрах от дороги, за зелеными стволами елей, край обрыва Большого каньона. Он резко крутанул руль в ту сторону, запеллял меж деревьев и нырнул в пропасть.

Водитель автомобиля, ехавший следом, растерялся, увидев, как идущий впереди новенький кабриолет с мужчиной и женщиной вдруг свернул в лес, быстро объехал одно, другое дерево и исчез. Водитель с ужасом в глазах испуганно затормозил, остановился, выскочил из машины и побежал к обрыву.

Пропасть была так глубока, что на краю ее было страшно стоять. И там, далеко внизу, на камнях, полыхала машина. Черный дым поднимался отвесно вверх. Было тихо, ни ветерка.



A c h i I t a l i a ?

РАССКАЗ

Это повествование тяжело тем, что дневник начинает отдавать литературой. История с ним похожа на историю с работницей тульского самоварного завода, которую провозжают на пенсию. Ей дарят самовар.

— Ох, спасибо,— говорит она со сцены.— А то, грешным делом, вынесу с завода деталей, соберу дома — то автомат получится, то пулемет.

Так и я, задумав письмо или дневник, решив написать любое слово на бумаге, получаю нечто иное.

Сейчас я буду рассказывать об итальянцах.

Видел я итальянцев, собственно, даже не итальянцев, а католиков, что собрали вокруг себя итальянские миссионеры. Видел я их зимой в пансионатах и летом — в таких же пансионатах. Итальянцев было мало, впрочем, были бельгийцы, американцы, перуанка и несколько настоящих африканских негров. А, надо сказать, что настоящих африканцев я люблю. Не тех, что развращены войной, а этих — простых и понятных нам.

И были там твердые в вере монахи, бегала взад-вперед визгливая польская женщина. На родине она жила в каком-то маленьком городе на совершенно польской реке Нил. Эта женщина звала всех к себе в гости, но я не знал ни одного человека, который посетил бы берега польского Нила. Как, кстати, не знал ни одного человека, который бы получил от нее обратно данные в долг деньги. Я, кажется, был единственным не пострадавшим. Видимо, оттого, что денег не давал.

Она подставляла под удар, перепродавала слова и обещания множества людей. Эта стремительная комбинация перепродаж и подставок не нова, о ней не стоило бы говорить. Говорить стоит о другой, действительно уникальной черте этой женщины.

Полька говорила со скоростью печатного парадного шага — 120 слов в минуту. Ее речь — с интонацией швейной машинки, с плавающими ударениями интернационального происхождения — вот что действительно встретишь редко.

Появлялась там и другая, но — итальянская женщина с русским мужем. Человек этот был с легким налетом бандитской уверенности в жизни.

Остальные представляли все республики бывшего СССР.

Начальник и основоположник этого дела отец Лука был священником, единственным настоящим священником среди руководителей общины.

В России он жил давно и распространял тогда «Посев» и «Грани». Названия парные, как близнецы-братья, без особого значения для современного уха. Собирал он стихи каких-то католических диссидентов.

Потом к нему на московские собрания начали ходить разные люди. Как мудрый пастырь, Лука собирал вокруг себя людей не фанатично религиозных, а просто интересных. Разница в покупательной стоимости рубля и доллара была тогда разительной. Лука мог кормить своих заблудших и блудящих овец, среди которых оказались даже удивленные жизнью сатанисты.

Собрания превращались в камлания. В них, как в поданных к столу обычных пельменях, щедро политых уксусом, главной приправой была эссенция по-

* Рассказ из книги «Свидетель», готовящейся к печати в издательстве «Лимбус Пресс».

пулизма. Что было общей чертой всей миссионерской деятельности того времени. И это, надо сказать, приносило успех. Община разрасталась, проповеди удавались, количество новообращенных росло. Внутри общины, и это понятно, рождались дети. Их тоже крестили, и дело шло.

Атеисты и язычники превращались в прозелитов, оставаясь при этом язычниками и атеистами. Чем-то это напоминало поведение иезуитов в знаменитом романе Гюисманса, что позволяли главному герою «заниматься любимыми предметами и не учить нелюбимые, ибо не желали, подражая мелочности светских учителей, оттолкнуть от себя придирами сильный независимый ум».

Люди, которых я знал, крестились странно. Был, например, один примечательный человек, которого среди друзей звали «Жид Васька». Это было необходимо и принято им самим. Раньше он играл в джазе. Теперь, в свободное от математики время, Жид Васька путешествовал по гостям, временами попадая на собрания общины.

Жид Васька принял католичество. Друзья подступили к нему и спросили: «Зачем?» Он ответил вполне логично:

— Мне как-то было все равно, а отцу Луке приятно.

Еще нетвердо владея русским языком, на каком-то камлании, происходившем на природе, отец Лука громко возгласил: «Все вы тут мои овцы в натуре».

Впрочем, давным-давно в общине появилась некая поверяющая. Потом ее снова послали в Россию для укрепления порядка — сменить Луку в руководстве общиной. Что страшнее — кроме руководства ей отдали общинную мошну.

Люди интересные заместились уныло-религиозными. Община начала хиреть. Вскоре руководство опомнилось, и все вернулось на свои места. Однако рубль на время перестал плясать с долларом вприсядку. Свальная радость религиозных обращений сменилась иными модами.

Интересные люди тем и были интересны, что жизнь их была наполнена интересными делами. Они разбрелись, держа в руках фотоаппараты и блокноты, банковские документы и, иногда, оружие. Они вошли в чужие города, пересели с городского транспорта на собственные автомобили. Кормить их уже было не нужно. Они кормили себя и свои семьи сами.

Я встречал их в этой иной жизни. Они были разными, но масонская печать католической общины лежала на их лицах.

В компании было нас несколько — Лодочник, Жид Васька, Пусик, Хомяк и я.

Про эту компанию есть случайная и мешающая сюжету история. Была еще среди знакомых этих людей Девушка Маша.

Она пела с Жидом Васькой в джазе. И это была отчасти восточная женщина с музыкально-филологическим образованием.

Однажды Девушка Маша попала на вечер к Главному Скульптору Москвы. Девушку Машу посадили между хозяином и неким человеком, в котором по речениям она опознает знатного Московведа и пресс-секретаря хозяина. Вот Главный Скульптор Москвы произносит тост, а Девушка Маша катает свой бокал по столу, потому что пресс-секретарь налил себе в стакан водки и успокоился.

— Что это ты, Лева, за девушкой так плохо ухаживаешь, — спрашивает Главный Скульптор Москвы. А Московвед, дурачок, отвечает:

— А она не в моем вкусе.

— Пачему?

Грузинский акцент прилагался.

— Я люблю блондинок, и к тому же худеньких.

А Девушка Маша — лунолика женщина в теле, и цвет волос у нее вполне грузинский. Но к тому же женщина она своеобразная — можно, конечно, сказать ей слово поперек. Но есть при этом опасность, что она прокусит тебе горло, и только голова свалится за спину.

— Да и вы не в моем вкусе, — замечает она несчастному Московведу.

— Это еще почему? — говорит он заинтересованно.

— Я предпочитаю мужчин.

Несколько лет назад человек Лодочник повез девушку Девушку Машу к себе на дачу. Повез и повез. К ночи выяснилось, что кровать одна.

— Э-э, нет,— говорит Девушка Маша,— тогда я не буду спать всю ночь, а буду сидеть здесь, на веранде.

И вот из запасников извлекли пыльную и скрипучую раскладушку, и наутро Лодочник с каменным лицом отвез девушку обратно в Москву.

Несколько лет спустя Девушка Маша шла с Васькой и Хомяком из католической миссии, проводя время в богоугодных беседах. Наконец Хомяк произнес:

— Вот ты, Девушка Маша, хорошая баба. А то, знаешь, какие бывают... Вот Лодочник-то, снял одну, повез на дачу. На бензин потратился. Под гитару пел. А она... Одно слово — сука.

Девушка Маша после недолгих раздумий сказала печально:

— Знаешь, это была я.

Последовала тягучая немая сцена.

Но вернемся к Луке.

Теперь у Луки был приход в одном областном центре, была церковь, которую посещало множество негров, что учились в этом городе. Интернациональный это был приход, многоцветный и странный на белом русском снегу.

В Москве же община собиралась в маленькой однокомнатной квартире, снятой где-то на Бауманской. Там на белом пространстве стен висели застекленные календари — обрезки фресок Джотто.

Лампочка без абажура зеркалила в этих стеклах.

Мерно бился, стучал где-то под потолком электросчетчик.

Или они собирались в другом месте, в большом зале Дворца пионеров. Зал был похож на огромную салатницу — блекло-зеленым цветом стен и стеклами множества окон, играющих на солнце.

Над столом витал унылый призраком коммунизма — вернее, кружка по изучению марксизма-ленинизма. Обсуждалось прохождение через игольные уши, говорили о недостаточности этики в христианстве — и все по не очень хорошему переводу не очень внятной книги. Сочинитель родился в год марша Муссолини на Рим. Он родился в Децио, а потом преподавал в Венечано. Речь, правда, идет не только о нем. Речь идет о песнях, перемещении и музыке слов.

Говорили сидящие за столом «надо любить Христа», а выходило «надо любить креста». Были в этом странные озвучки и ослышки.

Но угрюмый и скорбный путь православия жил внутри меня.

— Ах,— хотелось сказать,— ах, русская земля, и все это происходит на тебе, все это ты принимаешь. Не за шеломянем ли ты еси?

Община пела. Пела по-итальянски, весело так пела.

Пели в зале санатория. От этих песен пахло морем и беззаботным запахом жареной кукурузы.

Песни эти были — клятва на верность общине. Совместным пением — вот чем я проверял бы лояльность.

Пение напоминало настоящую Италию, но не северную, а южную.

Не Альпы, не снег в горах, не черные на этом снегу силуэты монастырей, не безымянную розу, а именно море и запах подгоревшего при готовке масла.

Итак, Южная Италия. Нетвердая водочная речь итальянцев наслаивалась на гитарный перебор, и песни неслись мимо абстрактной мозаики, над фальшивым мрамором пола.

В них была память о Федоре Полетаеве и Красных бригадах, настоящих Красных бригадах, которые были полны надежды на победу и Сталинград. Как-то давным-давно, на чужой земле, я слушал «Чао, белла, чао», зная, что имеется в виду именно «прощай, красotka, а если я паду в бою, возьми мою винтовку»... И была в этой песне наивность веры в настоящий Сталинград и придуманную Красную Армию, и в то, что вот еще потерпеть, и будет всем хорошо. Хотя пели все это нестройно люди простые, граждане, наоборот, Северной Италии. С католицизмом у них отношения были более сложные, сложнее, чем мои отно-

шения с итальянским языком. Однако мы сходились в методах использования этилового спирта и надеждах на братство и интернационализм.

Интернационализм проникал повсюду. Особенно это было заметно в шуршащем и хрипящем эфире, звучание которого я любил с детства. Этот электромагнитный шорох был особенно заметен в чужом, далеком месте.

Я всегда предпочитал приемник магнитофону. В недавнем, или уже давнем, прошлом телепрограммы оканчивались в половине двенадцатого ночи, а в полночь, вместе с гимном, умирало радио.

Тогда я уже жил один, и мне казалось, что в этой ночи я отрезан от мира.

Содержимое магнитной пленки было предсказуемо, и только радио могло меня спасти.

Я уповал на приемник, который в хрипах и дребезге коротковолнового диапазона рождает голос и музыку. Тогда одиночество исчезало. Тонкая выдвигаемая антенна связывала меня со всеми живущими.

В приемнике что-то булькало и улюлюкало, но я знал, что эти звуки будут жить всю ночь, будут продолжаться и продолжаться, и не угадать, что начнется за этим шумом и речью, а что последует еще дальше.

Непредсказуемость и вечность ночного эфира внушала надежду, и приемник звенел в углу единственным собеседником.

Голос и одиночество несовместимы — вот в чем прелесть этой ситуации.

В чужих городах самое хорошее время — позднее утро. Запах высыхающей на траве росы. Время, когда жители разошлись по делам; поют пернатые, за кустом виднеется что-то хвойное, а там, дальше, в соседнем дворе — облако цветущей вишни.

Я сидел и слушал радио — средние волны были оккупированы французами, длинные — немцами, на коротких царил заунывное пение муэдзина.

Иные диапазоны мне были недоступны.

Включение и выключение света, работа кипятильника, его включение и выключение — все отзывалось в моем приемнике, кроме голоса с Родины. Однажды русский голос в приемнике, как бы в наказание за то, что первый раз, прокручивая ручку настройки, я им побрезговал — исчез, пропал, превратился в шорох и шелест.

Забормотал какой-то другой радиочеловек, которому, казалось, накинули платок на рот. Забормотал, забился он под своим платком — видно, последние минуты подошли, и надо сказать главное, сокровенное — но ничего непонятно, уже и его миновала полоса настройки, отделяющая большее от меньшего, будущее от прошедшего.

Волна менялась, плыла. Цензурированное уходящей волной сообщение приобретало особый смысл.

И совсем в другое время в той чужой стране я поймал по какому-то (кажется, именно итальянскому) радио эту же коммунистическую песню. А песня была не какая-то, какая-то она была лишь в первое мгновение, потому что дальше все было понятно, несмотря на чужой язык. «Чао, белла, чао...»

И опять был в этой песне отсвет великой идеи, и все это мешалось с червонными маками у Монте-Кассино да песнями Варшавского гетто, русской «Катюшей» да медленно разворачивающимся «Эх, дороги, пыль да туман...» — всем тем, с чем люди жили и помирали, когда и где было назначено свыше — просто и с болью.

Не героически, в общем.

Есть у Хемингуэя такой рассказ, вернее — очерк: едут два приятеля по Италии, останавливаются перекусить в придорожных ресторанах, где к ним подсаживаются немного испуганные проститутки. Испуганы они оттого, что Муссолини борется за нравственность и запретил публичные дома.

Это фашистская Италия, в которой жизнь только начинает меняться — трафаретные портреты дуче сопровождают приятелей по дороге, и с лозунгов «Vivas!» стекает не кровь — масляная краска.

Нам эта страна неизвестна. В записных книжках Ильфа приводится такой диалог:

— Что у нас, товарищи, сегодня в Италии? В Италии у нас фашизм.

— Нет, товарищ лектор, у нас фашизма нет. Фашизм — в Италии!

Ильф иронизирует над казенным языком политпросвета. Но диалог отдает мистикой. В нем есть много для размышления. История фашизма в стране, которая, надесяживаясь, затыкала лучшими своими детьми амбразуры, история фашизма в стране, которая заплатила самой дорогой ценой за уничтожение фашизма, история его в ней неизвестна.

Клио в этой стране редко приглашается к столу. Она нелюбима.

Мы знаем об Италии того времени по Висконти и Феллини, по смешному топоту фашистов, бегущих по пыльной площади маленького городка.

Да еще имя — Бенито Муссолини. Есть редкие известные всему человечеству личности, которые характерны тем, что человечество отмечает лишь даты их смерти. Есть, конечно, некоторое количество последователей, исключенных из признанного круга, которые помнят, например, что Гитлер родился в 1889-м, а Муссолини — в 1883-м.

Дата смерти одна — сорок пятый. Это не дата смерти фашизма.

Итальянский фашизм принято считать опереточным. Рассказывают, например, такой анекдот. Незадолго до начала политической деятельности безработному тогда Муссолини предложили завербоваться на работу в Южную Америку. Он сказал, что посоветуется с Судьбой, и кинул монетку. Та выпала иначе. Результат известен.

Гадать о случайности здесь — все равно что воображать карту Европы в том случае, если бы Гитлера убили во время Пивного путча.

В 1919-м Муссолини создал военизированные отряды — потом немецкие СА были похожи на них. В 1922-м он предпринял поход на Рим и захватил власть. С двадцать второго по сорок третий он был диктатором Италии. В каком-то смысле он был первым политическим деятелем, попробовавшим фашистскую идею на практике. Да и термин-то родился на Апеннинях. Мы привыкли называть фашистами немцев — хотя суть близка.

И вот, как всякий диктатор, он написал свое сочинение — не в пример тоньше «Майн Кампф», — которое так и называлось: «Доктрина фашизма».

Есть такая история: в 1934 году, после убийства Дольфуса и попытки нацистского путча, Италия двинула свои войска к границе, и Германия была вынуждена отступить.

Аншлюс был отложен на четыре года. Неправомочен вопрос — кто из этих врагов-партнеров был лучше. Оба режима — хуже.

Но — по-разному.

Итальянец, закоченевший в русском снегу на Северном Дону в последних месяцах 1942 года, вызывал даже некоторое сочувствие. Ты-то куда, брат? Зачем?

Федор Полетаев, Красные бригады, Тольятти... Но речь идет не только о Муссолини и политической истории, но и об итальянской культуре. Показательно то, что среди писателей, принявших нацизм, несколько напрягая память, можно назвать лишь Готфрида Бенна. Впрочем, нацизм Бенна, как и жизнь, скажем, Хайдеггера при Гитлере, давно не острый вопрос. Бенн уже в 1935-м был устранен с поста заместителя председателя Союза национальных писателей и вновь стал врачом. Имен, которые связаны с итальянским фашизмом, гораздо больше: от Томмазо Маринетти и Габриеля д'Аннунцио, о котором один из покатеченных героев Хемингуэя говорит: «Писатель, поэт, национальный герой, фашистский фразер и полемист, эгоист и певец смерти, авиатор, полководец, участник первой атаки торпедных катеров, подполковник пехотных войск, толком не умевший командовать ротой и даже взводом, большой, прекрасный писатель, которого мы почитаем, автор «Notturmo» и хлюст»; итак, от д'Аннунцио до американца Эзры Паунда.

Режим был почти вегетарианским. За два года до смерти, в 1934 году, получил Нобелевскую премию живший в Риме великий сицилиец Пиранделло. Остался жив Чезаре Павезе. Культура страны, несмотря на фашистское управление, сохранилась.

Вернемся к Хемингуэю. Я так часто цитирую его не потому, что из его книг несколько поколений советских людей составили себе представление о том, как происходит жизнь на Западе, хотя и поэтому тоже. Я цитирую его потому, что он любит землю к югу от Альпийских гор.

Вернемся к его рассказу: фашист на велосипеде штрафует путешественников, манипулирует квитанциями, хочет нажиться на своей фашистской должности. Он чем-то более симпатичен, чем пунктуальный немецкий шуцман. Может, тем, что он не был охранником в Освенциме.

«Chi ti dice la patria?» — «Что говорит тебе родина?», так называется этот рассказ.

В октябре 1943-го она сказала «да» Гарибальдийским бригадам. Она сказала «да» движению Сопротивления, и на вопрос «A chi Italia?» — «Кому принадлежит Италия?», на тот вопрос, на который маленький фашист с плакатов гордо отвечал «Нам!», теперь могли отвечать только победившие.

Диктатура — именно диктатура — Муссолини пала 25 июля 1943 года, и хотя Муссолини еще был главой государства, главой Итальянской социальной республики, расстреливал партизан и заговорщиков (в том числе собственного зятя) — но это уже была агония.

Наконец, пятьдесят лет назад, 28 апреля он был казнен — единственный казненный европейский диктатор, за исключением, может быть, Чаушеку.

Он был не первым учеником. А пока жил во мне рассказ Хемингуэя: два человека путешествуют по Италии, представляются немцами — это почти знамение, но войны еще нет, Муссолини вытаращенными глазами смотрит со стен домов.

Идет 1927 год.

Много лет спустя, когда век уже готовился ринуться с раската, 19 апреля невнятного года, в годовщину восстания в Варшавском гетто, я слушал другие песни. Девочка пела на идиш — об этом. Она не говорила ни на одном из языков, что были известны мне, а я не говорил на ее языках.

Кругом пустой комнаты в пригороде текла интернациональная ночь, подушки были смяты и горьки небогатые французские сигареты.

«Не говори, что ты идешь в последний путь» — вот какие были слова в этой песне еврейских партизан. А положены они были на мелодию братьев Покрасс. И песни Варшавского гетто текли вместе с ночью к утру.

Горели глаза девушки, и песня длилась — общинная, обобщающая, обобществляющая идею и чувства.

А проповеднические религиозные песни я не любил, и вот, также вдалеке от Родины, нашел, вращая ручку приемника, загадочное «Трансмировое радио». Что в нем было «транс» — оставалось загадкой. Оно, по сути, было вне религии, вне протестантства и католичества. Не знаю, кто его финансировал, но, несмотря на псалмы, жившие во множестве на радиоволне, идея воплотилась в нем вполне атеистическая.

Но все эти безнадежно сопливые песенки о Боге тоже находили своего слушателя. Песенки в стилистике ВИА — «Все грехи смывая, обнажая сердца...».

Диктор внятно и четко произносил: «И вот ангелы полетели в обратный беспосадочный путь». И на той же волне вдруг, после слов «и вот обеспечил его дочь», заиграла веселая музыка. Нет, даже не музыка, а музыка с похабными словами:

Мне радостно, светло,
Все удалилось зло.
Все это потому,
Что я служу Христу.

Все это пелось на мотив Жанны Бичевской, а потом сменялось таким же песнопением «Тобой спасенный я...».

А теперь разглядывал я религиозный песенник, где была «Alma Redemptoris Mater» и «Над Канадой, над Канадой», «Священный Байкал» и «Смуглянка», «Michelle» и «Ой, полным-полна моя коробушка», «Guantanamo» и «Он твой доб-

рый Иисус», «По Дону гуляет...» и «Ніч яка місячна». Была даже итальянская песня, совершенно нерелигиозная, с первой строкой «Я искал всю ночь ее в барах».

Было в этом сборнике все — то есть нечистота стиля, а может, его отсутствие. Чем-то он напоминал мне старую коллекцию магнитных пленок — шуршащее собрание звуков.

Я разбираю пленки перед отъездом на это католическое собрание, успеваю в последний раз прослушать.

Сначала была выброшена давно умершая начинка знаменитой «Яузы». Короб, сделанный из фанеры, я оставил. В нем была основательность давно утраченного времени.

Пригодится.

Этот покойный магнитофон на прощание подмигивал зеленым лампочным глазом, урчал, орал, но службы не нес. Постигла его участь всех дохлых пушных зверей.

Комната освещалась уже другим магнитофоном — «Нота-404», купленным мной на первую зарплату токаря на заводе «Знамя труда».

Зарплата была 41 рубль 03 копейки. Цифры эти утеряли значимость, точно-точно как звуки слов «Посев» и «Грани».

Потрескивала красная пленка, рвалась безжалостно.

Были и вовсе технические бобины, их нужно было приворачивать к промышленному магнитофону неизвестной мне конструкции какими-то болтами.

Плывущий звук их был — на скорости девять сантиметров в секунду или девятнадцать тех же сантиметров.

Со старых пленок звучала мелодия прогноза погоды. То ли Визбор, то ли Мориа. Неизвестный голос. Чужой вкус, чужая подборка — никогда не узнать, кем сделанная.

И снова чужой голос, произносящий: «Для политичного життя в Радяньском Союзе... Инкриминировав... Андрей Амальрик, заговорив...»

Затем шли позывные «Немецкой волны»...

Все это чередовалось с записями, сделанными с радио, судя по акценту — американского. На умирающей пленке остались все повороты ручки настройки. Бит. Хит-парад 1961 года. А вот — битлы.

Никто этого больше не услышит.

Пленка осыпалась, на поверхности магнитофона лежала кучками магнитная труха — все, что осталось от звуков. Основа была хрупкой — пленка рвалась непрочитанными кусками.

— Раз-раз-раз... — кто-то пробовал микрофон, и это были домашние записи. Может, это был голос моей матери. А может, отца.

— Гля-ядите-ка, Удильщик... — говорил КОАПП, записанный с радиоволны, прототип будущих телепередач. Длилась на пленке история Комитета охраны авторских прав природы, передача ныне прочно забытая. Бременские музыканты, Высоцкий, непонятные прибалтийские *одесситы*. Фортепианный раскат Шуберта.

И опять — безвестные подражатели битлов. «California», что надо писать транскрипцией — [kalifo:ни-иа]... И ничего этого больше не будет.

Это были звуки радио, электромагнитная волна, сохраненная магнитным слоем, что, шурша, покидал хрусткую пленку.

Отзвук, звук, треск ее, рвущейся и безголовым диплодоком проползающей между валиков и катушек, длился.

Но лейтмотивом моего повествования стала история о католиках, и пение в ней — лишь вставной эпизод.

Впрочем, это движение музыки есть движение человека в пространстве, движение времен мимо окон и дверей.

Голос католических миссионеров возвращал меня к реальности.

— Шестдесят вторая! — восклицал монах.

Это была страница в песеннике, которую нужно было открыть, чтобы не знающие текста могли петь хором.

— Чтобы хорошо петь, нужно замолчать,— сказал, нечаянно проговорившись, погруженный в свои мысли мой сосед-богослов.

В этой фразе было нечто от китайской мудрости, вроде рассуждения о хлопке одной ладонью. Европейец бы сказал: «сперва замолчать». Была в моей жизни намертво запомнившаяся история про хлопок одной ладонью. Рассказывал ее, кажется, Джилас. После второй мировой войны в Югославии, как и во многих похожих странах, были часты парады.

Даты были общими, весенние — первого мая, осенние — седьмого ноября. Одна дата была различной — день освобождения, независимости или первого шага в социализм. И вот в день парада инвалидов сажали на трибунах рядом, и однорукие аплодировали шествию. Они хлопали своей единственной ладонью о единственную ладонь соседа.

— И хрен вам, вот она, правда,— шептал я в пустое пространство перед собой.— Хрен вам,— говорил я неизвестно кому, отрицая неизвестно что, и слезы закипали у меня в глазах от таких мыслей.

Но вернемся к итальянцам.

Немаловажно, что это была итальянская община, и именно с гитарой.

Нравы были вольные. Пили много, но однажды в ночном коридоре один итальянец дал пощечину пьяной русской девчонке. Разозлила его нетвердая девичья походка.

— Putassa! — кричал он вдогон.

Возмущен был итальянец, а зря. Нечего было возмущаться. Житейское было дело. Прихожане всегда грешны. Сам-то он понимал толк в жизни, несмотря на то, что был монах и ложился рано — видимо, в соответствии со своим монашеским уставом.

Одна барышня, пришедшая к нам в гости, говорила:

— А-а, это к вам Карина заходила? Интересно, спит ли она сегодня с итальянцем, потому что если нет — это хорошо, а если да — плохо. Дело в том, что итальянец живет точно над вами, и если они вместе, то она лежит рядом и переводит ему все наши разговоры. Слышимость, знаете ли...

Наша гостья была, надо сказать, девушкой необычной, знавшей латынь и несколько лет учившейся в тех местах, о которых так много писал Карамзин в своих письмах.

Жила она в Москве в какой-то католической церкви и однажды звонила мне оттуда, разглядывая во время разговора алтарь и скорбно заломленные руки статуй. По католическому телефону слышно было плохо, хотя разговоры были вполне богоугодные.

А после общинного пения я гулял по тропинке вместе с богословом. Я спокойно беседовал с ним, отстраненным и тихим.

— Владимир Александрович,— предлагал я.— А не провести ли нам время в богоугодных беседах?

Мы говорили о Евхаристии, совершаемой инославным священником, и постановлении Синода от 16 декабря 1969 года.

Еще я рассказывал ему про то, как мне недостает четких формул марксизма, его понятного и вместе с тем мистического языка.

Думал я при этом о старости, это был образ поэтический, не страшный.

Думал о том, как я все забыл — все языки и названия.

Звуки чужой речи снова превратились в шарады. Французские склонения путались с немецкими. Стучало по ним английское интернациональное слово. Это был невнятный шорох языка, похожий на шорох эфира. Хрип иноземных дикторов, отъединенных от слушателя бесконечными воздушными путями.

А сидя в зимнем пансионате и ожидая возвращения моих приятелей, я читал Карамзина. Русский путешественник двигался в западном направлении, а я примерял на себя его судьбу. В западном направлении я уже перемещался, раньше, в прежней жизни, двигался на восток, а теперь приглядывался к южной стороне.

Лотман писал в предисловии: «Древнерусское путешествие было или паломничеством, или антипаломничеством, т. е. конечной его целью могло

быть «святое» или «грешное» место. Пространство обладало присущим ему признаком святости или греха. Быть «никаким» оно не могло. Соответственно движение путешественника, с одной стороны, обусловлено было его внутренней сущностью (грешник не мог отправляться в святые места), а с другой — усиливало в нем интенсивность того или иного свойства. Если человек по достоинству своему сподобился посетить святые места, то там он приобщался к некоей высшей святости и удостаивался прикосновения к благодати. Так же и движение человека в плохие места, с одной стороны, было результатом его недостойности, а с другой — вело его к конечной гибели. Географическое пространство для русского средневековья было неотделимо от сакрально-этических характеристик. Приобщение к святости требовало перемещения в «святые земли» — на Афон, к византийским и палестинским святыням. По отношению к этим землям своя, Русская земля мыслилась как менее святая. «Плохие», грешные земли располагались на западе, что в принципе соответствовало средневековой ориентации, рай — на востоке, ад — на западе (соответственно, движение на запад мыслилось как нисхождение по иерархии греха, а на восток — восхождение по лестнице святости)».

Цитата тянулась, длилась, как мои бестолковые путешествия. Оставалось непонятным, к какому типу земель отнести Север, утыканный вросшими в камни, озера и леса монастырями.

Система координат имела плавающий ноль и плавающую запятую.

Я старался не обращать внимания на фразы типа: «запад есть идеологический конструкт», снова возвращаясь к тому, что почувствовал давно.

Путешественник у Карамзина лишен изумления — он все знает наперед — из книг, картин и театральных постановок. Была у меня такая же история. Несколько лет я писал роман. И была в нем Европа, которой я не видел. А прожив там какое-то время, не изменил в тексте ни буквы.

Лотман говорил о двух утопиях, что описаны Карамзиным, — швейцарской и английской, где первая есть утопия разумно регламентированного общества, а английское общество есть общество сребролюбия.

Карамзин в споре «Россия или Европа» замечал оптимистично: «Россия есть Европа».

Время вылилось вон, и теперь непонятно даже — что есть Россия. Границы изменились и изменились правила.

Он писал не реальные путевые заметки, а создавал тот самый идеологический конструкт. В них смещено время пребывания в Париже и Лондоне, додуманы обстоятельства и персонажи: «Таким образом мыслил я в Виндзорском парке, разбирая свои чувства и угадывая те, которые *со временем будут моими*». Так происходила операция, обратная той, которой я занимался в Москве, конструируя свою Европу. Можно придумать собственные впечатления, когда вернуться за письменный стол.

Впечатления замещаются, вскоре подлинных не отличить от мнимых — как перепутанную мебель в мемориальном музее.

Так мешаются дорожные звуки в памяти — стук колес, звяканье ложечки в стакане, гудение самолета, расталкивающего воздух.

Причем Карамзин писал совсем как мой компьютер, что невзначай предлагал мне заменить «верх» на «верх».

Я примерял Карамзина на современность. В 1820 году Карамзин произнес по поводу Испанской революции: «Боюсь крови и фраз». И я разделял это суждение. В этом не было особого героизма, так говорят о вреде курения.

Во всяких ученых книгах писалось, что вопреки петровско-ломоносовской традиции государственной службы как общественного служения Карамзин вслед за Новиковым опирается на частное служение.

Может, в этом корень карамзинской эстетики: поэт делает с пейзажем то же, что земледелец с садом.

Говорилось в этих ученых книгах также, что в восемнадцатом веке существовал гибридный тип путешествия, образцом которого являются писания Дюпа-

ти (которые я, конечно, и не думал читать) и собственно стерновские странствия. Я мало понимал в этом. Слова теряли смысл, превращаясь в звук.

«Стернианская традиция опустилась к моменту написания «Писем русского путешественника» в область массовой литературы, — сообщил Лотман. — Языковая установка на узуз характерна для Карамзина и имеет принципиальное отличие от установки на стилистическую норму». И это было для меня лишь звуком, но буквы в книге хранили чужие дорожные впечатления.

Записывал свои впечатления Карамзин так: «Гердер невысокого роста, посредственной толщины и лицом очень не бел». И память услужливо, действительно услужливо, подсказывала то место из энциклопедии русской жизни, в котором говорилось об Иоганне Готфриде Гердере. Берлин же Карамзин нашел до чрезмерности вонючим. Берлин был тогда городом не значащим, не значимым.

Видел Карамзин и Гете, видел через окно и нашел, что гетевский профиль похож на греческий.

В Страсбурге он обнаружил на колокольне «и следующие русския надписи: мы здесь были и устали до смерти. — Высоко! — Здравствуй, брат, земляк! — Какой же вид!»

Я хорошо понимал механизм их появления. Были в моей жизни люди, которые говорили о путешествии за границу как о некоей гигиенической процедуре. Давно, дескать, не ездили, произносили они с интонацией стоматологического разговора. Надо бы прокатиться за кордон. Пивка попить в Мюнхене. На Кипре погреться, поплавать с аквалангом в Тунисе. После обильного ужина они начинали дружить с русской письменностью.

Видал и я похожие надписи в разных странах. Например, нашел в Иерусалиме знакомое трехбуквенное слово напротив голландского посольства, а в Брюсселе обнаружил его рядом с писающим манекеном. Тем и хорош русский язык, что в нем некоторые слова можно обозначить определенным количеством букв. Об этом много написано, и самодеятельная кириллица в чужих городах меня не радовала. Русский путешественник должен марать бумагу, а не иностранные стены.

Существительные должны быть дополнены глаголами, между ними обязаны рыскать прилагательные, предлоги — стоять на своих постах, а флексии — отражать взаимную связь их всех. И суть не должна зависеть от количества букв в словах. В них звук и ясность речи, пение гласных и твердая опора согласных. В них дорога между смыслами. В них прелесть путешествия и тайна частных записок русского путешественника.

Карамзин писал дальше: «Представляли Драму: «Ненависть к людям или раскаяние», сочиненную Господином Коцебу, Ревельским жителем. Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастна — и я плакал как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!»

Для меня это была история литературной Лилит, предвещающей появление Анны Карениной. Однако меня посещало и иное наблюдение: когда я тыкал карандашом в женские романы, систематизировал и классифицировал, я вдруг замечал, что начинаю любить этот жанр. Так Штирлиц, проведя много лет в Германии, обнаруживает, что начинает думать, как немцы, и называть их «мы». И вот, читая женские романы, я улавливал сентиментальное движение собственной души, переживание, которое иногда заканчивается закипанием в уголках глаз, пристенным слезным кипением.

Я дочитался Карамзина до того, что иногда писал в дневник его слогом: «В баре спросил я коньяку. Женщина ответствовала, что его мне не даст.

Отчего же? Коньяк фальшив, выпейте лучше водки. Но водки душа моя не желала. Водка была мне чужда. Ее я пил достаточно на протяжении нескольких дней.

Однако ж пришлось пить».

Понеслась душа в рай, как говаривал любезный приятель мой, литературный человек Сивов.

Стояли страшные морозы. Потрескивали от них ледяные стекла. Я вспоминал, как несколько лет назад жил на чужой даче. Это было мной многократно пересказано и несколько раз записано. Память превращалась в буквы, и реальность давних событий уменьшалась. Текст замещал эту память точно так же, как этот текст заместит удаляющийся в даль памяти трескучий мороз. Времена сходились, чувства повторялись. Время текло, и события одинаково текли летом и зимой.

Однажды мы взяли с собой на католический семинар некую изящную барышню. Я был влюблен в эту барышню, и оттого воспоминания о ней жестоки и несправедливы.

В дороге она рассказывала нам о светской жизни. Среди событий светской жизни главным было посещение бани вместе с какой-то рок-группой.

Потом она увидела полуразрушенный пионерский лагерь. С мозаики в холле на нее печально глядела девочка — не то узница чьих-то концлагерей, не то чернобыльская жертва. В руках у девочки был, весь в скрученных листьях, фаллический символ, печальный и увядший.

В комнатах, расписанных по обоям англоязычными надписями со множеством ошибок, стекала по стенам плесень. Кучки комаров замерли выжидательно на потолке.

Изящная барышня стала похожа на мозаичную фигуру из холла. Жухлый цветок в ее руках, правда, отсутствовал.

Приятель мой Лодочник принес откуда-то второй матрас и спал под ним вместо одеяла. Комары сидели на этом матрасе, терпеливо ожидая, пока Лодочник высунет из-под него ухо или нос.

Впрочем, другой мой приятель несказанно обрадовался. Он радостно подмигнул мне:

— Теперь-то Лодочник будет храпеть вволю, а мы ничего не услышим!

Печальная светская барышня слонялась между общинными людьми, попиная мебель, а мы рассуждали о том, пропустить ли утреннее камлание или отправиться петь икосы и кондаки.

Приятель мой между тем обхаживал какую-то бабу. Лицо ее было простым, русским, будто рубленным из дерева. Она умела катать мяч по руке и, кажется, была в прошлом гимнасткой.

Я представлял себе, как, предварительно подпоив ее, за беседой о гороскопах, нравственности, прошедших и канувших изменах, он наконец дождется ее движения к сортиру, плавного перемещения, в конце которого он втиснет проспиртованное тело, несчастную большеголовую девочку-гомункулуса в кабинку, прижмет к фанерной стенке заплетающееся тело и, торопливо двигаясь над техническим фаянсом, будут они решать задачу двух тел.

Потом я представил себе, как без вскрика, без стоны, тяжело дыша, они соединятся. Наконец они вернуться, шатаясь, как усталые звери, и будет мной применен к ним вековечный вопрос-рассуждение философов — отчего всякое животное после сношения становится печально?

Ночь кончалась. Искрился в свете фонаря снег, хрупал под ботинками припозднившихся, возвращающихся по номерам людей.

Или, может, это дождь молотил по крышам бывшего пионерского лагеря. Длилось скрученное в мокрый жгут лето. Длилось, будто писк тоскливого комара.

Как-то на этих камланиях погода менялась каждый день, то подмораживало, то какая-то жижа струилась под ногами. В Москве было полно сугробов, мы ехали в областной центр довольно долго и кривыми путями. Католическая община видоизменилась, появилась провинциальная молодежь, многочисленная и малоинтересная. Были там какие-то новые лица. Девушка с оскорбленным лицом, вернее с лицом, побледневшим от неведомых оскорблений. Другие девочки с острыми лицами. Была еще там свора противноголосых мальчиков. Был

молодой сумасшедший, похожий на левита. Правда, молодежь была интересна Хомяку — он познакомился с какой-то несовершеннолетней барышней, начал ее по своему обыкновению поднимать, возиться. Но барышня, однако, оказалась каратисткой, в результате возни Хомяка поцарапала и покусала, но сексуального удовлетворения не обеспечила. Так что из всех удовольствий ему досталось только мазохистское.

Мое же дело было писать, но я писал почему-то о прошлом путешествии, долгом и странном — в тысячах километров от заснеженных домиков на окраине областного города. Жена одного из моих конфиденентов, увидев, что я что-то пишу, подошла ко мне и жалобно сказала: «Владимир Сергеевич, вы, пожалуйста, если напишете что-то про меня, то измените мое имя... Или не пишите вообще». И я согласился.

Комната у нас с Лодочником и Хомяком была одна на троих — причем их кровати были сдвоены. Вот был подарок для их родственных душ. Тут я вспомнил, что когда эта пара поехала в Египет, то туристические агенты, бросив на них взгляд, сразу предложили сомкнуть кровати в номере.

Впрочем, мы съездили к одной местной церкви, которую я чрезвычайно любил. Был я там много — страшно подумать сколько — лет назад. Хомяк посадил к себе в машину негритянку из Анголы и воделел ее всю дорогу. Однако она оказалась многодетной супругой какого-то пуэрториканца: негритянка прыгала на переднем сиденье, взмахивая ворохом своих тонких косичек. Я же был похож на попа в вертепе. Вернее, на попа в борделе, всклокоченного и хмурого попа. Хомяк купил кассету с духовными песнопениями и гонял ее в своем джипе на полную мощность. Хоровое пение несло над заснеженной дорогой. Старушки по пути, увидев в машине негритянку и хмурого длинноволосого мужика с бородой, истово крестились. Церковь, как и положено, стояла на своем месте и вела к ней узкая расчищенная дорога. Я был здесь в прежней жизни, и не поймешь, как именно я изменился. Изменилось всё и все. Не изменилась лишь книга по архитектуре этого княжества, что я брал с собой в дорогу тогда и взял с собой теперь. Тогда, между прочим, я думал, что церковь стоит на острове. Была зима, и я шел долгой дорогой в снегу.

А сейчас караульная старушка открыла нам храм, где уже десять лет шли нерегулярные службы. Батюшка у них был свой, хоть и жил рядом, кажется, при монастыре. Было снежно и туманно, внутри церкви пар рвался из ртов, сходство со внутренностью морозильника усиливали белые каменные стены, покрытые инеем. Я поставил одну свечку за упокой своего деда, а вторую — за здоровье матери. Нужно, наверное, мне было в жизни больше молиться.

Но уже попискивала от холода толстая негритянка, и надо было ехать дальше.

Но время снова щелкнуло, в дверь постучали и меня позвали к соседям в гости, в одну из одинаковых, как близнецы, комнат, комнат без истории.

Оказалась рядом со мной черноволосая женщина, поющая джаз. Она была низенькая, быстрая в движениях, со своей историей — филфак, сандинисты, отец искусствовед или архитектор, невнятная работа, лет тридцать, сигарета и коньяк, время проходит, подруги замужем, разговор о знакомых и полужнакомых: я знаю его уже десять лет, и он все такой же пубертатный мальчик — незатейливый кадрж и суетливое перепихивание.

А итальянки слушают этого мальчика, и вот оказывается, что они живут рядом. Марсия, привет; Сабрина, чао, и телефоны уже записаны, и забыты стрелки на воскресенье и следующую субботу, пропеты «Катюша» и «Вернись в Сорренто».

Занавес.



«Делай, что должно...»

ГОСУДАРСТВЕННОМУ МУЗЕЮ Л. Н. ТОЛСТОГО — 90 ЛЕТ

7 (20) ноября 1910 года Толстой умер.

«26 октября, — вспоминает Елена Евгеньевна Горбунова, — Лев Николаевич заехал в Овсянниково к Марии Александровне. Он долго сидел у нее и, уходя, сказал, что он решил уйти. — Это слабость, Лев Николаевич, — сказала она, — это пройдет, потерпите. — Слабость, — подтвердил Лев Николаевич. — Только это уже не пройдет». Через два дня Толстой уйдет из Ясной Поляны, а спустя две недели его не станет. «Под вечер (в день похорон. — В. Р.), — читаем в тех же воспоминаниях, — мы с мужем сходили взглянуть на могилу. Одиноко стояла она среди истоптанного снега, венки закрыли ее, венки висели на ближайших деревьях. Двое-трое яснополянских стариков стояли около могилы и о чем-то тихо говорили».

Стефану Цвейгу казалось, что «во всем мире нет более поэтичной, более впечатляющей и покоряющей своей скромностью могилы, чем эта. Маленький зеленый холмик среди леса, украшенный цветами... ни креста, ни надгробного камня с надписью, ни хотя бы имени Толстого... это царственно безмолвная, трогательно скромная могила где-то в лесу, безответно внимающая только ветру и тишине». Собственно, многим из нас сродни это восприятие. Но есть и другое чувство, в нем меньше элегии, больше тревоги от сознания того, что место «у дороги, на краю оврага Старого Заказа», Толстой, отлученный от церкви, вынужден был выбирать себе сам — «так как надо же где-нибудь зарыть мой труп».

Одинокая могила на краю оврага... Не есть ли в этом некая трагическая предопределенность — быть непонятым при жизни, гонимым цензурой, сгорать от стыда разлада между родными и близкими, с юности преодолевать тоску, одиночество, всю жизнь бороться с ханжеством, лицемерием, «метафизикой лжи», изначально нести в себе «беспредельную потребность любви», эту неиссякаемую «чистоту нравственного чувства», и исподволь понимать, как далеки люди от источника света.

Могила на краю оврага. Кому-то она казалась символом наказания за гордыню, за отпадение от лона церкви, национальных истоков — словно бы на краю России, а быть может, и вне ее — кесарю кесарево. Кто-то воспринимал ее как символ обособленности великой личности — всегда и везде сам по себе, этакий «особняк» в мировой культуре: чудак — он и в смерти чудак. Как бы там ни было, но оба взгляда сходятся в фокусе конфликтующего отношения к Толстому. Его по-прежнему меряют по Плехановски — «отсюда и досюда».

Масштаб разночтений и оценок наследия писателя и мыслителя потрясает своими размерами. Все сферы его творчества не избежали крайностей суждений со стороны обожателей и хулителей.

Для одних он — «величайший художник мира», для других — «лавка древностей» (Ф. Мориак), «непоэтический, трезвоутилитарный гонитель красоты», в котором «эстетическое варварство и грубость соединялись с художественной гениальностью» (Н. Бердяев).

Касаясь проблем социума, одни видели в нем идеолога наивного патриархального крестьянства (В. Ленин), другие — «человека из общества мировой столицы», связанного «с Западом всем своим нутром» (О. Шпенглер).

Для Р. Штейнера он «провозвестник новой эпохи жизни», для которого идеалы «заключены не в материальной, внешней, жизни, а истекают из человеческой души». Не любившие и не любящие его не скупилась и не скупятся на резкие определения — «нигилист», «революционер», загадивший «чистые родники русской жизни», наводнивший мир «банальными религиозными мыслями». Для многих православных верующих — «мракобес», «антихрист».

Певец «живой жизни», «ясновидец плоти», а с другой стороны — аскет, у которого, говоря словами Ф. Ницше, «жизнь кончается там, где *начинается* “Царствие Божие”».

После смерти Толстого его родные, друзья и близкие, его почитатели, сознавали необходимость создания такого центра по изучению наследия писателя, который мог бы помочь людям более глубоко и объективно понять Толстого, стал бы местом собирания и хранения всего того, что связано с памятью о нем и его окружении. Среди них — С. А. Толстая, его дети, Брюсов, Бунин, Горький, Вересаев, Репин, Л. Пастернак, В. Мешков, С. Меркуров, Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Яблочкина, единомышленники Толстого В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, И. И. Горбунов-Посадов, Н. Н. Гусев, В. Ф. Булгаков. Они и стояли у истоков рождения музея.

28 декабря 1911 года музей Толстого в Москве принял первых своих посетителей. В первые годы советской власти ему был придан государственный статус. Сегодня Государственный музей Л. Н. Толстого является одним из самых крупных литературно-мемориальных комплексов мира. В него входят музей-усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники», мемориальный музей на станции Лев Толстой «Астапово» (Липецкая область), Литературный музей на Пречистенке (д. 11), филиал на Пятницкой (д. 12).

Фонды музея — это сокровищница мировой культуры.

В «стальной комнате» хранится почти все, что написано Толстым, — сотни тысяч страниц. Рукописный архив музея — это десятки тысяч писем к Толстому, телеграммы на смерть писателя, рукописное наследие членов его семьи, его друзей, современников, крестьян-толстовцев, выдающихся исследователей его творчества. В «стальной комнате» на протяжении 30 лет шла работа над Юбилейным изданием — 90-томным собранием сочинений писателя. Сегодня музей — один из активных участников подготовки Академического собрания сочинений Л. Н. Толстого в 100 томах (120 книгах).

Коллекция живописи, графики, скульптуры насчитывает более 70 тысяч единиц хранения. От прижизненных скульптурных портретов Толстого, иллюстраций к его произведениям до изобразительных работ современных отечественных и зарубежных художников.

Фотофонд музея (около 23 тысяч ед. хр.) включает в себя подлинные негативы и фотографии с изображением Толстого — их более 7 тысяч.

Издания произведений Толстого на русском и иностранных языках, почти все, что написано о Толстом на русском языке, и многое из того, что вышло в других странах мира, хранится в отделе книжных фондов музея.

Многочисленные коллекции нумизматики, значков, памятных ваз, всевозможные сувениры и другого рода производственные товары, так или иначе связанные с именами Толстого и его окружения, — все это собиралось десятилетиями и хранится в специальном фонде музея.

Около 5 тысяч подлинных экспонатов в хамовническом доме писателя и в музее «Астапово». Многим из них еще предстоит обрести свою жизнь в слове, ибо они были немymi свидетелями напряженной и духовно насыщенной жизни Толстого, членов его семьи, его друзей и знакомых. В мае мне довелось вести министра иностранных дел Израиля Шимона Переса по музею-усадьбе «Хамовники». Когда мы подошли с ним к письменному столу Толстого, он начал меня спрашивать: «“Смерть Ивана Ильича” здесь написана?» — «Здесь». — «И “В чем моя вера?”» — «Да». — «“Воскресение”?» — «И “Воскресение”». Я видел, как слезы засверкали в его глазах.

Музею Толстого в 2001 году — 90 лет. Пройден нелегкий путь становления и развития — через революции и войны, через пышные толстовские юбилеи и годы забвения, через эпоху оголтелого атеизма, через десятилетия насилия, ханжества, «метафизики лжи». Нельзя сказать, что всегда и во всем музею удавалась противостоять всему этому. Но противостояние было, как была и каждодневная работа по собиранию и хранению наследия Толстого, по приобщению людей к миру идей и образов автора великих романов. Сделано много, но, несмотря на девяностолетний возраст музея, предстоит сделать еще больше. Это связано прежде всего с тем, что Толстой, как это ни покажется странным, только начинает входить в нашу жизнь как *целостное духовное явление*.

Парадоксально, но факт — огромная страна не выдержала испытания Молохом. Торжество зверя-собственника, себялюбивого эгоиста, не имеющего никаких сдерживающих от зла и насилия ограничений, на наших глазах разрушает просветельские иллюзии относительно человеческой природы. Больше власти тьмы, нежели света духа. В этой ситуации менее всего надо предаваться отчаянию. Человечест-

ву свойственны периоды как падения, так и взлета. Менее всего, быть может, надо сейчас думать о каких-то универсальных или специфически национальных путях спасения, выхода из духовного кризиса. Жизнь мудрее нас. В связи с этим все чаще вспоминается любимая французская поговорка Толстого: «Делай, что должно, будь что будет». Кстати, этими словами, написанными в «Астапово» на смертном одре самим Толстым, обрывается дневник писателя.

Сотрудники Государственного музея Л. Н. Толстого изо дня в день совершают далеко не всегда видимую работу — ведут переучет музейных коллекций, преумножают их, готовят академические и неакадемические издания, выставки и экспозиции, реставрируют музейные здания и экспонаты, организуют экскурсии, лекции, вечера. Но есть и понимание того, для чего это все необходимо. Есть ощущение нашей эпохи, требующей новых решений в подходах к научной и научно-просветительской деятельности музея.

Толстой создал методологию жизни человеческого духа, но по сей день она остается по-настоящему не востребованной — и не потому, что мало в ней пользы, а потому, что человечество медленно движется к той высоте нравственной жизни, о которой писал и мечтал Толстой.

Находясь в извечном поиске истины, Толстой более всего раздумывал о формах воздействия на сознание человека. Он постоянно ощущал потребность в новом языке общения с современниками. Диапазон его творчества велик — от сложных романов и трактатов до рассказов для малышей. Вслед за Толстым музей выстраивает сегодня свои культурно-образовательные программы для людей разного возраста — от детей 4—5 лет до седобородых старцев. Большая часть этих программ развернется на Пятницкой, 12, где начал свою работу Всероссийский центр Толстого.

2003 год — год 175-летия Л. Н. Толстого. Уже сейчас начата большая работа по подготовке к этому юбилею. Полным ходом идут крупномасштабные реставрационные работы в усадьбе «Хамовники», готовятся новые экспозиции и выставки — музей для маленьких «Мир детства», выставки «Юность гения», «Поле русской судьбы (Толстовское Бородино)», «Так что же нам делать?», «Чем люди живы». Совместно с музеями России и зарубежных стран предполагается организация международной выставки «Лев Толстой. Запад — Восток». С ней познакомятся жители крупных культурных центров мира.

Продолжается большая работа по подготовке к изданию архивных и фондовых материалов, хранящихся в музее. Среди них — «Переписка Л. Н. Толстого и А. А. Толстой», «Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Стрехова», «Толстой и Фет» (том «Литературного наследия»), седьмой том библиографического указателя «Л. Н. Толстой», третий том фотокаталога «Толстой в жизни», «Сто лучших портретов Толстого», воспоминания о Толстом и его современниках. Музей возобновляет периодическое издание «Толстовский ежегодник», три номера которого вышли в 1911—1913 годах.

Праздники для детей и юношества, толстовские театральные декады, кинофестивали, творческие конкурсы, международные научные форумы — это и многое другое в планах музея.

Поверить Толстому — это не значит целиком подчинить ему свою волю, растворить себя в мире его идей, это значит стать на путь разгадки тайны жизни, где рядом с тобой будет великий мудрец.

Виталий РЕМИЗОВ, директор музея

А. Л. ТОЛСТАЯ

Дневник 1903 года

С ее кончиной оборвалась одна из последних живых нитей, связывавших нас с великим веком русской культуры. Нас может утешать лишь то, что она оставила после себя. Я думаю не только о ее усилиях представить нам литературное наследие ее отца, но и о том вечном памятнике, который она воздвигла сама себе, создав примерно сорок лет назад «Толстовский фонд». Те тысячи, которых она облагодетельствовала своей помощью, когда они свободными людьми начинали новую жизнь в этой стране, всегда будут помнить Александру Толстую.

Джеймс Эрл Картер, президент США. Письмо Теймуразу Багратиону в связи с кончиной А. Л. Толстой. 5 октября 1979 г. Вашингтон.*

Александра Львовна Толстая (18 (30) июня 1884, Ясная Поляна — 26 сентября 1979, Валли Коттедж, штат Нью-Йорк) — младшая дочь Льва Николаевича Толстого. Сближение ее с отцом началось, когда она взялась переписывать его рукописи и помогать ему вести переписку с многочисленными корреспондентами. Впоследствии Александра Львовна вспоминала: «Впервые я подошла к отцу, когда мне было 15 лет. Это время я считаю началом моей близости с ним. С годами она все увеличивалась»**.

В девятнадцать лет Александра начала вести свой первый дневник под впечатлением дневников отца, которые она в то время переписывала. В отличие от своей матери, Софьи Андреевны Толстой, придававшей огромное значение тому, что «будет говорить и думать следующее поколение», Александру Львовну «ужасно раздражала мысль об этом будущем поколении». Она вспоминала: «Я писала дневник только тогда, когда меня что-нибудь сильно задевало или когда я бывала влюблена»***.

Публикуемый впервые дневник Александры Львовны написан в период с 22 июня по 21 июля 1903 г. Он представляет собой тонкую тетрадь в мягкой обложке, на которой рукой автора написано: «Дневник А. Т.». В этом дневнике юная Александра впервые задалась вопросом: «**Чем я буду жить?**».

Читая дневник, мы видим, как вольно или невольно Л. Н. Толстой оказывал огромное влияние на дочь, которую он «исключительно» любил, и как зарождалась та **Александра Львовна Толстая**, имя которой теперь известно во всем мире.

22 июня

Хочу записать разговор, который был на днях вечером с папá. Хрисанф Николаевич¹ и доктор² сначала говорили вдвоем о жизни. Дмитрий Васильевич говорил,

* Александра Толстая. Каталог выставки. Тула, Издательский дом «Ясная Поляна», 2000. С. 49.

** А. Толстая. Младшая дочь. «Новый мир», 1988, № 12. С. 214.

*** Александра Толстая. Дочь. М., «Вагриус», 2000. С. 106.

что он недоумевает, почему люди, называющие себя христианами, не живут вполне христианской жизнью. И что если считать и называть себя христианами, то надо и жить по-христиански. Хрисанф Николаевич говорил, что не живет человек по-христиански, потому что в нем мало добра и любви. Они, разговаривая, пришли в залу, и папá спросил их, о чем они спорили. Хрисанф Николаевич рассказал. Папá сказал, что Хрисанф Николаевич не вполне прав, что человек живет нехристианской жизнью потому, что в нем мало добра и любви, что это неясно, а что человек живет хорошо и по-христиански настолько, насколько в нем сильно развито стремление к совершенству или чем глубже в нем духовная жизнь. Дмитрий Васильевич же совсем не прав. Недоумевать нельзя, что человек не следует своему идеалу. Человек всегда будет стремиться к идеалу, хотя никогда и не достигнет его. Люди находятся на бесконечной лестнице, внизу которой стоит материализм, а вверху идеал христианской духовной жизни, между этими двумя находятся люди на разных ступенях совершенствования, одни ниже, другие выше. Люди, которые считают, что стремление к христианской жизни и совершенствованию хорошо, но что есть вопросы гораздо важнее и можно жить без этого, не правы. Материалистам легко следовать своим идеям, потому что идеала у них нет, они недалеко от животных. Вот разговор, как я его поняла³. Это очень-очень важно и я рада, что так ясно теперь после слов папá я поняла то, что отрывками носилось в голове.

Теперь другой вопрос, на который я получила ответ из дневника папá: человек ли зависит от судьбы или судьба человека зависит от него самого? Ответ таков: человек не зависит от судьбы настолько, насколько он живет духовной жизнью, и наоборот.

Меня часто в себе пугает то, что именно у меня только понимание одним разумом, что надо жить духовной, религиозной жизнью, а нет внутреннего, глубокого стремления к ней и меня пугает это. Часто чувствую я пустоту в своей жизни и думаю, что именно этого и не хватает в ней.

22 июня

Часто приходит в голову: как я буду жить потом, чем я буду жить? И никогда я не могу ответить себе на этот вопрос. Мне до такой степени страшно заглядывать в будущее, что я ни разу не могла обдумать свое будущее до конца, так кажется мрачно и темно впереди, что боюсь думать об этом. Вот уже год, а то и больше, что я особенно чувствую, что все у меня сосредоточено на папá и я за этот год гораздо яснее стала понимать его учение.

Сегодня в газетах было письмо Антония об открывшихся мощах в Саровской пустыни. Антоний пишет, что вот расходятся в Петербурге вредные брошюры, в которых говорится, что мощей никаких нет. Действительно, остались одни нетленные кости и волосы на голове, но этого вполне достаточно, чтобы совершать чудеса подобно Петру.

Папá говорит, что если бы он был молод, непременно бы поехал в Саровскую пустынь.

Папá сегодня получил письмо от Румынской королевы⁴: письмо, по его словам, глупое и бессодержательное. По поводу этого поднялся вопрос о царях и о лжи, которая окружает их. Ложь, когда их превозносят в церквах, ложь и фальшь, когда поют «Боже, царя храни» и все обязаны слушать это стоя и без шапок, хотят ли они этого или нет, потом заставляют праздновать свои рожденья и именины. И люди так привыкли лгать и притворяться, что уже не понимают, как можно поступать иначе. Если человек лжет и притворяется, он соблюдает приличие, если он не лжет и не притворяется, он неприличен.

Как-то на днях папá переводил Лине⁵ с английского слова Франциска Ассизского⁶ и так был тронут тем, что переводил, что чуть не заплакал. Вот этот разговор Франциска с своим учеником: Франциск позвал брата Льва и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы меньшие братья подавали по земле пример святости и назидания: запиши одно тщательно и заметь себе, что не в этом совершенная радость».

Пройдя немного дальше, Франциск позвал его вторично. «О, брат Лев, если меньшие братья возвращают слепым зрение, больных исцеляют, бесов изгоняют, глухим возвращают слух, хромых заставляют ходить, немых говорить, или, что еще более, если они воскресают четырехдневно умерших,— запиши, что и не в этом совершенная радость».

И, пройдя еще далее, он закричал ему: «О, брат Лев, если бы меньший брат знал все языки, все науки и все писания, если бы он умел пророчествовать не только будущие дела, но и тайны совести и души,— запиши, что не в этом совершенная радость».

Пройдя немного далее, Франциск позвал его еще: «О, брат Лев, овечка Божия! Если бы меньший брат научился говорить на языке Ангелов, если бы он узнал течение звезд и всех растений, если бы ему открылись все клады земли, и он познал свойство птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, корней и вод,— запиши, что и не в этом совершенная радость».

Пройдя еще немного, Франциск громко позвал его: «О, брат Лев, если бы меньший брат обладал таким даром проповеди, что обратил бы язычников в веру Христа, напиши, что не в этом совершенная радость».

Разговаривая таким образом, они прошли более двух миль, и брат Лев в изумлении говорит ему: «Отче, прошу тебя именем Бога открыть мне, в чем же состоит совершенная радость?»

И Франциск отвечал ему: «Когда мы придем в Порционкюль, промокшие до костей, очоленевшие от стужи, покрытые грязью, умирающие с голоду, мы постучим, и разгневанный привратник придет и скажет: «Кто вы?», а мы ответим ему: «Мы двое из ваших братьев». «Вы лжете,— скажет он,— вы бродяги, шатаетесь по свету, соблазняйте всех, крадете милостыню бедных людей. Убирайтесь отсюда». И он не otvorит нам, оставит нас дрожать в снегу и в воде, очоленевших, голодных, до глубокой ночи. Тогда, обиженные, изгнанные, если мы терпеливо без ропота перенесем унижение, если мы со смирением и любовью подумаем, что привратник действительно знает нас, что сам Бог внушил ему такое обращение с нами. «О, брат Лев, запиши, это будет совершенная радость. Свыше всех благ и даров, изливаемых Духом Святым на избранных, есть дар побеждать себя, добровольно переносить всякий труд, обиду, утешение, дурное обращение из любви к Христу».

24 июня

Сегодня здоровье скверно. Неужели я никогда не поправлюсь?⁷ Когда я нездорова, мне вдвое труднее владеть своим дурным характером. Сегодня весь день, как я ни старалась подавлять это в душе, какой-то ропот, возмущение на судьбу, что я — сильная, молодая — постоянно болею. Папá тоже сегодня нехорошо. Болит живот. Приехал какой-то американец корреспондент⁸: боюсь, не утомил ли он папá.

Хочу послать Черткову⁹ 50 р. за высылаемые мне брошюры, мамá, конечно, возмутилась: «Он и так эксплуатирует папá». Как можно это говорить про Черткова, который всю жизнь посвятил идеям папá и все духовные и материальные силы кладет на это дело издания. Я возмутилась и, чтобы не сказать лишнего, поскорее ушла¹⁰. Миша¹¹ мне сочувствовал, я этому рада.

Часто вспоминаю я один разговор с папá. «Замуж бы тебя, Саша, отдать». «Я, папá, не хочу». «Будто бы?» «Нет, мой идеал с детства — не выходить и теперь совсем не хочется». Он подумал и сказал: «Пожалуй, правда, я думаю, что ты тверже сестер в этом отношении»¹².

Что бы я дала, чтобы он мог бы это сказать теперь! Как я была тогда счастлива и как я старалась оправдать его слова, и сама не знаю, как вышло это с Г.¹³ и как перешло простое отношение на другое. «Вот вы, женщины, все таковы», — сказал он мне, когда я ему все сказала. И я поняла, что именно то, что я хотела пересилить, отогнать, одолело и меня, и стало обидно, досадно на себя за это.

25 июня

У папá все болит живот и настроение мрачное. Завтра уезжает Миша с семьей. От Маши известие, что они приезжают через две недели¹⁴.

26 июня

Папá все нехорошо. Утром был жар 38 с лишним, дали слабительного, после действия которого жар уменьшился. Настроение его удрученное. Вечером пил с нами чай, но скоро ушел. Дурное настроение, очевидно, от нездоровья.

Переписывала сегодня его дневник¹⁵. Эта работа есть величайшее для меня наслаждение. Завтра приезжает Таня¹⁶. Миша с семьей уехал.

28 июня

Второй день папá лучше и сегодня значительно лучше. Тут Пав. А.¹⁷ Я ему хочу рассказать про историю с Г.¹⁸, но не могу остаться с ним наедине. А вместе с тем я знаю, что он поймет это лучше всех и даст мне хороший совет или просто скажет что-нибудь, что успокоит меня.

Написала князьям.

Сережу¹⁹ я уважаю и люблю и считаю хорошим человеком, но он часто слишком резок и груб; особенно к женщинам, мне часто в нем это неприятно.

Папаша со мною ласков и заботлив. Все спрашивает о здоровье и беспокоится, если скажешь, что плохо.

1 июля

Был неприятный разговор за обедом. Разговаривали о медицине, и папá сказал, что в медицину можно верить или не верить, как можно верить или не верить в Иверскую. Мама́ сразу перевела разговор на личную почву²⁰. Стала говорить о том, что папá спасли в Крыму доктора, что если бы он не верил в медицину, он мог бы не лечиться и не глотать такое количество облаток и т. п. и т. д. Папа́, конечно, страшно взволновался и сказал: «Я знаю много людей, которые не верят в церковь, а ходят туда только потому, что боятся огорчить близких». На это мама́ ответила очень грубо, что, мол, знаем мы эти отговорки. Теперь у папá стеснения в груди. Бедный он, бедный, как жалко его. Теперь во мне борются два чувства, которые, я знаю, не должны быть вместе: жалости к одному и недоброго чувства к другому, а должно бы было быть жалость к обоим. Но где мне взять силы подавить недоброе?²¹

Написала Павлу Александровичу. Хотелось бы написать ему много-много, но почему-то не могу писать ему. А сейчас, кажется, ему одному могла бы все сказать, что на душе.

2 июля

Папá здоров. Слава Богу! Я вчера очень испугалась.

Тут второй день Гольденвейзеры²². Они довольно милы.

Сейчас Гольденвейзер играет. Хорошо. Только я иногда думаю, что нехорошо то особенное настроение, возбужденное, которое бывает от музыки. Я думаю, что этого не следует. Отчего я не могу спать после музыки и какие-то глупые мысли лезут в голову?

Отчего Павел Александрович меня не осудил, а только думает, что мне трудно в этом отношении? Я всегда считала, что мне легче, чем кому-либо, потому что я всегда чувствую поддержку папá. П. А. думает, что я для него только стараюсь удержи-

ваться от этого. Это есть, конечно, я всегда думаю о том, что это может его огорчить, но разве я не знаю, что это отвратительно само по себе, что, допустив непростое отношение к человеку, я страшно падаю нравственно и порчу отношения с человеком, и стесняю свою свободу, и вообще, что это очень гадко. А что дела мало, я думаю, что это не мешает знать и помнить, что хорошо, что дурно. Редко, кто имеет больше дела, и живут хорошо. Поэтому я не понимаю П. А. и мне даже немножко обидно, что он говорит, что мне будет очень трудно. Мне приходит в голову, что у меня гадкая натура²³. А то, что случилось, так глупо, и мне кажется почти невозможным, чтобы это повторилось.

Сегодня я читала опять Франциска и думала о том, какая в нем была сила духовная. Вот и у папá тоже. Они жили, а столько людей не начинали еще жить, потому что в них этого нет. Мне стало страшно. Во мне, должно быть, ее тоже нет. А я помню, что зимою князья и П. А. сказали, что во мне нет духовной жизни, и я обиделась, но теперь я поняла, что это такое и поняла, что во мне действительно ее нет, а была бы она, мне было бы легче справляться с дурным. До сих пор я *знала*, что дурно и что хорошо, я старалась не делать дурного, а теперь я поняла, что надо чувствовать это, и тогда гораздо легче будет. (Нет, не могу выражаться, совсем не то хотела написать.)

5 июля

Дмитрий Васильевич дал мне письмо от Г. Я тотчас же решила его, не распечатывая, послать обратно. Пошла к папá и сказала ему об этом. Он одобрил мое решение, только я хотела запечатать его письмо в конверт, а папá сказал, что не надо. Но все-таки я запечатала, потому что не хочу, чтобы Дмитрий Васильевич подозревал что-нибудь, а было бы странно, если бы я ему вернула письмо Г. с просьбой отослать обратно. Мне это очень неприятно. Мне жалко, если это огорчит его. У меня все-таки осталась маленькая надежда, что он не плохой человек.

Завтра приезжает Маша. Я очень-очень рада²⁴.

Мне кажется, что эти последние дни папá чем-то недоволен во мне, но ищу и не могу еще найти чем. Это меня мучает.

10 июля

Папá было вчера нехорошо: сильные перебои, стеснение в груди. Сегодня гораздо лучше. Поссорилась с Машей. Столкнулись из-за пустяков за завтраком, а причина та, что она мне сказала несколько обидных вещей по поводу истории с Г. Сказала, что я не только кривлялась с Н.²⁵ и П. А., но и даже с Аб.²⁶, а потом сказала, что я вообще болезненно (кажется, так) отношусь ко всем мужчинам и со всеми кривляюсь. Я смолчала и ушла, а сегодня это все вылилось за завтраком, а теперь мне досадно на себя за это. Вообще настроение ужасное. Иногда даже страшно делается. Как поглядишь в себя, так пусто и нечем жить. Хотелось бы уехать отсюда на время. Да, главное, обидно то, что Маша не поняла, что рана не зажила и начала больно-больно ковырять ее. Разве я не знаю, как дурно я поступила в истории с Г.? Что это непоправимо теперь и т. д., зачем было нужно так грубо напоминать мне об этом? Если это урок, то я никогда не буду никому давать уроков. Это обходится учащемуся слишком дорого!

11 июля

Папá было нехорошо. 140 пульс. Сейчас лучше. С Машей помирились. Она думала, что мне безразлична история с Г., и обрадовалась, что я сказала, что не спала всю ночь после разговора с ней, потому что во мне всплыло все стыдное, что было в ней. Она взяла свои слова назад о болезненности и т. п. А я ей сказала, что мне было все это очень больно, потому что я после папá считаю ее самой

близкой, и что мне жалко было бы потерять ее. И мы обе плакали, и все кончилось хорошо. Мне стало вдвое легче. Толчок к примирению дал папá. Он спросил меня: «Вы с Машей все ссоритесь?» А я говорю: «Да, но мне хочется помириться», — и от него пошла к Маше.

Папá ездил верхом, от этого, вероятно, ему было нехорошо.

12 июля

Вот что думала сегодня: человеку легко, постоянно стараясь смягчать, не замечать и заглаживать дурные стороны, привыкнуть не видеть их и вообще привыкнуть к ним до такой степени, что они уже будут казаться не недостатками, а скорее даже достоинствами. Этого я всегда боюсь в себе.

Н. П.— кокетка, так привыкает кокетничать, что ей уже кажется, что она именно этим хороша. Она считает в себе кокетство достоинством.

15 июля

Были эти два дня А. А. Стахович²⁷ с дочерью²⁸. Дочь мне очень нравится. Удивительно простая, веселая, но необыкновенно сильная, сильная и физически, и, я думаю, нравственно. Энергия у ней во всем проявляется: в теннисе, в беготне, во всем. Хотелось бы с ней поближе познакомиться. Эти дни опять у меня мысль о том, что я не так живу, как нужно. Больше дела надо и больше умеренности. Например, меньше спать, меньше есть, а больше делать, а главное, каждую минуту своей жизни стараться делать полезное. А я думала о том сегодня, что я часто спрашиваю себя: «Что бы теперь такое сделать, чтобы провести время до обеда, или что веселее, покататься на лодке или поехать верхом?» А сегодня я возила снопы с девками и ясно возникла мысль о том, насколько это все гадко и неправильно, что я думаю о том, как провести время веселее, а девки с утра до вечера возят наш хлеб, усталые, пыльные и не знающие удовольствий.

Папá говорил много сейчас за чаем. Запомнилось особенно мне вот что: «Какое счастье, что человек теряет свою личность после смерти, так как нет ничего тяжелее, чем воспоминание своей жизни. Если человек вспоминает дурное своей жизни и умер бы с этим воспоминанием, это было бы величайшим страданием».

18 июля

Привезли бабу. С 12 до 8 часов возилась с ней²⁹. Большая рана на руке. Дмитрий Васильевича не было. Повезла на Козловку. Зашил Готлиб. Он боится гангрены. Я, кажется, все бы отдала, чтобы эта баба осталась с рукой. Такая она кроткая, терпеливая, и сейчас не могу забыть ее лица морщинистого, кроткого, полного страдания. Ее невестка, которая ее привезла, так плакала и говорила, что она такая добрая, как мать ей родная. Да оно и видно по ее лицу, что она очень хорошая.

Папá здоров, ездил верхом к Андриюше³⁰. Со мной ласков. Мы с ним разговаривали о Маше, Андриюше, дяде Сереже³¹. Хорошо. Когда он со мной ласков, я вполне счастлива.

19 июля

Ходили утром до 3 часов гулять с детьми и Пошей³². Наслаждались природой. Ездили вечером верхом и за мамá на купальню. Я ее люблю. Папá со мной ласков. Чего же еще? Я счастлива.

21 июля

Был П. А. Дал мне письмо, которое написал мне, но не послал. Какое счастье, что есть человек, который, наверное, хорошо относится. Когда это есть, то стоит жить. И такое хорошее письмо. Вторая часть письма содержит именно то, о чем я так много думала последнее время: мое безделье. И я непременно хочу с завтрашнего дня засесть за работу и вести новый образ жизни. Наконец-то Наташа С.³³ приезжает. Я очень-очень рада. Наконец-то собралась ко мне!

Примечания

¹ Абрикосов Хрисанф Николаевич (1877—1957) — единомышленник Л. Н. Толстого, был женат на его внучатой племяннице Н. Л. Оболенской. С осени 1902 г. по 19 июня 1903 г. подолгу жил в Ясной Поляне и помогал писателю в переписке его произведений и в ответах на письма. Х. Н. Абрикосов — автор воспоминаний «Двенадцать лет около Толстого».

² Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960) — домашний врач Л. Н. Толстого. Познакомился с Толстым в 1900 г., будучи ординатором Московской университетской клиники проф. А. А. Остроумова. С 30 марта 1902 г. по сентябрь 1904 г. жил у Толстых (во время его отсутствия в Ясной Поляне с 1 февраля по 2 июня 1903 г. домашним врачом у Толстых был Э. Л. Гедговт). Неоднократно и позднее лечил Толстого и находился при нем в Астапове вплоть до последних минут. Автор ряда воспоминаний о Толстом.

³ 18 июня 1903 г. Л. Н. Толстой записал в дневнике: «...Разговор Никитина с Абрикосовым самый обычный. Люди не христиане осуждают — как Никитин поправил, недоумевают: почему люди, исповедующие христианство, не следуют ему вполне. Мы, мол, матерьялисты, если ставим себе идеал (они говорят: идеал) следуем ему. Но дело в том, что идеал есть только один христианский, состоящий в жизни для Бога, или по воле Бога, и человек, поставивший его себе, не может вполне следовать ему; люди же не христиане живут животной жизнью (она может выражаться и деланием добра людям, но только для своей выгоды), всегда последовательны, как последовательно всякое животное. Недоразумение это происходит от того, что люди не христиане не испытали того напряжения труда (царствие Божие силою берется), которое нужно для приближения к христианскому идеалу, и им кажется, что следование ему, также легко, как следование животной природе...» (ПСС, т. 54, с. 179).

⁴ Елизавета-Оттилия-Луиза (1843—1916) — королева румынская, писательница (псевдоним Кармен Сильва).

⁵ Толстая Александра Владимировна (1880—1967) — жена Михаила Львовича Толстого.

⁶ Франциск Ассизский (1182—1226) — основатель монашеского ордена нищенствующих братьев (францисканцев). 19 июня 1903 г. Толстой записал в дневнике: «Перечел Франциска Ассизского. Как хорошо, что он обращается к птицам как к братьям! А разговор его с frere leon о том, что есть радость?!» (ПСС, т. 54, с. 180). Толстой, вероятно, читал книгу П. Сабатье «Жизнь Франциска Ассизского» (изд. «Посредник», М., 1898).

⁷ А. Л. Толстая в 1902—1903 гг. часто страдала простудными заболеваниями, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В письме к М. Л. Оболенской от 1 апреля 1903 г. Л. Н. Толстой писал: «Скверная Саша все хворает и желудком и теперь еще кашляет» (ПСС, т. 74, с. 100).

⁸ Джеймс Крильман.

⁹ Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — близкий друг и единомышленник Л. Н. Толстого, издатель его сочинений.

¹⁰ Со временем отношение Александры Львовны к В. Г. Черткову резко изменилось. В конце 1913 г. она писала ему: «То отношение, которое было у меня после смерти отца моего, когда я в вагоне сказала тебе о том, что после отца считаю тебя самым близким человеком, исчезло. Не знаю, почему и как это сделалось, это сделалось так постепенно, что я перехода этого не могла уловить. Скажу только, что причиной этому было то, что на меня тяжело давила твоя настойчивость в делах, когда я только потому, что считала, что отец тебе поручил все, уступала в вещах, которые были против меня, а ты этого не замечал и делал по-своему.

Прибавилось к этому еще твое обличение меня в земельном вопросе, где ты говорил мне о том, что попираю заветы отца. И хотя на другой день ты, видя, что не убедил меня, сожалел об этом разговоре, разговор этот запал мне в душу. Мне было больно, и, страдая и мучаясь, я все же спрашивала себя, а он, какое он имеет право говорить мне о том, что я попираю заветы отца. Разве он давно не пограл их?» В письме от 10 января 1914 г. Александра предложила Черткову перейти с нею на «вы», добавив при этом: «Я это делаю не из-за какого-либо недоброжелательства к вам, а только потому, что мне кажется, что теперь мы не чувствуем друг к другу того доверия и уважения, какое было прежде...» (Александра Толстая. Каталог выставки. Тула, 2000. С. 21). Об отношении А. Л. Толстой к Черткову см. ее книгу «Дочь» (с. 224—225).

¹¹ Толстой Михаил Львович (1879—1944) — брат А. Л. Толстой. В июне 1903 г. гостил с семьей у родителей в Ясной Поляне.

¹² Толстая Марья Львовна (1871—1906) вышла замуж 2 июня 1897 г. за Н. Л. Оболенского. Толстая Татьяна Львовна (1864—1950) вышла замуж 14 ноября 1899 г. за М. С. Сухотина. Александра Львовна вспоминала: «Еще когда сестры не были замужем, я замечала, как мучительно страдал отец, когда кто-нибудь за ними ухаживал. Помимо воли, он ревниво следил за всеми их движениями, вслушивался в интонации голоса, ловя в них кокетливые нотки. Иногда он с трудом сохранял спокойную вежливость с молодыми людьми, иногда, наоборот, делался с ними преувеличенно любезным, как бы подчеркивая этим недопустимость малейшей близости с его дочерьми. Мне думается, в чувствах отца были и ревность, и боязнь потерять дочерей, а главное — боязнь нечистого. «Я сам был молод,— говорил он,— знаю, как отвратительно, мерзко бывает проявление страсти». Среди людей, подходящих к дочерям, он отцовским, мужским чутьем старался угадывать тех, у которых были дурные помыслы. Он мучился, волновался, видел опасность, где ее не было, и не замечал ее там, где она действительно была» («Дочь», с. 83—84).

¹³ Эразм Леопольдович Гедговт.

¹⁴ Марья Львовна и Николай Леонидович Оболенские должны были вернуться из заграничного путешествия.

¹⁵ А. Л. Толстая переписывала дневник отца (1840-х — 1850-х гг.) для П. И. Бирюкова, пишущего биографию Л. Н. Толстого.

¹⁶ Сухотина (урожд. Толстая) Татьяна Львовна — старшая сестра А. Л. Толстой.

¹⁷ Буланже Павел Александрович (1865—1925) — служащий Московско-курской железной дороги, сотрудник «Посредника», близкий знакомый Л. Н. Толстого. Особенно сблизился с семьей Толстых в Гаспре, во время болезни Льва Николаевича, за которым он помогал ухаживать с 30 января по 22 февраля 1902 г.

¹⁸ Александра Львовна была немного увлечена Э. Л. Гедговтом. Однако он не нравился отцу, поэтому Александра Львовна не допустила развития романа. В своей книге «Дочь» она дала такую характеристику Эразму Леопольдовичу: «Это был противоположный Никитину человек: развязный, шумливый, рассказывая о себе, любил прихвастнуть. С большими им обращался круто, покрикивая на них. Новый доктор был из тех, которых терпеть не могут мужчины и которые нравятся женщинам» (с. 93). Позднее от доктора Никитина Александра Львовна узнала, что Гедговт уехал на русско-японскую войну в качестве морского врача и там погиб («Дочь», с. 95).

¹⁹ Толстой Сергей Львович (1863—1947) — старший брат А. Л. Толстой.

²⁰ Толстая (рожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого. 1 июля 1903 г. она записала в дневнике: «Сегодня отвратительный разговор за обедом. Л. Н. с наивной усмешкой, при большом обществе, начал обычно бранить медицину и докторов. Мне было противно (теперь он здоров), но после Крыма и девяти докторов, которые так самоотверженно, умно, внимательно, бескорыстно восстановили его жизнь, нельзя порядочному и честному человеку относиться так к тому, что его спасло... Наш тяжелый разговор 1 июля 1903 года не есть случайность, а есть следствие той лжи и одиночества, в которых я жила» (С. А. Толстая. Дневники. Т. 2. 1901—1910. М., 1978, с. 93).

²¹ Спустя много лет Александра Львовна в книге «Отец» напишет: «Горе мое было в том, что я не жалела, я сердилась... А насколько было бы легче отцу, если бы мы, его близкие, жалела мать, могли «со смирением и любовью» отнестись к ней. «Только тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная». Я была слишком молода, чтобы это понять» (Александра Толстая. Отец. Жизнь Льва Толстого. В 2 т. М., 1989, т. 2, с. 458).

²² Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961) — пианист, профессор Московской консерватории. С 1 по 6 июля 1903 г. гостил в Ясной Поляне с женой Анной Алексеевной.

²³ В письме от 2 марта 1940 г. Александра Львовна писала сестре Татьяне: «Вот хочешь скажу тебе то, чего, может быть, никому не говорила никогда. Из меня могло что-то выйти. Но меня погубило то, что американцы называют: «minority complex». Я всегда думала, что я глупее, хуже, вреднее, грешнее всех. И никто мне никогда не сказал: «Саша, ты не глупее и не хуже людей». Теперь говорят, но я уже никому не верю, поздно думать иначе». (ОР ГМТ).

²⁴ Оболенская (урожд. Толстая) Марья Львовна. В книге «Отец» Александра Львовна, очень любившая сестру, писала: «Я ревновала... ко всем, за исключением Маши, кто помогал отцу...» («Отец», с. 407).

²⁵ Никитин Дмитрий Васильевич. Сестра Маша, так же как и отец, не одобряла поведения Александры по отношению к Никитину. Впоследствии Александра Львовна вспоминала: «Как пример необычайной, ничем неоправданной подозрительности отца можно привести случай с Дмитрием Васильевичем Никитиным. Никитин был серьезным человеком, с которым у меня никогда не было и тени флирта, но отец и для него не сделал исключения» («Дочь», с. 90).

²⁶ Абрикосов Х. Н.

²⁷ Стахович Александр Александрович (1830—1913) — орловский помещик, старый знакомый Л. Н. Толстого.

²⁸ Стахович Софья Александровна (Зося) (1862—1942) была очень дружна с семьей Толстых, помогала в переписке рукописей Л. Н. Толстого. С Александрой Львовной особенно сблизилась в 20-е гг. XX в.

²⁹ Александра Львовна писала в своих воспоминаниях: «Еще при жизни отца я увлекалась медициной. Изучала анатомию, физиологию. Вместе с доктором Никитиным... мы организовали амбулаторию в деревне и принимали больных крестьян не только из Ясной Поляны, но и со всей округи. Доктор Никитин многому меня научил. Исследуя больных, он читал мне целые лекции о той или иной болезни, учил меня делать перевязки, приготавливать мази, делать уколы...» («Дочь», с. 227).

³⁰ Толстой Андрей Львович (1877—1916) — брат А. Л. Толстой.

³¹ Толстой Сергей Николаевич (1826—1904) — брат Л. Н. Толстого.

³² Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — друг и биограф Л. Н. Толстого.

³³ Сухотина (в замужестве Оболенская) Наталия Михайловна (1882—1925) — дочь М. С. Сухотина. В юности Александра Львовна была очень дружна с ней.

*Вступительная статья, публикация
и примечания Н. А. КАЛИНИНОЙ*



«...равенство всех людей — аксиома»

В начале марта 1890 года Толстой получает письмо от известного философа Владимира Соловьева и профессора-лингвиста, переводчика Эмилия Диллона. Авторы письма сообщают, что правительство готовит «новые правила для евреев в России», — «этимися правилами у евреев отнимается почти всякая возможность существования даже в так называемой черте оседлости».

«В настоящее время всякий у нас, кто не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидами, — говорится далее в письме. — Вас это, конечно, не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли свой голос против этого безобразия... В какой форме сделать это обличение — вполне зависит от вас». Лев Николаевич волен написать «единолично», но можно подготовить и коллективный протест, если Толстой согласен поставить под ним свою подпись.

Толстой очень серьезно, с большим уважением относится к авторам письма. Владимир Сергеевич Соловьев — его давний собеседник, во многом серьезный оппонент, по важнейшим религиозно-нравственным и философским вопросам. Эмилий Михайлович Диллон, англичанин, живущий в России, — сторонник толстовского учения, а среди его переводов и «Крейцера соната».

Поднятая в письме тема тоже постоянно волнует, тревожит Толстого — тема равенства людей, всеобщей любви. «Только откидывайте то, что разделяет вас, и вы будете едины», — учит он. Неравенство евреев перед другими соотечественниками его возмущает: «Я против ограничения в школах, против черты оседлости. Весь народ, живущий на земле, имеет право жить там, где хочет. Почему нам можно жить в Ясной Поляне, а другим надо в Мамадыше? Я за уничтожение всех исключительных законов, касающихся евреев. Безобразия эти законны!»

И все же, прочитав письмо, он помечает на конверте: «Без ответа».

Эту свою первоначальную реакцию Толстой объяснит несколько позже в письме к Файвелоу Бенцеловичу Гецу, знакомому Соловьева, очень радевшему о подготовке и публикации протеста: «Я жалею о стеснениях, которым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми и жестокими, но и безумными, но предмет этот не занимает исключительно или предпочтительно перед другими моих чувств и мыслей. Есть много предметов, более волнующих меня, чем этот, и потому я бы не мог ничего написать об этом предмете такого, что тронуло бы людей».

Оценим совершенную искренность этих строк, ответственность, с которой относится Толстой к сделанному ему предложению. Сочувствия, желания помочь словом — недостаточно, только ощутив в себе способность «глаголом жечь сердца людей», имеешь право взяться за перо.

И все же, несмотря на помету на конверте, письмо Соловьева и Диллона без ответа не остается. Постоянное стремление Толстого к добру и справедливости пересиливает прежний ход мысли.

Ответ пишется 15 марта 1890-го (в тот же день в дневнике: «Да, можно победить мир любовью»):

«Очень благодарю вас, Владимир Сергеевич и г-н Диллон, за то, что вы предлагаете мне и даете случай участвовать в добром деле.

Я всей душой буду рад участвовать в этом деле и вперед знаю, что если вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что вы думаете об этом предмете, то вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же — создание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан. Вам это естественно написать, потому что вы знаете, что именно угрожает евреям и что говорят об этом. Я же не могу себе приказать писать на заданную тему, а побуждения — нет.

Помогай вам Бог в добром деле».

Высокая оценка суждений Владимира Соловьева по еврейскому вопросу, система доказательств, которую воспроизводит Лев Николаевич, говоря об общей для них

обоих «основе *нашего* отвращения», — менее всего (столь не свойственная Толстому вообще) вежливая отговорка. Размышления Соловьева о еврействе, об отношении еврейства и христианства широко известны и очень существенны. О них можно спорить (о них и спорят) — неоспоримо высказанное в его трудах убеждение в мировом значении еврейства как в прошлом, так и в будущем.

Теоретические положения о роли еврейства и иудаизма в духовной истории человечества и вместе живое, горячее сочувствие российским евреям, унижаемым неравенством и неприязнью, принесли русскому философу даже обвинения в «еврейском национализме».

Получив ответ Толстого, Владимир Соловьев сам пишет протест — его решение теперь сделать коллективным.

Толстой первый ставит под ним свою подпись.

Столь весомый почин приносит хорошие результаты: в течение нескольких месяцев под протестом удается собрать пятьдесят подписей выдающихся русских ученых и литературных деятелей, примерно еще столько же, если не больше, согласны подписать его. Но — поднимают шум антисемитские газеты: готовится коллективное выступление против правительства. «Верхи» тотчас реагируют на донос. Министр внутренних дел своим циркуляром строжайше запрещает публиковать какие-либо заявления, касающиеся положения евреев. Протест остается непечатанным. (Позже он появится лишь в лондонской «Times» без подписей.)

Узнав от Геца о сложившихся обстоятельствах, Толстой спешит высказать ему слово сочувствия и утешения:

«Очень сожалею, любезный Файвель Бенцелович, что запрещение помешало протесту быть напечатанным. Может быть, он дождется лучших времен и к тому времени еще разрастется подписями».

И — то же сочувствие народу и слово утешения собеседнику, по духу совершенно толстовское, в заключительных строках письма:

«Желаю вам всего хорошего, а главное освобождения, или, скорее, превозможения сознания обиды, которую терпит ваш народ. Это сознание должно быть очень мучительно и отравляет жизнь. Я думаю, что можно превозмочь это чувство — прощением и любовью к врагам, и от всей души желаю вам этого».

В переписке Толстого с Гецом речь идет не только о протесте и его публикации.

Публицист и педагог Файвель-Меер Бенцелович Гец, человек неординарно образованный, корреспондент русских, немецких, иных европейских газет и журналов, живет в Вильне, числясь между прочим и в должности «ученого еврея при губернаторе». Его перу принадлежат многие труды по вопросам еврейской религии, нравственности, философии. В мае 1890 года он приезжает в Ясную Поляну познакомиться с Толстым, привозит ему свои книги: «О характере и значении еврейской этики», «Религиозный вопрос у русских евреев», «Что такое еврейство» и некоторые сочинения других авторов. Лев Николаевич как раз в эти дни гостит у брата, в его имени, и там сильно заболевает (пишет Гецу: «Очень, очень жалею, что моя болезнь сделала вам столько хлопот и лишила меня случая познакомиться с вами»). Но книги, доставленные Гецом, просит ему переслать и тотчас знакомится с ними.

Чтение побуждает его обратиться к автору с письмом, в котором он рассказывает и о том, что вывел, размышляя над полученными книгами:

«Думаю я об еврейском вопросе то, в чем еще больше подтвердило меня чтение ваших статей об еврейской этике, что нравственное учение евреев и практика их жизни стоят без сравнения выше нравственного учения и практики жизни нашего quasi-христианского общества, признающего из христианского учения только выдуманые богословами теории покаяния и искупления, освобождающие их от всяких нравственных обязанностей, и что поэтому еврейство, держащееся нравственных основ, которые оно исповедует, во всем, что составляет цели стремлений нашего общества, берет верх над quasi-христианскими людьми, не имеющими никаких нравственных основ, и что от этого происходят зависть, ненависть и гонения».

Гец, отвечая Толстому, считает необходимым уточнить: конечно же, не все евреи в состоянии построить свою внешнюю и внутреннюю жизнь в соответствии самым высшим требованиям еврейской этики, для большинства они являются лишь предметом изучения, религиозного устремления, но среди евреев есть и такие, кто в своих деяниях и помыслах неустанно стремится осуществлять их.

Это уточнение очень дорого Толстому. Оно подтверждает его убежденность в равенстве людей и вместе соответствует важнейшей для его учения мысли о необходимости постоянного совершенствования, движения к недостижимому идеалу.

«Вы вполне ответили или скорее объяснили мне мою ошибку о степени высоты требований еврейской этики, указав на различие того, что требуется от всех, и того идеала совершенства, который представляется тем, которые в силах идти к нему. Я составил мое мнение тогда преимущественно по вашей же книге об еврейской этике и очень рад был разубедиться в этом».

Рад потому, что для меня равенство всех людей — аксиома, без которой я не мог бы мыслить. То, что заложено в сердце одного человека, лежит и в сознании всякого другого, и то, что лежит в сознании одного народа, то лежит и в сознании всякого другого».

«И потому, — заканчивает свое рассуждение Толстой, — я теоретически признавал всегда то, что вся высота христианского учения доступна всякому народу, тем более еврейскому, из которого оно вышло».

Чтобы точно осмыслить сказанное, следует не позабыть, что в понятие «христианское учение» он вкладывает менее всего религиозно-догматическое содержание, тем более не церковное, а прежде и более всего этическое, за что беспощадно и непримиримо критикуется адептами православия. Отвечая на определение Синода об отлучении его от церкви, Толстой напишет, что полюбил христианство более своей церкви, истину же любит более всего на свете: «И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю» (курсив мой. — В. П.).

Лев Николаевич полагает, что одна из причин, мешающая признанию евреями христианского учения, в «той исключительной, той особенной миссии, которую приписывают себе евреи». Он вовсе не опровергает самой по себе возможности такой миссии, но убежден, что ни отдельный человек, ни целый народ не должны задумываться над своим призванием: нужно исполнять то, что требует от тебя жизнь, — «призвание же определяется после смерти».

В этих раздумьях отразилась и та внутренняя борьба, которую великий писатель и учитель жизни ведет с самим собой: с одной стороны, его духовные искания, его душевная потребность зовут Толстого раствориться в «общей жизни», стать «слугой нищим», «ником» во мнении людском, с другой — неодолимое стремление откликаться на все происходящее вокруг, убежденности в необходимости для других его отклика: «я пришел огонь свести на землю», «мир рухнет, если я остановлюсь».

Но вряд ли вызовет упрек утверждение Толстого, что ни один народ не должен в размышлении о своей миссии обособляться от других народов: обособляющее себя еврейство так же «противно», как обособляющееся англо-саксонство, германство, славянство («в особенности мне славянство», — прибавляет Толстой).

Это письмо переключается с другим, очень значимым, которое Толстой напишет Гецу несколькими годами позже. В нем он отвечает на изданную анонимно брошюру Геца «Открытое письмо к графу Л. Н. Толстому» и на комментарий к ней, развернутый автором в послании, уже не «открытом», а обыкновенном, почтовом, где сформулированы основные положения брошюры.

Главный ее тезис, как передает его Толстой, — старание доказать, «что всё, что мы видим в христианстве, всё это уже есть в еврействе». Гец как бы ставит знак тождества между двумя религиями, а затем, рассматривая толстовское учение, опирающееся на евангельские тексты (очищенные Толстым, как сам он полагал, от позднейших искажений и неправильных толкований), приходит к выводу, что оно по сути своей является своего рода иудаизмом.

Толстой ничуть не против такого наименования: «Пусть это будет новое еврейство, очищенный истолкованный Талмуд, а церковное христианство будет называться новым язычеством, каким я и считаю его, но для того, чтобы назвать это жизнепонимание, которое мне дорого и которым я живу, новым еврейством или Талмудом, мне нужно, чтобы я нашел это жизнепонимание ясно и стройно выраженным в еврейской книге». К сожалению, работа Геца предлагает взамен лишь набор определенных образом скомпонованных цитат.

Да, Толстой убежден, что есть только один, общий у всех нас Бог: «...для того, чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу». Он убежден в совпадении нравственных начал у истинного верующего иудея и такого же верующего христианина. Более того, он убежден, как мы видели, в том, что христианское учение «вышло» из еврейского. Но «вышло» не означает — *тождественно*: беспристрастный судья не может не увидеть, «что центр тяжести того и другого учения иной». Если христианство не содержит ничего нового сравнительно с еврейством, «то вся восемнадцативековая жизнь христианства была бы смешным недоразумением». Толстой мечтает о братстве людей и единении религий. Религия для того и явилась, «чтобы осветить ту связь, которая соединяет всех людей, как братьев, имеющих один общий источник происхождения, одну общую задачу жизни и одну общую конечную цель» («Путь жизни»). Но соединение религий — дело будущего, и каждое из верующих, иудаизм и христианство, предполагает разную основу этого единения.

Это письмо, в котором Лев Николаевич выявляет свои разногласия с адресатом, он заканчивает словами: «Если я ошибаюсь, простите мне».

Переписка с Ф. Б. Гецом, чтение его книг сосредоточивают мысль Толстого на исследованиях и осмыслении духовной жизни евреев, ее религиозных и нравственных начал.

В жизни Льва Николаевича уже было время такого повышенного, по-своему даже исключительного интереса к еврейству. Восемью годами раньше, осенью 1882-го (ему уже исполнилось 54!), он для лучшего уяснения Священного Писания берет-ся за изучение древнееврейского языка.

Уроки языка он берет у московского раввина Соломона Алексеевича Минора, известного своим умом и образованностью. Толстой, едва познакомившись с ним, характеризует его в письме к жене «очень умным человеком». Это впечатление не изменилось и позже, разве что усилилось: несколько недель спустя он сообщает близкому человеку: «Все это время я очень пристально занимался еврейским языком и

выучил его почти, читаю уж и понимаю. Учит меня раввин здешний Минор, очень хороший и умный человек. Я очень многое узнал благодаря этим занятиям».

Обратим внимание на это — «очень пристально». В те же дни Софья Андреевна, не разделявшая увлечения мужа религиозно-нравственными вопросами («конец его литературной деятельности»), сообщает сестре: «Левочка — увы! — направил все свои силы на изучение еврейского языка, и ничего его больше не занимает и не интересует».

Рассказ С. А. Минора записан немецким ученым-славистом Рафаилом Лёвенфельдом, одним из первых биографов Толстого, исследователей его творчества и мирозерцания (он, между прочим, основатель и идеолог Центрального союза немецких граждан иудейского вероисповедания).

Толстой «с большой энергией взялся за работу... — вспоминает Минор. — Он схватывал все необыкновенно быстро, но читал только то, что ему было нужно: то же, что его не интересовало, он пропускал. Мы начали с первых слов Библии и дошли с такого рода пропусками до Исаии. Здесь обучение прекратилось. Грамматикой языка он занимался только постольку, поскольку это казалось ему необходимо.

Он знает также и Талмуд. В своем бурном стремлении к истине он почти за каждым уроком спрашивал меня о нравственных воззрениях Талмуда и толковании талмудистами еврейских легенд. Кроме того, он черпал свои сведения из написанной на русском языке книги «Мировоззрение талмудистов», изданной петербургским обществом для поднятия образования среди евреев (С. И. Фин и Х. Л. Каценеленбоген. Мировоззрение талмудистов. Тт. 1—3. СПб., 1874, 1876. Книга с многочисленными пометками Толстого сохранилась в яснополянской библиотеке. — В. П.).

Около получаса мы работали как учитель и ученик. Один раз в неделю я ездил к графу, другой раз он приходил ко мне. Через полчаса обучение превращалось в разговор. Я отвечал ему на все вопросы, которые занимали его. Однажды мы пришли к его пониманию существования мира любовью. «Об этом, — сказал он, — нет ни одного слова в Библии». Я указал ему на третий стих псалма 89-го, который я перевел ему так: «Мир существует любовью». Он был очень удивлен таким пониманием известного места».

П. И. Бирюков, друг и биограф Толстого, приводит также свидетельство сына раввина, Лазаря Соломоновича Минора, — в молодости он оказался свидетелем этих замечательных уроков: «Он помнил споры отца со Львом Николаевичем о том или другом понимании еврейского текста. Он помнил также удивление его отца, когда после немногочисленных уроков Лев Николаевич стал настолько хорошо читать и понимать прочитанное и с такой проницательностью вдумываться в смысл текста, что иногда в спорах с ним ученый раввин должен был соглашаться с мнением своего ученика».

Нелишне заметить, что Толстой через два года после этих занятий предпринимает усилия, чтобы помочь Лазарю Соломоновичу Минору, имевшему медицинское образование, получить мало доступное для еврея звание приват-доцента в Московском университете (Л. С. Минор станет известнейшим российским невропатологом). В письмах к своим друзьям, философу и критику Н. Н. Страхову, критику, искусствоведу В. В. Стасову, он просит о содействии, называя раввина Минора своим другом. И много лет спустя, в 1909-м, вспомнив о Миноре, уже ушедшем из жизни, Лев Николаевич прибавит, что он был очень лый человек и очень близкий ему по взглядам.

Но возвратимся к Гецу. Отношения с ним Льва Николаевича не прекратятся до самой смерти писателя.

В последние свои годы (1909—1910) Толстой задумает издание сборника изречений из Талмуда. Он уже не раз вчитывался в эту книгу. Взятые из нее суждения, по мнению Толстого, содержащие глубокую истину и поучительные, найдет в сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день», над которым писатель работал очень любовно и внимательно.

Осенью 1909 года Лейба Меерович Гордин, ученый раввин из Сморгони, присылает писателю свою книгу «Что такое Талмуд» (Вильно, 1909) и просит Льва Николаевича «последовательно ее прочесть». На конверте Толстой помечает: «Найти книгу и написать просьбу о составлении изречений из Талмуда».

Спустя три недели в Ясную Поляну приезжает Иван Иванович Горбунов-Посадов, единомышленник Толстого, редактор основанного им издательства «Посредник». Он привозит только что вышедшую в «Посреднике» книгу «Изречения Магомета» (перевод с английского) и обсуждает с Львом Николаевичем возможности издания серии книг для народа о религии мира. Толстой тотчас вспоминает пришедшее недавно письмо сморгонского раввина и просит Горбунова-Посадова подготовить ответ и предложить Л. М. Гордину подобрать изречения из еврейских писаний. От себя прибавляет: «К письму моего друга Ив. Ив. Горбунова присоединяю и свою просьбу о том же. Посылаю вам, между прочим, и составленную мной книгу: «Мысли мудрых людей», в которой немало изречений из Талмуда... Нет ли также уже выбранных из Библии и Пророков общего религиозно-нравственного содержания мыслей?»

Получив письмо Толстого, Гордин указывает некоторые необходимые источники и берется, если нужно, перевести из Талмуда «отборные изречения».

«Очень буду благодарен вам, если вы будете так добры, что сообщите мне отборные изречения из тех книг, о которых вы упоминаете, — откликается Лев Николаевич. — Благодарны будут вам не только я, но, что гораздо важнее, миллионы чи-

тателей, которым посредством дешевого издания книги, содержащей эти изречения, станет доступна религиозная мудрость древних учителей еврейского народа».

Узнав о переписке Толстого с Гординым и о готовящемся сборнике, Гец спешит предложить и свою помощь. Он, по веселому слову Льва Николаевича, «наводняет» его книгами о Талмуде — «и, кажется, хорошими».

К сожалению, задуманное предприятие не состоится. Немало ценного из Талмуда уже прежде взято Толстым в свои издания, а на просмотр обширной литературы, ее осмысление, выбор и распределение текстов не останется времени — год уже 1910-й...

Много раньше, подготавливая к печати немецкий перевод статьи Владимира Соловьева «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем», Ф. Б. Гец просит у Льва Николаевича разрешения приложить к статье свою с ним переписку. Ответ Толстого замечателен:

«Очень бы желал быть вам чем-нибудь полезным и потому очень рад тому, что письма мои могут вам пригодиться. Печатайте их где и как хотите. Жалею только о том, что не могу более сильно и внушительно выразить мое отвращение к приему, употребляемому русским правительством по отношению к евреям, и мое недоумевающее удивление перед той глупостью и нецелесообразностью приемов, отставших на несколько веков от своего времени...»

В апреле 1903 года российское еврейство потрясено страшным кишиневским погромом (он продолжался с 6-го по 8 апреля). Ужас и боль евреев разделяют честные, не зараженные чумой антисемитизма русские люди, прежде всего подлинная российская интеллигенция. Взгляды, мысли, сердца многих россиян тянутся в эти дни к точке, не отмеченной «на карте генеральной», к Ясной Поляне, — что Лев Толстой скажет? Уже привыкли, что Лев Толстой произносит вслух то, чему в каждом из нас ищет выражение встревоженная, болящая совесть. (Чехов: «Вот умрет Толстой — и всё пойдет к черту!») Кое-кто просит, требует, торопит Толстого: скажите же!

27 апреля 1903-го Лев Николаевич отвечает на такое письмо-требование Эммануила Григорьевича Линецкого, зубного врача из Елисаветграда:

«Мне кажется, что в этих обращениях ко мне есть какое-то недоразумение. Предполагается, что мой голос имеет вес, и поэтому от меня требуют высказывания моего мнения о таком важном и сложном по своим причинам событии, как злодейство, совершенное в Кишиневе... От меня требуется деятельность публициста, тогда как я человек, весь занятый одним очень определенным вопросом... именно, вопросом религиозным и его приложением к жизни... Отзывать на все современные, хотя бы и очень важные события, как это делают публицисты, я никак не могу, если бы даже считал это нужным...»

Но дальше оказывается, что «отношение к евреям и ужасному кишиневскому событию» прямо связано с теми нравственными началами, которые и составляют религиозное учение Толстого: оно, это отношение, «казалось бы, должно быть ясно всем тем, кто интересовался моим мировоззрением».

«Отношение мое к евреям, — продолжает Толстой, — не может быть иным, как отношение к братьям, которых я люблю не за то, что они евреи, а за то, что мы и они, как и все люди, сыны одного Отца — Бога...»

Отношение же мое к кишиневскому преступлению тоже само собой определяется моим религиозным мировоззрением... Я по первому газетному сообщению понял весь ужас совершившегося и испытал тяжелое смешанное чувство жалости к невиновным жертвам толпы, недоумения перед озверением этих людей, будто бы христиан, чувство отвращения и омерзения к тем так называемым образованным людям, которые возбуждали толпу и сочувствовали ее делам, и, главное, ужаса перед настоящим виновником всего, нашим правительством с своим одуряющим и фантазирующим людей духовенством и с своей разбойнической шайкой чиновников».

Толстой в соответствии со своим учением призывает евреев отвечать на насилие правительства не насилием, «а доброй жизнью, исключаяющей не только всякое насилие над ближним, но и участие в насилии и пользование для своих выгод орудиями насилия, учрежденными правительством».

Этот ответ Толстой направляет еще нескольким корреспондентам (между ними Давид Соломонович Шор, московский пианист, которого любил слушать Лев Николаевич).

Итак, слово как будто сказано в частном послании, а газетные полосы он оставляет публицистам.

В одном из своих народных рассказов Толстой писал: «Покорись беде, и беда покорится». Герой рассказа в ответ на творимое зло пашет поле и поет «тонким голосом». Но великий пахарь Толстой не умеет пахать для себя только и петь тонким голосом не умеет.

Он видит себя стоящим на площадке паровоза: поезд идет под уклон, он знает это, ужасается, а пассажиры в вагонах ни о чем не ведают, они ужаснутся, когда совершится крушение.

В письме о кишиневском погроме из-под пера Толстого пять раз вырывается это слово — «ужас», «ужасный». В письме всё уже определено: и суть совершившегося в Кишиневе, и отношение к этому соответственно его, толстовским, религиоз-

ным, то есть прежде всего нравственным представлениям, и потребность во всю силу голоса высказать это людям. Нужен лишь импульс, чтобы преодолеть неприятное для него, Толстого, ощущение от деятельности публициста, искра нужна, чтобы вспламенить всё, что накопилось в душе, в мыслях, тревожит, болит, не дает покоя.

В тот же день, 27 апреля, Толстой возвращается еще к одному ждущему ответа письму о событиях в Кишиневе. Профессор Николай Ильич Стороженко, известный исследователь западноевропейской литературы, просит подписать прилагаемую коллективную телеграмму кишиневскому городскому голове по поводу погрома.

Толстой готов подписать, но теперь, когда у него нашлись свои слова, чтобы обозначить отношение ко всему, что произошло, предложенный текст телеграммы представляется ему недостаточно полным и точным. Он начинает вносить исправления, в итоге предлагает собственную редакцию:

«Милостивый государь, глубоко потрясенные совершенным недавно в Кишиневе злодеянием, мы выражаем наше болезненное сострадание невинным жертвам злодейства толпы, наш ужас перед этими зверствами русских людей, невыразимое омерзение и отвращение к подготовителям и подстрекателям толпы и безмерное негодование против попустителей этого ужасного дела».

Через несколько дней профессор Стороженко уведомляет Толстого, что его редакция «настолько лучше и обстоятельнее» прежней, что решено отправить, ничего в нем не меняя, текст, предложенный Толстым.

И снова Лев Толстой первый ставит свою подпись.

Того же 27 апреля 1903-го, ничего еще не зная о коллективном выражении сострадания и негодования, в Ясную Поляну пишет Соломон Наумович Рабинович — Шолом-Алейхем. Он задумал издать литературный сборник в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома, и просит Льва Николаевича участвовать в нем.

Толстой отзывается тотчас:

«Ужасное совершенное в Кишиневе злодеяние болезненно поразило меня. Я выразил отчасти мое отношение к этому делу в письме к знакомому еврею, копию с которого прилагаю. На днях мы из Москвы послали коллективное письмо кишиневскому голове, выражающее наши чувства по поводу этого ужасного дела. Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать что-либо соответствующее обстоятельствам. К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселается в некоторой малой части — и не народной — русского населения, — одно правительство, к сожалению, этого-то я не могу сказать в русском легальном издании».

Для сборника Толстой намечает сразу несколько сочинений.

Одно из них — большинству из нас знакомый еще со школьных лет рассказ «После бала». Видимо, писатель находит тему рассказа вполне «соответствующей обстоятельствам»: бесправный солдат-татарин, которого прогоняют сквозь строй и забивают палками до смерти, — и жестокий, благопристойный на вид полковник, от имени правительства совершающий убийство.

Но работа над рассказом затягивается (рассказ так и не получит окончательной редакции и при жизни Толстого опубликован не будет), дело между тем не ждет, и Толстой понимает это. Одновременно с рассказом он пишет три сказки — «Ассирийский царь Асархадон», «Труд, смерть и болезнь» и «Три вопроса». Они завершены в августе, переведены Шолом-Алейхемом на идиш и напечатаны в сборнике «Гилф», увидевшем свет в Варшаве (напомню: тогда — Россия) осенью 1903 года.

Не излагаю содержание сказок. Все три сказки — нравоучительные, и смысл каждой из них, конечно же, сопрягается в замысле писателя, как и в восприятии читателя, с ужасным событием, ставшим причиной издания сборника.

Жестокий царь, который однажды сам может оказаться жертвой бессмысленной и беспощадной жестокости.

Любовное общение людей между собою, без которого никакие силы на земле не способны принести людям счастье.

Наконец, три вопроса — ответ на них открывает человеку смысл жизни.

Вопросы эти такие: какое время самое важное, какой человек самый важный и какое самое важное дело? В конце сказки становится известно, «что самое важное время одно: *сейчас*, а самое важное оно потому, что в нем одном мы властны над собой; а самый нужный человек *тот, с кем сейчас сошелся*, потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком; а самое важное дело — *ему добро сделать*, потому что только для этого послан человек в жизнь».

Можно много больше написать об отношении Толстого к евреям, можно, наверное, и еще немало узнать об этом. Но в жизни Льва Николаевича Толстого наступало иной раз такое время, когда самым важным делом для него было сделать евреям добро. И он всегда спешил это добро сделать.

За пленой дождя

Утро столь плотное и сырое, что двери не распахнуть, не восстановить нервный ритм ночной прогулки с минутами озарения: все так. По истонченным, в конце убегающим вдоль пруда огням вдруг узнаешь нить судьбы. И пешеход, едва заметный за дождевой завесой, растворяется в напряженных постсоветских пространствах, мирно выцветает на солнце. Карандашная зарисовка Андрея Дмитриева висит у меня на стене, рядом с компьютером. Эта работа принадлежит не известному прозаику, а поэту, всерьез ушедшему в бизнес, и потому напрочь забывшему о минувших увлечениях.

Выпускник Литературного института Андрей Дмитриев в 80-е годы входил в группу «Список действующих лиц» (вместе с погибшим литературным обозревателем газеты «Коммерсантъ» Михаилом Новиковым, Иваном Ахметьевым, Михаилом Файнерманом, Мариной Андриановой и автором этих строк). Герой дмитриевских стихов, бородатенький, по-моему, очень удачно выражал смутные переживания и самочувствие тех, кому сейчас около сорока с хвостиком, а тогда, естественно, было совсем ничего. Бородатенький жил «на границах», существовал в смутном, призрачном, развоплощенном пространстве. Он словно летал на качелях между мифом и миром, правдой и вымыслом. Кухонные разговоры и телепрограмма «Время», «застойные» командировки на Чукотку и изысканные культурологические блюда с постструктуралистской приправой, субботники и планерки незаметно сменяли друг друга, обозначая никак не складывающуюся жизнь. То есть жизнь, конечно, была. И на такси, как верно напомнил нам в «Деревенских дневниках» Вячеслав Пьецух, из одного конца первопрестольной в другой за трешку возили. И добряки-милиционеры на дежурство в кобуре обед прихватывали. И пиво, как водится, рекой текло. Но экзистенциальная пустота всего происходящего обесмысливала всю эту, казалось бы, такую уютную, жизнь.

Советский магический кристалл, похоже, притягивает к себе не только тех, кто с дионисийским упоением торгует газетой «Завтра» у похожего на дворец большого красного красного дома, но и либералов. Им (либералам) недоступна и, вероятно, неведома жизнь «на границах». Всегда включенные в конкретные общественные проблемы, они делали (и делают) свое дело. И очень хорошо. Но многое для них так и осталось за скобками. В частности, мертвящий опыт существования в размытой реальности, куда ни за какие деньги не захочешь вернуться.

Сегодня, когда беспамятство становится одним из истоков современной мысли (о чем красноречиво свидетельствует теория Фоменко), тексты бородатенького достаточно актуальны. Они вольно или невольно обращают читателя к поиску ценностной шкалы. Ведь, несмотря на все жесты и экивоки постмодерна, нам никуда не уйти от таких категорий, как смысл и ценность. История неумолимо идет вперед, и это движение происходит в контексте противостояния добра и зла, какие бы хитроумные софизмы не скрывали разницу между ними.

К сожалению, на эти тексты в свое время критики обратили мало внимания — слишком кратким оказался исторический срок «человека на границах», до него дело так и не дошло. Социальные катаклизмы, распад СССР и последовавшая после этого свистопляска вроде бы сняли саму проблематику. Но в эпоху путинского неоконсерватизма она снова напомнила о себе. Поэтому есть прямой резон и нам вспомнить о бородатеньком.

Опыт бородатенького изящно описал в своих рассказах Михаил Новиков. Особо в «Фидлере». Прозаик поселил Фидлера в заставленной антиквариатом квартире в джунглях новостроек. Изредка сюда заглядывали приятели. Иногда появлялись женщины и мило устраивались на диване, как плюшевые игрушки. А сам герой пропускал поезда — один за другим. Это стало его привычкой.

Фидлерианские мотивы у Новикова звучали недолго. В 90-е годы изысканная постнабоковская лирическая традиция решительно переплелась со стилистикой эстетизированного трэша. А жесты на грани фола — артикуляция неврозов, сексуальных фантазий и проблем в отношениях с миром — вытеснили нашего «человека на границах» из текста.

Однако интуиция бородатенького спорадически напоминает о себе в самых разных контекстах. Например, в рассказах Алексея Михеева, напечатанных в журнале книжных новинок «Библио-Глобус» (№ 3 за 2001 год). Обэриутская игра и веселая языковая походка соседствуют в них с холодком отчужденности. Герои присутствуют и одновременно отсутствуют, живут и вроде не живут, лишь совершают/не совершают жесты. Они то, как Р., не обращающая внимания на исторические катаклизмы, сидят на бульваре и кормят голубей. То, как П., доказавший в седьмом классе теорему Ферма, занимается какой-то мурой, вроде диссертации на тему «Об одном методе оптимизации параметров функции Опельянца-Козлова», и так и не решаются обнародовать свое открытие. То, как О., умело удерживают командные позиции в фирме, оставаясь, впрочем, равнодушными к службе и к сослуживцам. Дистанция по отношению к реальности, разная мера погруженности в нее идет у Михеева оттуда, из достопамятных брежневских времен.

Интересно, что в рассказах Евгения Шкловского (успешного во время оно литературного критика) этих коллизий с реальностью в принципе не возникает, хотя и по возрасту, и по мироощущению Шкловский близок Михееву. В сборнике «Та страна» (М., «НЛО», 2000) немало музыкальных зарисовок и тонких наблюдений, но они ни в коей мере не ставят под сомнение самодостаточность исчезающего за пеленой дождя человека.

К чему это я? Кирилл Анкудинов в эссе «Сдвиг» («Октябрь», 2001, № 2) четко подметил значение так называемой «учительской литературы» (окультизм, рерихианская и т. п.) для современного читателя. Эта литература, нередко маскирующаяся под беллетристику и философию (Ник. Перунов здесь делит лавры с дьяконом Андреем Кураевым), конструирует современные мифы. В этом ей помогают мистический триллер, фэнтези, «крутой» детектив. К литературному мифотворчеству подключается и публицистика, транслирующая политические мифы.

Видимо, наше сознание устроено так, что без мифопоэтического языка оно обойтись не может. Порой этот язык может маскироваться под научность и объективность, это дело не меняет. Миф, как добрая медсестра и опытный муж, стали вечными спутниками человека. Конечно, мы можем попробовать взглянуть на свою ментальность немного со стороны, постараться вслед за учеными мужами препарировать мифы, как сделал это, например, в эссе «Табулатура» Владимир Березин («Октябрь», 2001, № 2). Но такой филологический подход уведет нас слишком далеко от жизнестроительных задач. (Хотя, конечно, сравнить представления разных народов в разные времена очень интересно. Меня в свое время потрясла логика одного китайского текста: оказывается, горе не от ума, а от любви. А текст вот о чем. Жили себе не тужили два юных супруга. Поженились они по воле родителей и ни о чем таком возвышенном не думали. И тут неожиданно супруг открыл для себя, что женушка и ласкова, и готовить умеет, и танцевать. И влюбился в супругу по уши, да так, что и о службе забыл, и о хозяйстве. И понеслось у них все в тартарары.)

Понятие «миф» имеет множество дефиниций. В березинской трактовке он ближе к сказке. Но мы знаем, что миф является собой и память того, что когда-то открылось. Мы помним, что мифом может быть любая вербальная структура. Советский космос выстраивал миф по крайней мере именно так. Большинство бывших, пардон, советских, людей проходило через крушение иллюзий. Они словно катапультировались из одного мифологического пространства в другое (не всегда однозначно лучшее). Но некоторым из них, прежде чем оказаться в новом месте, пришлось долго качаться на качелях между мифом и миром. Брести, как бородатенький, в дождливой, размытой реальности. Опыт этого путешествия кое-что прояснил в его сознании. Да и не только в его.

Тексты бородатенького (думаю, такие произведения при желании можно выделить у многих авторов) отсылают нас к феноменам культурного сознания позднего советского человека. Конечно, они несколько витиеваты, конкретистски наивны, в них много игры слов, повествовательного движения воздуха. Но не только: они буквально заряжены жизнестроительными энергиями, желанием вырваться в область смысла. Отказ от харизматической роли поэта («граждане, послушайте меня» — Евтушенко) привел в случае с бородатеньким к ее реанимации в виде «работы с сознанием» от чердака до подвала. Бородатенький прошел сквозь огонь, воды и, что немаловажно, мифы. И вышел, как это ни банально звучит, к реальности, где зло противостоит добру. Пришел к осознанию того, что по ту сторону речи, за игрой масок и имиджей, существует просто человек с его наивными вопросами — кто я? откуда пришел? зачем? Мифы и наши трогательные романы с ними ни в коем случае не должны уводить за скобки эти вечные вопросы и наши попытки ответа на них.

Детям до восемнадцати

К скандальной книге Баяна Шириянова «Низший пилотаж» прилагается целомудренная бумажка «Не рекомендуется к продаже лицам, не достигшим 18 лет». Напугали ежа голой частью тела. Вероятно, эта карточка служит издательству «Ad Marginem» некоторой отмазкой от насторожившихся властей и от возможного судебного иска. Однако никакой практической роли она не играет: уличный книжный торговец, сварившийся в бензиновой жаре и озабоченный выручкой, вряд ли станет спрашивать у лиц, допустим, паспорт. Это вам не старорежимная билетерша, морщинистая Мальвина в подсиненных седеньких кудряшках и с золотым поношенным зубиком во рту, что не пускала нас на «Клеопатру» с такой решимостью, будто отстаивала собственную честь. Так что как мера бумажка бесполезна. И, собственно, книга нацелена на подростков в возрасте от двенадцати до тридцати пяти. Именно они ее купят и более того — прочтут.

Некоторое время назад литературные умы задавались вопросом: можно или не можно употреблять в художественном тексте ненормативную лексику. Сейчас дискуссия представляется явлением того же качества, что и школьные диспуты шестидесятых-семидесятых о дружбе и любви. Каждый писатель распоряжается маргинальным лексическим пластом в зависимости от собственного таланта и от уровня задач, которые этот талант позволяет ставить. Мат как таковой, как знак причастности к запретному опыту и собственной крутости, остро волнует именно подростков. И еще «училок», которые убежденно борются с подростками и представляют собой хорошо очерченный тип, принадлежность к которому не обязательно совпадает с работой в системе народного образования. Можно сказать, что ненормативная лексика есть пространство для столкновения амбиций «училок» и хулиганов. Существуют, правда, раритетные персонажи, которые воспринимают матюги как нечто, задевающее их лично. Воспринимают, можно сказать, буквально. Они же, бывает, чувствуют присутствие в окружающей среде воров, коррупционеров и прочих деловых господ как прямое себе оскорбление. Такие не выживают: дворянских гнезд для них не предусмотрено.

Книга Баяна Шириянова не просто содержит ненормативность — она буквально написана словами, производными от нескольких корней и заменяющими все части речи, особенно глаголы. Перед нами текст на подкладке из бесконечных актов всего со всем; мужские и женские органы — элементарные частицы этого дивного мира. Мотивировка как будто присутствует. Во-первых, все герои книги, включая героя-рассказчика, говорят и думают именно этим языком. При этом никакие литературные намерения автора не просматриваются: нет ни дозировки, ни стилизации, а есть одна натура, в натуральную, естественно, величину. Во-вторых, событийный ряд наполовину состоит из *этого* — и не сказать, чтобы из секса, потому что действия персонажей примитивней, чем человеческий секс. Однако мотивировка мотивировкой, а подростковая озабоченность найдет в «Низшем пилотаже» много себе созвучного и даже в какой-то степени лестного. Все равно, как ни понижай статус литературы и материала, в нее включенного, инфантильная душа воспринимает героя текста именно как Героя. Пусть по сюжету он в грязи, как свинья, но сам факт, что писатель про него написал и напечатал в книжке, поднимает его в глазах инфантила над скучной обыденностью. Эротические гиперфантазии, описанные Баяном Ширияновым, легализуют соот-

ветствующие переживания прыщавых юношей — и не оставляют им, собственно, ничего интимного.

Но низший сексуальный пилотаж — не самая большая гадость, содержащаяся в книге. Основная натура — это житье-бытье наркоманского сообщества, если и не оскорбляющее тонкие чувства нормального читателя (тонких чувств, пожалуй, не осталось ни у кого), то вызывающее все-таки реакцию брезгливого отторжения. Тут, надо отметить, присутствует свой лексический пласт: почти профессиональный слэнг, не лишенный даже и своеобразной экспрессии, но опять-таки не отфильтрованный, не облагороженный никаким художественным переживанием. Примеры: «Абстыга — состояние наркотического похмелья»; «Вытерка — подчищенный или подмытый рецепт, заполняемый наркоманом для приобретения наркотических веществ или лекарств»; «Каличная — аптека как место, в котором продаются “кальки”, т. е. таблетки». Это из помещенного в конце книги специального словаря. Если же не пользоваться этим дополнительным аппаратом, то поначалу вообще ничего не понять. Имеется картинка, где некие существа совершают причудливые манипуляции с абстрактными предметами, причем предметами то и дело становятся они сами — и человек сторонний, не знающий тонкостей варки и вмазки, не сразу отличит героя от его шприца. Такое «непонимание» могло бы стать интересной эстетикой — если бы автор этой эстетикой хоть как-то занимался. На самом деле Баяну Шириянову важна не «литература», но «правда». Жизненный опыт, пошедший на книгу, интенсивен и даже страшен. Но мир подростка организован слишком просто, чтобы производить прибавочную стоимость литературы. Мир подростка — это натуральное хозяйство. Баян Шириянов (победивший, что характерно, в сетевом литературном конкурсе «Тенета») примерно на этом уровне и работает.

Герои «Низшего пилотажа» — существа неопределенного возраста, обозначенные в тексте не именами, но прозвищами венгерско-болгарского, что ли, колорита. Мельком упоминается их «алкогольная юность», когда одному из героев, нашедшему на помойке, будто белый рояль в кустах, драгоценный солутан, не взбрело в голову ничего лучшего, как выгнать из препарата паршивенький спирт. Однако герои, «олдовые» с точки зрения вовлекаемой в дело мелюзги, ведут образ жизни, никак не связанный с обычными этапами возрастной психологии и социальности. В сущности, они тинейджеры, отпущенные миром на бесконечные наркотические каникулы. Они свободны от будущего — даже от начала нового учебного года. При этом дети умные: занимаются в кружке юного биохимика. Что ни день, проводят опыты: что-то взвешивают, отмеряют, нагревают, процеживают. Неплохо знают анатомию (человеческое тело, оплетенное «веняками»); лучше отличников разбираются в химических соединениях — их слэнг включает подпорченную, как бы червивую латынь. Можно даже сказать, что они — юные краеведы. Их акция «Знай и люби свой город» по-другому называется «Великий Джефый путь». Открылась ли новая аптека, образовалась ли где перспективная в смысле «терок» (рецептов) помойка — ничто не укроется от пытливого взора следопытов. У них своя топонимика, своя география местности — и местность превращается с годами в одну большую Улицу Мертвых Наркоманов.

В сознании каждого подростка присутствует, помимо реального «я», и нечто иное: «я» как проект взрослого человека. Этим, по-видимому, подросток и отличается от ребенка, что отделяет себя от взрослого мира, принадлежащего маме и папе, более кардинально. Ребенок хочет получить приглянувшуюся взрослому вещь «в игрушки», переформулировать ее и наделить непрacticalными свойствами. Подросток, нетерпеливо осваивая пространство взрослости, применяет вещи по назначению (сигареты курит, водку пьет, «на всякий случай», т. е. напоказ приятелям, таскает в кармане презерватив) — и пытается переформулировать себя. Идеальное взрослое «я» в уме тинейджера — это не совокупность планов на будущее, не программа карьеры и заработка, не мечты поступить в крутую банду или престижный вуз. Это образ, смутно проявляющийся в поведении и очень четко — на письме.

Потенциально одаренные люди, а также графоманы начинают лет в двенадцать исписывать общие тетрадки приключенческими повестями, не имеющими никакого отношения к школьному курсу литературы. Сейчас компьютерные игры с их мультяшными сюжетами у многих поотшибали охоту предаваться мечтаниям над чистым бумажным листом — ведь главный кайф, состоящий в управлении движущимися фигурками и в придумывании империй, гораздо легче получить из компакта, чем из собственной головы. Все-таки самодельные «книжки», часто проиллюстрированные тщательной авторской графикой, продолжают появляться. Мне пришлось про-

честь не один десяток таких «космических опер» и «триллеров» — по дружбе с родителями, желающими знать, не Лев ли Толстой подрастает в их семье. Понятно, что о наличии либо отсутствии настоящих способностей судить по тетрадным опытам невозможно — так же, как трудно выдавать прогнозы по ряду интернетовских публикаций. Зато видны особенности внутреннего мира начинающего автора.

Прежде всего — никаких «приключений Карика и Вали» в самодельных «книгах» вы не найдете. У меня, по крайней мере, ни разу не было случая, чтобы главные герои рукописных текстов оказались детьми. Типичные главные герои — «молодая девушка» и «молодой человек». Вот они-то и выражают с максимальной наглядностью второе иллюзорно-взрослое «я» подростка, с которым самозабвенно борется «училка». Причем на письме, в романтическом сюжете это «я» гораздо благородней и великодушней, чем то деструктивное существо, что поджигает почтовые ящики и исподтишка подсовывает одноклассникам пропотевший, как портянка, порнографический листок.

Из всех образцов подростковой графомании мне особенно запомнился роман в двенадцати главах и четырех частях. Однажды мне предложили на экспертизу (видимо, взяв без спроса, с характерным взрослым вероломством) целую стопу из одиннадцати тетрадей, густо изрисованных комиксовыми красотками, жирными от шариковой пасты пистолетами и взятыми из спилберговского сериала космическими кораблями. Автор, как видно, жил в своем сюжете не один учебный год — и то, что повествование везде велось от первого лица, означало полную близость автора и главного героя, тридцатилетнего мускулистого брюнета со стальными глазами и характером из того же материала. Главная героиня, «девушка-блондинка», вечно попадавшая то в заложницы к бандитам, то в плен к космическим пиратам, а то и просто в какую-то «горную реку», была, похоже, списана с соседки романиста — крашеной девы в рискованном стрейче, под которым белье рисовалось, как у гипсовой девушки с веслом.

Роман, представлявший собой винегрет из Флеминга и коммерческих фэн-боевиков, с приправой из блатного фольклора, не стал, разумеется, литературным открытием: подростки, взволнованные первыми наплывами любовных и творческих чувств, берут для самовыражения первые попавшиеся слова. Однако вот что любопытно: проект взрослого человека, выявленный текстом, обладал не только жанровой положительностью (главный герой боевика непременно «хороший парень»), но и какой-то назойливой сентиментальностью. Автор, этот подъездный партизан, подозреваемый, в частности, в убийстве соседкиного белого kota, наделил своего героя неиссякаемым стремлением спасти разнообразных мелких тварей, включая каких-то инопланетных «глючников». В целом супермен получился такой, что, будь он выпускником стонущей от автора многострадальной школы, им мог бы гордиться педагогический коллектив. Кстати: ни в одной из одиннадцати тетрадок ни разу не встретилось ненормативного слова, которыми щедро исписан (вероятно, не без участия романиста) упомянутый подъезд. Видимо, начинающий автор, с одной стороны, лучше чувствовал законы жанра, чем даже талантливый и знаменитый Слава Курицын, перенасытивший свою «Аквадель для Матадора» клубникой и черникой. С другой же стороны, начинающий автор оказался недостаточно «модем» и «литературен». Вообще его псевдо-взрослое «я» выглядит на фоне Курицына и Баяна Ширянова весьма консервативно. Можно сказать, что перед нами обломок старого доброго прошлого.

Я думаю, что власть старухи-билетерши, не пускавшей рослых деток на запретные сеансы, основывалась вовсе не на угрозах вызвать милицию. Дело в том, что «проект взрослого человека», имевшийся тогда в головах акселератов, в целом соответствовал идеалу, санкционированному обществом. Потому и боялись мы миниатюрную бабушку с ее остервенелой правотой, и уходили из кино несолоно хлебавши, и при появлении «классной» на школьном дворе поспешно затирали килограммовыми «платформами» болгарские сигаретки. В глубинном соответствии «проекта» идеалу кроется обаяние книг Владислава Крапивина, которыми в семидесятых-восьмидесятых зачитывались и подопечные детской комнаты милиции, и примерные зубрили. В разладе между моделью поведения «cool» и прежним идеалом «мальчика со шпагой» заключена причина нынешнего скромного успеха этого хорошего писателя, все еще кумира и лидера «тридцатилетней» генерации фантастов.

Роман Михаила Кононова «Голая пионерка», по первому впечатлению не менее шокирующий, чем книга Баяна Ширянова, но явно относящийся к иному, более вы-

сокому классу текстов, как раз построен на совпадении «проекта взрослого человека» с общественным идеалом коллективиста, надежного товарища, идейно зрелого борца. Был когда-то особый культ пионеров-героев, игравший немалую роль в воспитании ленинской смены: в подростковый пантеон, помимо злополучного Павлика Морозова, входили и дети-фронтовики, бывшие фашистского гада наравне со взрослыми красноармейцами. На первый читательский взгляд создается впечатление, будто «Голая пионерка» — очередной соцартовский эксперимент, игра на понижение образа пионера-героя, каковой стараниями «училок» навечно навяз в зубах и остался в каком-то строю. Соединение ночных занятий главной героини и ее «идейной» внутренней болтовни немало этому способствует.

Четырнадцатилетняя Маша Мухина, она же Муха, мировая девчонка и героинская пулеметчица, в перерывах между боями, идущими где-то за кадром, убагोटворяет младший и средний комсостав, видя в том свой пионерский и девичий долг. «Есть слово такое — “надо” — слышали?» Военно-полевая эротика дана Михаилом Кононовым с гораздо большей степенью литературного умения, нежели соответствующие сцены у Баяна Шириянова. Все-таки первая часть романа оставляет ощущение всего ненастоящего. Военные реалии автором не прописаны или просто опущены; расположение полка более всего напоминает пионерский лагерь, где идет игра «Зарница», — или, например, концлагерь из одного романа Александра Бушкова, где «новые русские» играют в Дахау, чтобы затем острее почувствовать радости жизни. Мне не раз встречались тексты, где пионерлагерь описывался как место подростковых эротических забав — и задача у этих текстов была простейшая. Не то у Михаила Кононова: уровни романа открываются постепенно. Автор весьма нерасчетливо затянул «соцартовское» начало, провоцируя читателя, уже достаточно выяснившего свои отношения со всем советским, плюнуть и бросить. Но затем писатель отработывает все, что надо, и хотя условность с достоверностью в романе так и не сошлись, хотя евангельский мотив превращения Мухи в Богородицу висит как непришитый рукав, — перед нами книга про то, что веру и любовь к Отечеству на самом деле нельзя ни растоптать, ни обмануть.

Глупенькая фронтовая Лолита, без конца бормочущая про Сталина малолетняя «давалка», в действительности не так проста. В ней, помимо наивной идейности, подросткового рьяного героизма, есть уже и бабья мудрость, благодаря которой Муха «старше» всех терзающих ее ночами ненасытных лейтенантов. То, чем занимаются с ней эти несознательные смертники, представляется Мухе как раз занятием детским, чем-то вроде игры в больницу, которой увлекалась в ее довоенном дворе неорганизованная мелюзга. Здесь Муха уже перерастает всех вместе взятых героев Баяна Шириянова, не осознающих своей элементарности, проявляемой как бы в самых взрослых и запретных занятиях. Важно то, что грешная Муха *невинна*: она, пропустившая через себя десятки мужиков, думает, что дети бывают от поцелуев — и верит в это свято, потому что представление было внушено любимым человеком, школьным учителем немецкого Вальтером Ивановичем. Сгинувшим, естественно, в смершевских жерновах.

Главная линия романа прорисовывает, как мне кажется, один из самых драматических конфликтов советской действительности. Если проклятый капитализм в прошлом XX веке использовал худшие стороны человеческой природы — стяжательство, индивидуализм — на благо «загнивающего» общества, то коммунистическая доктрина, возбуждая в человеке самый чистый и героический порыв, употребляла его в наивозможное зло. Так произошло и с Мухой: ее фактически «подловили» на необыкновенно мощном образе собственного взрослого «я», на желании реализовать активный идеал, если надо, пожертвовать жизнью и т. д. и т. п. Реальность для пионерки затмилась: «...знать о своей боли Мухе было запрещено, ибо для разума непосильно». Если бы роман сделал только одно движение — поспание идеала опытом, хамской реальностью всех этих Смершей-с-Портретом, генералов Зуковых, что расстреливают каждого третьего окруженца, мстя человечеству за собственные бездарные ошибки, — тогда «Голая пионерка» осталась бы в «стальных рядах» чернушной перестроечной литературы и была бы сегодня не очень интересна. Но в том-то и дело, что идеал умеет защищаться. Победа наивности, наивной правды над тем, что «есть на самом деле» — в этом и состоит главное достижение романа. Под конец несчастная Муха, летающая во сне (а может, и наяву) над родным блокадным Ленинградом, заслоняется от подлинной, противоречащей газетам, ужасающей картины уже какими-то почти сорокинскими текстами, абсурдными заговариваниями про Сталина в кремлевской рубиновой звезде. Но в этом смертоносном и горящем воздухе все-таки происходит событие, ради которого надо читать «Голую пионерку»: «И теперь, подлетая на воздушной волне от пролетевших снарядов, Чайка вдруг поняла,

что стала взрослой. Совсем уже взрослой, окончательно, как мечтала всегда. Ведь каждый в детстве мечтает стать большим, верно? Но пока ты маленькая, как ни старайся повзрослеть,— хоть каждый день вырывай себе ниткой, за ручку двери привязав, зубы молочные, хоть всему двору поголовно колоть себя разрешиай булавкой в попу голую,— ведь по неделе, бывало, сидеть не могла после тех испытаний терпения,— все равно, раньше времени не вырастешь. А теперь вот даже испытывать себя не приходится: никаких никто не ждет доказательств, что любишь Родину и умереть готова всегда с радостью».

Голая пионерка Маша Мухина — не Дева Мария, но вольтеровская Орлеанская Дева: образ ее с белым несоветским флагом («то ли юбка разорванная, то ли футбольные трусы») летел перед бойцами в день прорыва блокады, и кто устремлялся за Девой, те остались живы. Может быть, этот пафосный образ и эксплуатирует излишним внехудожественные читательские эмоции. Но не знаю, можно ли каким-то иным, непафосным способом довершить главный романский поворот, в результате которого наивность и вера оказались более истинны, чем скрываемая совковой пропагандой правда о войне — словно бы оправдывающая, в числе иных перестроечных открытий, отменную мерзость сегодняшнего дня. Весь мир якобы таков, что стесняться нечего. Нет, не таков.

Для чего я все это пишу? Для чего притягиваю друг к другу два разноприродных текста, сходных между собой только лишь «шокирующей» фактурой? И вовсе меня не заботит проблема нравственности подрастающего поколения: в нынешней информационной ситуации невинность не оградить, свинья найдет себе подходящую грязь на любой мостовой, с трудными подростками пусть скандалят «училки» — они в глубине души очень любят это бесполезное занятие. Меня заботит всего лишь литература.

«Проект взрослого человека» имеет отношение к ее туманному будущему. В последние годы он претерпел изменения. Книга Баяна Ширянова, покоровшая молодежный Интернет,— утрированное выражение перемен. В целом все гораздо мягче (судя, например, по почте премии «Дебют») — но все-таки тревожно, и вот почему. Культ молодости, право молодых диктовать эстетику и стиль движется с Запада и теснит провинциальность, которая заключается в геронтократии, застарелой литературной дедовщине. Сейчас все это сшиблось. Радоваться ли тому, что зрелость и взрослость становятся все менее убедительны и обладают все меньшей властью? Это вопрос. Подросток, как уже было показано выше, мыслит штампами. При этом детство и ранняя юность — пора накопления самых острых художественных впечатлений, которые можно извлечь и использовать, только перейдя определенный возрастной и ценностный рубеж. Именно он разделяет «Низший пилотаж» и «Голую пионерку». Но в нынешнем типовом проекте взрослого «я» переход рубежа не значит-ся. Живи красиво, умри молодым.

«Почему они все не хотят учиться?» — спросила меня недавно, говоря об авторах последней волны, одна из самых опытных редакторов современной прозы. И ведь действительно — не хотят... Как объяснить феномен? Похоже, что фигуры низшего литературного пилотажа, состоящие в манипуляции неких существ некими предметами либо в приключениях героя со стальными глазами и мозгами из того же материала, на каком-то этапе устраивают всех.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**До конца года и в 2002 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:**

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Дмитрий БОБЫШЕВ. **Я здесь.** Продолжение книги.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Михаил ЗАДОРНОВ. **Писатель, который разводил кошек.** Из цикла «Фантазии сатирика».

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Роман.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Тот свет.** Заключительная глава книги «Далее везде».

Павел КРУСАНОВ. **Роман.**

Афанасий МАМЕДОВ, И. МИЛЬКИН. **Самому себе.** Повесть.

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман. Продолжение.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Жизнь и смерть поэта Шварца.** Пьеса для чтения. **Роман. Стихи.**

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Эссе, рассказы.

Олег ПАВЛОВ. **Вольная проза.**

Юрий ПЕТКЕВИЧ. **Повесть.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Морские помойные рассказы.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Александр ПЯТИГОРСКИЙ. **Древний человек в городе.** Роман.

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Наполеон.** Повесть.

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Вспышки.** Окончание новой книги.

Статьи философов Владимира КАНТОРА и Александра СЕКАЦКОГО, культуролога Ларисы БЕРЕЗОВЧУК, размышления о театре Виталия ВУЛЬФА.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Татьяны АНДРОНОВОЙ, Юрия БУЙДЫ, Дмитрия БЫКОВА, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Владимира САЛИМОНА, Леонида ФИЛАТОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;
для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

Каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 54 руб. 50 коп.,
для подписчиков стран СНГ — 71 руб. 50 коп.

Каталожная цена на год
для подписчиков Российской Федерации — 654 руб.
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на каждый очередной номер по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;


Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

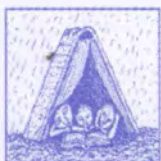
www.lgz.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



Лучшая Газета

для мыслящих людей



«ЛГ» представляет широкий спектр российской и мировой литературы, дает слово писателям всех направлений, регулярно публикует стихи и прозу (новая тематическая вкладка «Читальный зал»), вступает в диалог с читателями, рассказывает о новых книгах и издательских проектах («Книжный развал»).



«ЛГ» следит за современным состоянием родного языка, отстаивает его право звучать по-русски, учитывая традиции и неизбежность обновления; знакомит с самыми неожиданными гипотезами и новейшими открытиями в разных областях науки («Научная среда»).



«ЛГ» уделяет особое внимание проблемам преподавания в средней и высшей школе, предоставляя слово ученым и педагогам, обсуждает проекты реформы образования и новых учебников XXI века.



«ЛГ» изучает историю и современность, проводит журналистские расследования, прогнозирует главные направления развития общества.



«ЛГ» анализирует политическую ситуацию в стране и мире, заботится о судьбе соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье, оказывает консультационную помощь читателям в разрешении юридических проблем.



«ЛГ» сохраняет лучшие традиции легендарной 16-й полосы: в «Клубе» 12 стульев» читателя ждут встречи с известными и любимыми юмористами страны.

Отдел распространения — тел.: 208-98-55 / факс: 208-97-00. lgzraspr@mail.ru

МЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯ «Труд» остается с вами



Наши подписные индексы:

50130 — ежедневный «Труд»,
включая выпуск «Труд-7»

32068 — еженедельный выпуск «Труд-7»